И.Г. Яковенко

РОССИЯ И РЕПРЕССИЯ:
РЕПРЕССИВНАЯ КОМПОНЕНТА ОТЕЧЕСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ

Москва
Новый хронограф
2011

Введение

Проблемное пространство, вырастающее из соотношения понятий «культура» и «репрессия», достаточно последовательно разрабатывалось гуманитарным знанием XX века. Что же касается анализа отечественного материала, то здесь обращения к названной теме носят эпизодический характер. Исследований, которые ставят обозначенную проблему в общем виде, нам не известно. Между тем, самые разнообразные формы принуждения, насилия, подавления относятся к числу существенных и неустранимых элементов любой культуры. На наш взгляд, недостаточная разработка проблематики репрессии в гуманитарном пространстве примечательна. Либо репрессия периферийна и не заслуживает серьезного внимания, либо закрыта от аналитического сознания как системообразующий элемент культуры.

Универсальный характер репрессии (а насилие с целью принуждения к поведению, желательному для субъекта насильственных действий, и есть репрессия) подтверждается исследованиями социальных взаимодействий в мире живой природы. Там, где природа реализует стратегию формирования самоподдерживающихся, устойчивых сообществ, будь то социальные насекомые (пчелы, муравьи, термиты), или группы, создаваемые стадными млекопитающими, обнаруживаются разные формы насилия. Поведение вожака стада, обладателя гарема, с необходимостью включает репрессию по отношению к подопечным.

Понятие «репрессия» неразрывно связано с двумя другими понятиями – «насилие» и «власть». Эти три сущности – власть, насилие, репрессия – образуют внутренне связанное смысловое ядро, выступая разными гранями или аспектами одного большого феномена – господства и подчинения одного человека (группы людей) другому (социальной, политической, экономической силе).

Начнем с «насилия». Википедия определяет насилие как «применение физической силы или разного рода воздействий в отношении индивидуума или социального класса для навязывания своей воли или устранения противника»[1]. Часто понятия «насилие» и «репрессия» используют как синонимические, но, на наш взгляд, их смысловые поля не идентичны. «Репрессия» в качестве своего субъекта в большей мере предполагает социальную инстанцию, в то время как «насилие» шире по своему субъекту. Оно может исходить от частного лица или группы находящейся в самых разных отношениях с государством или такими надличностными сущностями как культура, диктующая своим адептам репрессию по отношению к нарушителям нормы.

Третье понятие – «власть», также неотделимо от репрессии. А. Гусейнов указывает на то, что насилие может быть интерпретировано как отношение господства, власти[2]. Властные отношения базируются на легитимном, признанном сторонами праве на насилие носителя власти в отношении подвластного. Власть решает проблемы и воспроизводит властные отношения, в том числе, и посредством репрессии. Право на легитимное насилие, то есть репрессию, выступает как существенный атрибут власти. Зрелое государство обладает монополией на легитимное насилие в рамках, ограниченных законом. Традиционная иерархия, то есть патриархальная власть, власть родителей, возрастное старшинство также предполагает право (часто монопольное) на насилие в рамках культурной традиции.

В самом общем, философском смысле *необходимость репрессии* вытекает из того обстоятельства, что *отдельные особи*, составляющие устойчивые самоподдерживающиеся сообщества, *наделены свободой*. Мера этой свободы может существенным образом различаться. У насекомых она меньше, чем у млекопитающих, у человека

[1] Словарная статья «Насилие» // http://ru.wikipedia.org

[2] *Гусейнов А.А.* Понятие насилия // Философия, наука, цивилизация. М., 1999. С. 24.

выше, чем у обезьян. Тем не менее, создавая отдельные особи, природа наделяет их автономной системой принятия решений. В силу ряда обстоятельств отдельные особи отличаются друг от друга, они различаются своим поведением. Кроме того, разные особи находятся в разных ролевых позициях и попадают в многообразные конкретные ситуации. Все это рождает возможность как социально оправданного, так и девиантного поведения. Сверх всего сказанного, возможен выбор разных вариантов позитивного, социально ценного решения конкретных проблем.

Насилие оказывается одним из ключевых механизмов принуждения к доминирующему варианту социально ценного поведения. В тех живых системах, где нет автономии отдельных элементов, необходимость насилия как элемента самоорганизации целого не возникает. К примеру, управление, сложнейшее многоуровневое регулирование, координация усилий осуществляются на уровне организма любого млекопитающего. Но, поскольку здесь отдельные элементы не выделены и наделены чисто исполнительскими функциями, необходимости в насилии не возникает. Если человек сорвался с трапеции и упал, то произошло это не потому, что руки не захотели работать, а потому что система как целое не справилась с задачей.

Репрессия относится к универсальным характеристикам сложно организованной жизни. Любые устойчивые сообщества, состоящие из автономных особей, существуют в контексте репрессии. Репрессия не реализуется с необходимостью в любой точке социального пространства в любой момент времени, однако, она постоянно присутствует в сознании каждого, формирует это сознание, переживается как фундаментальная константа социального бытия.

В англоязычном мире многие поколения воспитывались на «Нью-Гейтс календер» (Справочник Нью-Гейтской тюрьмы). Нью-Гейт – главная уголовная

тюрьма Лондона, одна из старейших, в которой содержались и дожидались казни самые страшные уголовные преступники. Справочник разбит по годам, описывает преступления и содержит данные о казни заключенных Нью-Гейта. Здесь существовали свои традиции: колокол оповещал о казне в Нью-Гейтской тюрьме. (Помните слова Джона Донна: «Не спрашивай: "По ком звонит колокол?", он звонит по тебе»). Справочник многократно издавался как в Великобритании, так и в США. Англиканская культура исходила из того, что компендиум историй страшных преступлений и закономерного воздаяния представляет собой незаменимый воспитательный материал.

Итак, человек свободен и одновременно, говоря религиозным языком, греховен. Мир «лежит во зле», а потому репрессия неустранима. В тоже время репрессии тягостны, а в наиболее выраженных формах – чудовищны и отвратительны. Человечество постоянно мечтало о мире без репрессии. Как бы человек не называл этот мир – страна Пен-Лай, Беловодье, Опонское царство, шамбала, коммунизм, Рай Божий, куда бы его не помещал – в трансцендентное далеко или эсхатологическое будущее – идеальный мир лишен репрессии. Тем не менее, природа вещей объективна и неустранима. Признавая ее, гуманистическая традиция осуждает репрессию в принципе, допуская как неизбежное зло. Разговор на избранную нами тему требует предварительных оговорок или, если угодно, исходного очищения сознания.

Мы живем в культуре, осуждающей репрессию, по крайней мере, на уровне деклараций. В своей массе люди, склонные читать и писать серьезные тексты, к репрессии относятся отрицательно. Более того, отторжение насилия представляется естественной позицией. Если же где-то бывает по-другому, то это – случайности, примета давно отринутых средневековых нравов. Для людей с подобной ценностной установкой отечественная практика являет собой скелет в шкафу. Она отчасти

непостижима, а отчасти не признаваема в подлинном объеме, разнообразии, структурно-функциональной природе как элемент социокультурного целого и т.д. Феноменология отечественной репрессивности – частные случаи, артефакты, печальные эксцессы, результат влияния внешних сил (татары, большевики, рационализм бездушного Запада) и т.д.

Истоки описываемого сознания понятны: гуманизм, идеология Просвещения, идеология Прогресса. Проблема же в присущей человеку абсолютизации исходных ценностных установок. Американец или голландец также трактует природу своего общества, то есть – некоторую модальную особенность, реализовавшуюся в определенную историческую эпоху, на определенном пространстве – как естественную, единственно возможную, вытекающую из природы человека (или, по крайней мере, соответствующую природе современного человека). Но голландцу с американцем легче. Они живут в обществах, где жесткая репрессия и в самом деле локальна и подконтрольна. С русским интеллигентом сложнее. Его антирепрессивные убеждения не верифицируются отечественной практикой. Отсюда – особое напряжение при обсуждении нашей темы. Эти обстоятельства надо учитывать, приступая к обсуждению.

Глава I
Репрессивность и альтернатива репрессии как генеральные стратегии культуры

История вопроса

Человечество тысячелетия жило в мире всепроникающей репрессии. Репрессия воспринималась как воздух, пронизывала собою все срезы реальности и лежала за гранью рефлексивного. Некоторая рационализация репрессии приходит с Просвещением. Во второй половине – конце XIX века положение меняется. XX век характеризуется напряженным интересом к проблеме. Репрессия попадает в поле гуманитарного знания и исследуется в разных ключах и аспектах. Она рассматривается в контексте исследования властных отношений, феноменологии насилия, в исследованиях феномена подчинения, в истории наказаний, психологических аспектах семейных отношений и т.д. Выделить и перечислить все грани проблемы репрессии не представляется возможным, список обязательно окажется неполным. Репрессия как исследовательский сюжет и значимая реальность возникает в контексте власти, телесности, феномена толпы, Другого, механизмов психологической защиты, в аспекте религиоведения и т.д.

Можно, не притязая на исчерпывающую полноту, попытаться перечислить дисциплинарные пространства, в которых разрабатывается проблема репрессии.

К репрессии обращается *антропология* в самых разных модификациях этого комплекса дисциплин – социально-культурная, философская, политическая, экономическая антропология.

Проблему репрессий неизбежно затрагивают такие сложно разделимые дисциплины как *этнография, этнология, история культуры*.

Проблема репрессии имеет психологическое измерение. Как общая *психология,* так и специальные психологические дисциплины – детская психология, семейная психология, психология конфликта, психология господства и подчинения, юридическая и судебная психология, психология потребления – в самых разных аспектах осмысливают репрессию. К проблемам агрессии, насилия и репрессии обращается *историческая психология*.

Репрессия выступает в качестве высоко значимой категории в традиции *психоанализа*. Ключевой для психоаналитической традиции феномен вытеснения связан с репрессией, понимаемой как родовая характеристика культуры. В парадигме «культура как репрессия», культура трактуется как система запретов, наказаний, всевозможных защитных механизмов, блокирующих деструктивные импульсы и побуждения человека.

Проблема репрессии неизбежно попадает в поле зрения *педагогики*. Практика педагогического насилия или педагогическая репрессия осмысливается и оценивается, прежде всего, в контексте представлений о целях и задачах воспитания. Рассматриваются связи качественных характеристик доминирующей идеологии и политического режима с местом педагогической репрессии в практике воспитания.

К репрессии обращаются дисциплины юридически-правового цикла. *Юриспруденция* определяет понятие репрессии, квалифицирует его, рассматривает широкий круг правовых проблем, связанных с репрессией.

В *криминологии* как теория преступности, так и теория противодействия преступности работает с категорией репрессии. Специальные юридические науки – *криминалистика, судебная медицина, судебная психология* – в разных аспектах затрагивают проблематику репрессии.

Трагические перипетии истории XX века обусловили формирование специального направления исторических исследований – *история репрессий*. Репрессии описываются как явление. Делаются попытки осмыслить непосредственные и отдаленные последствия массовых репрессий для индивидуальной и общественной психо-

логии, динамики нормативно-ценностных структур, демографических процессов и, шире, исторических судеб народов, переживших это.

Мимо проблемы репрессий не проходит и *социология.* В рамках социологических дисциплин сложилось специальное направление – *социология насилия.* Существуют социологические теории насилия. Социология конфликта, власть и насилие, насилие в семье, социология молодежи и другие отрасли социологического знания постоянно обращаются к проблемам насилия и репрессии.

В системе *философских* дисциплин к теме «человек и насилие», прежде всего, обращается упоминавшаяся выше философская антропология. Специалисты выделяют в специальное направление *философию насилия.* Проблема насилия рассматривается в разных аспектах: в философско-антропологическом ключе, как проблему сущности морали, в религиозно-философском аспекте, в аспекте природы власти и т.д.

К. Маркс рассматривает насилие как объективный фактор социального прогресса, анализирует его на языке классовых отношений, утверждает, что насилие характерно только для эксплуататорских обществ. Т. Гоббс, Ф. Ницше, З. Фрейд утверждают, что тенденция к насилию вытекает из особенностей человеческой психики. К. Лоренц утверждает, что насилие имеет инстинктивный характер, будучи защитной реакцией организма на среду. Э. Фром признает наличие внутренней агрессивности человека. Среди основ деструктивности философ выделяет страх перед сложностью бытия.

Проблема репрессии рассматривается в соотношении с феноменом философского сознания и судьбами философии. Современные исследователи обращают внимание на репрессию философии со стороны теологии, а затем науки (Ф.И. Гиренок). История философии и культуры предстает как история вытеснения, подавления, унижения «письма» (Ж. Деррида).

Насилие и репрессия оказываются ключевыми понятиями постмодернизма. Очертить границы постмодернизма не так просто. Это мировоззрение и духовное движение если не по результативности, то по широте охвата, сопоставимо с Просвещением. Постмодернизм – самая влиятельная на сегодня мировоззренческая парадигма. Он внедряется в обыденное сознание, сказывается в массовой культуре, философии, литературе, искусстве, собственно, в науке.

Постмодернизм работает с понятием «властного дискурса», который предстает как механизм контроля и принуждения (М. Фуко). Любой порядок, общность, сознательное творческое усилие отвергаются постмодернизмом как насилие и репрессия, от которого человек постмодерна должен стремиться освободиться. Любое проявление традиционной религии постмодернизм рассматривает как скрытое орудие подавления.

Проблема репрессии появляется в исследовании соотношения категорий насилия и искусства. Искусство может трактоваться как одна из форм выражения агрессии, насилия, направленного на внешний объект, либо как автоагрессия (соответственно, авторепрессия) (Ж. Батай). В обоих случаях искусство и литература понимаются как феномены магического мышления. Далее литературные образы трактуются как следствие врожденных комплексов агрессивности. Литература осуществляет адаптацию к насилию, оправдание, героизацию насилия и т.д.

Обращаясь к проблематике телесности М. Фуко видит истоки «дискурса сексуальности» в развитии систем надзора и контроля над индивидом. Телесность и репрессия соотносятся в работах М. Бахтина.

Самого беглого обзора достаточно для того, чтобы увидеть – репрессия находится в поле внимания специалистов, представляющих самые разные сферы гуманитарного знания. О репрессии сказано если не все, то очень многое. Однако, тема эта неисчерпаема.

Обращаясь к российскому материалу, мы обнаружим разнообразные публикации имеющие отношение к интересующему нас предметному пространству. Это будут работы дореволюционных и советских авторов по истории наказаний, мемуары заключенных, записки путешественников (на Сахалин и другие территории, где были расположены центральные каторжные тюрьмы), так называемую «тюремную литературу», исследования советской системы исправительно-трудовых лагерей, исследования, посвященные истории красного и белого террора в эпоху Гражданской войны, исследования, посвященные Большому террору, статьи, посвященные домашнему насилию или насилию в семье, материалы, посвященные насилию на этапе следствия и в местах заключения, статьи о проблеме насилия в армии и т.д. Этнографы и историки культуры пишут о бытовом насилии в разных слоях российского общества в прошлом и настоящем[1]. Высказывают суждения о месте насилия в традиционной бытовой культуре. Масса замечаний, касающихся нашей темы, рассеяна в самой разнообразной публицистике. Выразительный портрет отечественной репрессии рисует русская литература. Философская и культурологическая эссеистика формулирует обобщающие суждения[2]. Все эти публикации создают достаточно

[1] Массив публикаций весьма обширен. Ограничимся примерами: *Сергеевский Н.Д.* Наказания в русском праве XVII в. СПб, 1887; *Кошель П.* Ссылка и каторга в России // his.1september.ru/2003/02/3.htm; *Дорошевич В.М.* Сахалин: Каторга. М., Типография И.Д. Сытина, 1907; *Волков О.В.* Погружение во тьму. М., 1989; *Гардзонио С.* Тюремная лирика и шансон. Toronto Slavic Quarterli 2004 // http://www.utoronto.ca; *Литвин А.* Красный и белый террор 1918 – 1922. М., 2004; *Эпплбуам Э.* ГУЛАГ: Паутина Большого террора. М., 2006; *Прейгерзон Ц.* Дневник воспоминаний бывшего лагерника (1949 - 1955). Москва-Иерусалим, 2005; *Шаламов В.* Колымские рассказы. М., 2010. С 1921 по 1935 гг. выходил научно-исторический журнал общества бывших политкаторжан и ссыльно-переселенцев «Каторга и ссылка».

[2] В этом ряду можно упомянуть следующие публикации: *Губин В.Д.* Русская культура и феномен насилия // Вопросы философии. 1995. № 5. С. 132 – 138. *Гусейнов А.А.* Моральная демагогия как форма апологии насилия // Вопросы философии. 1995. № 5; С. 61 – 72. *Суслов А.А.* Феномен насилия в русской сказке // Известия Томского политехнического университета. 2009. Том 315. Вып. 6. С. 111 – 113.

богатую панораму. Однако обобщающих работ, которые ставили бы проблему насилия в общетеоретическом контексте, нам не встречалось.

Настоящее исследование разворачивается в русле россиеведческих штудий и принадлежит традиции цивилизационного анализа. Высказывая ряд суждений об общей природе явления, автор центрируется на месте феномена в русском космосе, природе отечественной репрессии, ее функциях, специфике. Отечественная репрессия позволяет высветить сущностные характеристики российского целого – концепцию власти, образ подвластного, представления о правильном и устойчивом мире и т.д.

Исходные положения

Начнем с вопросов: откуда берется репрессия, в каком контексте она существует, что порождает и воспроизводит репрессию в обществе и культуре?

Полвека назад американский экономист Джон Кеннет Гелбрейт говорил о том, что существуют три базовых способа побуждения человека к некоторому поведению – идеальное вознаграждение, материальное вознаграждение и наказание. Прежде всего, человека можно побудить копать канаву, вознаграждая его материально. Далее, он может работать, осознавая необходимость этой канавы для общества. Кроме того, геометрия канавы может отвечать его эстетическим представлениям. Наконец, человек будет работать в том случае, если он знает, что отказ от работы или нерадивое ее исполнение повлекут за собой «отрицательное вознаграждение в виде наказания»[1].

В реальности все эти стратегии сочетаются в разных соотношениях. Исправно работающего раба кормят и, в

[1] *Гелбрейт Дж.* Новое индустриальное общество. М., 2008.

этом смысле, он получает вознаграждение. Советскому зеку объясняли, что он работает на стройках социализма, участвуя «вместе со всем советским народом» в построении светлого будущего. Кроме того, ударник рабского труда получал дополнительный паек. Я уж не говорю о «Досках почета», хорошо известных людям старших поколений, и прочих реалиях идеологической работы эпохи зрелого социализма. Умные родители, зрелые педагоги, хорошие руководители гибко и эффективно сочетают поощрение (идеальное и материальное) и наказание. Иными словами, каждый человек живет в поле трех, обозначенных Гелбрейтом, стимулов человеческой деятельности. Отвечая на поставленный выше вопрос надо сказать, что социально приемлемое и социально ценное поведение может быть достигнуто если не наказанием, то в контексте наказания как последствия за отклонение от требуемого поведения. В этом аспекте репрессия неустранима.

Однако от эпохи к эпохе и от одной конкретной культуры/локальной цивилизации к другой формы и пропорции, в которых используются базовые механизмы побуждения человека, варьируются достаточно широко. В некоторых культурах можно обнаружить доминирование одной из рассматриваемых стратегий. Когда автор Домостроя, священник Сильвестр, поучая читателя, предлагает сокрушить ребра ребенка с малости, чтобы познать спокойную старость, мы имеем дело с культурой, акцентирующей наказание. Когда же мы слышим традиционное американское вопрошание: «Если ты такой умный, почему ты такой бедный?», нам понятно: эта поговорка вышла из пространства культуры, акцентирующей позитивное материальное вознаграждение.

При всей очевидности того, что такое репрессия, имеет смысл определиться с исходным понятием. Словари определяют эту сущность следующим образом: Репрессия (от позднелатинского repressio – подавление) – принудительные, карательные меры, применяемые государственными органами к отдельным гражданам[1].

[1] Например см: Репрессия // БСЭ 1969-1978.

Явление многоаспектно. Нас интересуют общекультурные аспекты репрессии.

Выделим в определении репрессии два момента. Исходный смысл – давление, подавление чего-либо – описывает наиболее универсальное смысловое пространство. Понятие «репрессия» используется в естественнонаучных контекстах. Когда биологи или генетики говорят о репрессии, они имеют в виду подавление некоторой тенденции, не имеющей какого-либо отношения к обществу или государству. Репрессия – это подавление чего бы то ни было, вне зависимости от природы субъекта и объекта подавления. Репрессия не бывает бессмысленной. Подавление некоторых импульсов, процессов или тенденций соответствует целям субъекта репрессии и рационализируется им определенным образом. В конечном же счете, репрессия работает на воспроизводство устойчивого социокультурного целого. Репрессия неотделима от насилия. Причем, формы такого насилия бесконечно многообразны. В результате насилия подавляются одни (нежелательные) импульсы и тенденции и формируются другие (требуемые).

Второй момент, важный для определения понятия «репрессия», фиксирует репрессирующую инстанцию. В данном случае понятие «государство» есть конкретная форма всеобщего, которая выступает субъектом репрессии. Репрессия исходит из надличностной всеобщей инстанции. Подлинным субъектом репрессии выступает социокультурная целостность, нерасторжимое единство общества и культуры. Культура диктует людям (обществу) поведение, репрессирующее тех или иных нарушителей норм и ценностей данной культуры. Обычное право, включавшее такие санкции как самосуд, кровная месть, изгнание из рода, опиралось на вековечную традицию, то есть – культуру. Когда мать шлепает ребенка, назвавшего бабушку «дурой», а древневосточная толпа побивает камнями нечестивца, бросившего вызов базовым ценностям общества – мы имеем дело с репрессией, не имеющей отношения к государству.

Кстати, о побивании камнями. Не следует думать, что практика подобной расправы относится к глубокому прошлому и к нам не имеет отношения. В романе «Тихий Дон» М. Шолохов описывает эпизод из жизни героини – Аксиньи. Ее в пятнадцатилетнем возрасте изнасиловал отец. Далее автор пишет о том, как мать и старший брат Аксиньи долго убивали пьяного отца героини. Перед нами описание архаического механизма репрессии, дожившего на просторах отечества до начала XX века[1].

Подчеркнем принципиально важное положение: как и все в культуре, репрессия не может быть бесцельной или бессмысленной. Репрессия преследует цель воспроизводства социальности и культуры. Имеем ли мы дело с превентивной репрессией или репрессией, наступающей как кара за нарушение норм и правил, репрессивное поведение преследует цели формирования требуемых характеристик носителей культуры, воспроизводства значимых параметров социокультурного организма, противостоит хаотизации. В эпоху перемен репрессия может становиться инструментом изменения общества в направлении, которое осознается правящей элитой как необходимое. Наконец, в особых ситуациях репрессия может стать одним из механизмов самоуничтожения общества, зашедшего в тупик. Но это – особый случай, требующий специального рассмотрения. В общем случае репрессия служит самовоспроизводству социокультурного целого.

Итак, в истории человечества реализуется широкая палитра культур, тяготеющих к акценту либо на наказании, либо на позитивном вознаграждении, прежде всего материальном. Культуру, акцентирующую наказание, называют *репрессивной*. Альтернатива репрессивной культуре терминологического обозначения в русском языке не получила, что само по себе выразительно. Назовем ее культурой, *центрированной на вознаграждении*, либо *культурой поощрения*.

[1] А в Иране побивание камнями по решению суда практикуется по сей день.

Доминирование репрессии либо позитивного вознаграждения не относится к факультативным характеристикам культуры. Сформулируем положение, значимое для настоящего исследования: *акцент на репрессии/вознаграждении описывает одну из значимых характеристик культуры и носит системообразующий характер*. Акцентирование одной из обозначенных нами социальных механик задает массу характеристик социокультурного целого, порождает особые, присущие только этому типу культур, феномены и формируют специфические формы универсальных процессов. Такие вещи как тяготение к демократическим либо авторитарным институтам; наличие либо отсутствие концепции «прайвиси»; принятие либо отторжение идеи личностной автономии и прав человека; выбор между оптимистической мироприемлющей либо гностической мироотречной позицией; доминирование «хеппи энда» или трагического конца в произведениях массовой культуры; способность к саморазвитию либо обреченность на догоняющее копирование лидеров мировой динамики – все эти и множество других моментов, принадлежащих самым разным срезам социокультурной реальности, задаются, корреспондируют, связаны с акцентом на репрессии, либо вознаграждении.

Качественный анализ; как отличить репрессивную культуру от ее альтернативы

Говоря о культурах/локальных цивилизациях репрессивных либо центрированных на вознаграждении, надо помнить, что каждая из них включает в себя все три описанных стимула. Проблема в акценте.

Можно предположить, что существуют культуры сбалансированные (в которых соразмерно представлены все три механизма) и культуры, акцентирующие репрессию либо вознаграждение. Все культуры/локальные цивилизации, реализованные в истории человечества мож-

но расположить в некотором ряду таким образом, что в центре окажутся более или менее сбалансированные, а на полюсах расположатся культуры, центрированные на репрессию либо на вознаграждение. Выстраивание подобной шкалы – дело будущего. Мы не располагаем для этого необходимым научным инструментарием. Наша задача скромнее – выделить культуры очевидно тяготеющие к полюсам этой шкалы и рассмотреть их характеристики, уделяя особое внимание полюсу репрессии.

Из общих соображений представляется, что синкретические цивилизации – индийская, китайская, японская – скорее относятся к классу сбалансированных, а цивилизации структурированные мировой религией (иудаизм, христианство, ислам) или моноидеологией (несостоявшаяся коммунистическая цивилизация) – скорее акцентируют репрессию либо вознаграждение.

Как же можно выявить соответствующие культуры и классифицировать их по данному основанию? Существует универсальный способ выявить ранг того или иного момента (тенденции, ценности, акцента) в любой культуре. Доминирующие моменты всегда более разработаны, выделены, являются предметом внимания, представлены в языке, искусстве, массовой культуре шире, нежели все остальное. А все то, что дополнительно, маргинально, подавляется в культуре – будет представлено минимально, табуировано к обсуждению, профанируется, не разработано. Поэтому можно предположить, что в культурах сбалансированных мир заслуженных, легитимных удовольствий и мир заслуженных страданий будут представлены более или менее соразмерно. Что же касается культур, акцентирующих один из полюсов, то там должен наблюдаться дисбаланс в сторону акцентуации. К примеру, культура, в которой появляется трактат «Камасутра», заведомо не принадлежит к центрированным на репрессии. Культура, в которой большими тиражами издаются глянцевые журналы – культура позитивного вознаграждения, потребительски гедонистическая. Там же, где говорить об удобствах, благах, удовольствиях считается неприличным – культура мироотречная, антигедонистическая и репрессивная.

Кроме того, существует еще один маркер. Культуры, тяготеющие к полюсам, включают в себя блок активного отторжения альтернативы. Она профанируется, объявляется безбожной, либо варварской, изжитой историей человечества или стоящей на пороге катастрофы. Любая акцентуация создает внутренние напряжения, которые проблематизируют эту культуру. Местные идеологи активно добиваются лояльности носителей культуры. Иными словами, для культур, тяготеющих к полюсам, характерно создание образа онтологического противника. Причем, характеристики этого противника представляют собой описанную в идеологическом языке альтернативу. Когда мы читаем исходящие из мира ислама гневные обличения безбожной, погрязшей в стремлении к удовольствиям цивилизации Запада, попирающей освященный веками порядок вещей, можно с уверенностью утверждать – эта словесность порождена репрессивной культурой.

Полярные модели социальности как исторические стратегии

Как было сказано выше, акцент на репрессии либо вознаграждении описывает одну из важнейших характеристик культуры и носит системообразующий характер. Мир устойчивой репрессии фиксирует (не создает, ибо сама репрессия является результатом) систему норм и ценностей, философское и религиозное мироощущение. Рождает соответствующую художественную культуру и искусство. Устойчивая репрессия создает определенный тип социальности, формы общественной и личной жизни, политические модели, сценарии исторического развития. Репрессия формирует структуру личности. Это –

определенный тип эмоциональности, специфическая психология, набор реакций и типизованных моделей поведения в критических ситуациях, система ценностей, модель солидарности и многое другое. Мы говорим о природе человека, о базовых характеристиках, которые сложились в контексте репрессии как генерального фактора бытия. Вне репрессии человек данного типа переживает состояние рыбы, вынутой из воды.

Центрированное не репрессию традиционное целое исключительно устойчиво. Репрессивная культура воспроизводится снова и снова, переживая революции, смены политических режимов, конфессий, модернизацию. Трансформировать ее очень и очень сложно.

Сказанное выше в равной степени относится к культурам, центрированным на вознаграждение. За ними также стоит система норм и ценностей, религиозное мироощущение, искусство, формы общественной и личной жизни, политическая культура, устойчивый тип личности. Вопреки мифологии постоянно рождающейся в лоне репрессивных культур, культуры, центрированные на вознаграждении, не менее устойчивы, но более эффективны и исторически агрессивны. Им свойственно не только самосохраняться в конкурирующем мире, но и широко транслировать собственную систему ценностей, навязывать ее аскетически-репрессивному миру традиции, медленно и неуклонно размывая этот мир.

Под некоторым углом зрения драма последних двух веков мировой истории может быть рассмотрена как конкурирующее столкновение мира репрессии с миром, центрированным на вознаграждение. Это столкновение обостряется, охватывает все более широкие пространства, выходит на глобальный уровень, двигает регулярные армии и сети террористических организаций, превращается в один из *решающих факторов современности*.

Наше убеждение состоит в том, что обозначенные модели социокультурного бытия заслуживают развернутого сопоставительного исследования. Но поскольку

человеческие возможности конечны, нам остается намечать фарватер такого исследования, пунктирно фиксируя то, что ближе, дано в опыте непосредственного наблюдения, предоставив внимательному и вдумчивому читателю дополнить наши зарисовки.

Глава II
Онтология репрессии

Говоря об онтологии репрессии, мы имеем в виду достаточно широкий круг проблем, связанных с природой репрессивных обществ, генезисом этого типа социальности, возможностями и ограничениями, вытекающими из доминирования репрессивной стратегии и историческими перспективами обществ данного типа. К этому кругу проблем относятся: место репрессии в системном целом государства, функциональная природа, механизмы закрепления и воспроизводства репрессии, личностная, социально-психологическая, политическая специфика репрессивных обществ, мировоззренческие особенности, характеристики стиля жизни и другие проблемы. Понятно, что столь широкий круг можно всего лишь наметить, высказав самые предварительные суждения.

Репрессивность как исторически первичная стратегия социализации и социального регулирования

Мы не располагаем данными, позволяющими с уверенностью утверждать что-либо об уровне репрессии в первобытном обществе. Но достаточно развернуто представляем себе социальные отношения у стадных млекопитающих, в частности, обезьян. Здесь насилие выступает существенным элементом системы социальных взаимодействий. Насилие пронизывает как воспитание, так и поддержания порядка в стаде. Сам процесс установления социальной иерархии, то есть выдвижения вожака, связан с цепью драк самцов, в ходе которых выстраивается ранговая иерархия. Вожаком оказывается самый сильный; остальные подчиняются или изгоняются из стада. Вожак подтверждает свой статус, наводя страх на подопечных. Периодически он вынужден подтверждать свое положение в столкновениях с молодыми

самцами, притязающими на статус вожака. Таким образом, насилие оказывается системообразующим элементом. Если его убрать – устойчивый социальный порядок просто разрушится. Нет оснований полагать, что в первобытном обществе, выделившемся из такой среды, дела обстояли иначе.

За последние пару веков накоплена масса материалов, посвященных исследованиям архаических и традиционных обществ. Эти наблюдения показывают, что от племени к племени, от культуры к культуре уровень насилия варьируется, но в целом уровень репрессии достаточно высок. Для этого есть объективные основания. Их не мало. Приведем некоторые.

Исходные, исторически первичные формы государственности и цивилизации базировались на редистрибуции (изъятии у производителя продуктов труда и распределении их на нужды общества). Как показывают исследования, социальная система, базирующаяся на редистрибуции, характеризуется кастовой структурой общества, высоким уровнем насилия, в идеале, полным бесправием подданных[1]. Иными словами, исходная модель государственности, отработанная на Востоке, характеризовалась высоким уровнем насилия.

Не только в ходе процессов антропогенеза, но и по мере исторического развития изменяющаяся реальность постоянно предъявляет человеку новые требования. Образно говоря, в значимых характеристиках (психологических, интеллектуальных, культурных) внуки должны отличаться от дедов. То, что еще вчера было нормой или допустимой вариацией поведения, сегодня становится осуждаемым и порочным. К примеру, институт брака противостоит практикам промискуитета. Но за отторгаемыми практиками стоит не только привычка и устойчивая культура, осмысливающая отринутое как освященную традицией. За этим стоит определенный тип психики. Людям такого склада тесно, неорганично

[1] Стариков Е.Н. Общество-казарма от фараонов до наших дней. Новосибирск, 1996.

в новой реальности. Они не способны выполнять новые нормы.

Сплошь и рядом инструментом исторической динамики оказывалась репрессия. Женщина, по своей психологической органике не склонная к устойчивой супружеской верности, оказывается объектом неодобрения, поругания, и, наконец, травли со стороны соседок. Человек, наследующий культуру (а значит и органику) языческих жрецов в монотеистическом обществе осмысливается как колдун, живущий вне закона. Его дом, имущество, жизнь находятся под угрозой. Репрессия подавляет отторгаемые практики и минимизирует воспроизводство человека, органичного для этих практик.

Тысячелетия цивилизация и государственность существовали бок о бок с догосударственной окраиной. История сосуществования этих стратегий исторического бытия человека исключительно драматична. Один из сквозных исторических сюжетов – процессы вписывания варвара и архаика в государство и цивилизацию. Сплошь и рядом догосударственный человек вписывался в цивилизацию через институт рабства, который представляет собой один из самых репрессивных социальных порядков, созданных человеком. Эти процессы разворачивались на огромных пространствах в течение тысячелетий. Другими механизмами инкорпорирования догосударственного человека в государство история в ту пору не располагала[1]. Насильственное подавление исходных характеристик, навязывание новых норм и правил, утверждение новых практик достигалось жесточайшей репрессией, которая буквально ставила человека на грань выживания. Те, кто не мог вписаться в новую реальность, погибали. Остальные проходили эволюцию, результаты которой были особенно заметны в чреде поколений.

[1] А когда такие механизмы появились, институт рабства себя изжил. Этому способствовало и то обстоятельство, что догосударственная окраина к тому времени разложилась и радикально уменьшилась в объеме.

Один из существенных моментов стабилизации мира социальных взаимодействий связан с формированием механизмов обуздания психологических аффектов. Среди самых универсальных противопоставлений дикого и цивилизованного человека – способность к владению страстями. Человек, позволяющий себе взрывы эмоций и непрогнозируемое поведение, разрушает социальную ткань. Человечество боролось с этим, ритуализируя мир социальных отношений. Система ритуалов охватывает собой всю сферу человеческой активности. Ритуал вбивается в человека намертво. Его нарушение вызывает жесткую репрессию.

Особое, исключительно важное место насилие занимало в процессах социализации и обучения. В архаическом и традиционном обществе обучение в самом широком смысле (социальным практикам, нормам, ценностям, технологиям) связано с довербальным уровнем взаимодействия. Здесь работают магическое уподобление учителю, растворение в ситуации, неосознанное копирование поведения окружающих. Репрессия оказывается индикатором правильного/неправильного поведения. Вообще говоря, насилие органично как существенный элемент дотеоретического, минимально рационализированного и вербально оснащенного культурного комплекса.

Современный человек плохо представляет себе реальность традиционного мира. К примеру, кузнец учил, что надо разогреть заготовку до малинового (или соломенно-желтого) цвета, а потом ее следовало быстро опустить в сосуд с водой. Почему именно до малинового, почему быстро? Эти вопросы не возникали. Технологический процесс переживался ритуально. Сегодня, опираясь на данные физики и металловедения, учитель может объяснить физический смысл технологической процедуры, называемой «закалка». Обучаемый осознает, что происходит со структурой металла при резком охлаждении. Он узнает, что малиновый цвет фиксирует

температуру, оптимальную для процедуры закалки и т.д. Производственная деятельность обретает осмысленное, теоретически оснащенное измерение. В традиционном мире весь комплекс обучения, переживания и осмысления технологического процесса, формирования жесткого навыка работы строился по-другому. Нарушение технологии осмысливалось как нарушение сакральной нормы и требовало репрессии.

Для того, чтобы почувствовать дистанцию между миром, в котором мы живем и миром традиции, обратимся к свидетельствам современников. Венесуэлец Франсиско де Миранда путешествовал по Российской империи в 1786–1787 годах. На одном из светских приемов путешественник обратил внимание на военный оркестр, исполнявший музыку: «Я спросил полковника Корсакова, как учат этих музыкантов, кои вполне прилично исполняют любое музыкальное произведение на разных инструментах. Он ответил, что в российских воинских частях единственным "учителем" или способом обучения обыкновенно является палка»[1]. Согласимся, что современному человеку скорее придет на ум изучение нотной грамоты, уроки гармонии, сольфеджио, техники звукоизвлечения и прочих премудростей исполнительского искусства. Оказывается, тех же результатов можно добиться с помощью палки. Но для этого требуется другой историко-культурный контекст и другой – традиционный, дорациональный, бесписьменный, минимально оснащенный вербально – объект обучения.

Все эти факторы устойчиво работали в течение тысячелетий. Однако, на исходе традиционного общества в процессах модернизационного перехода уровень репрессии резко вырастает, существенно превосходя традиционную репрессию. Причины такого всплеска носят объективный характер. Субъект модернизационного преобразования (государство, правящая элита) сталкивается с качественным несоответствием традиционного

[1] *Франсиско де Миранда.* Путешествие по Российской Империи. М., 2001. С. 41.

человека технологиям бытия, осваиваемым обществом в императивном порядке. Необозримая патриархальная масса могла быть частично (подчеркнем, всего лишь частично) адаптирована к промышленным технологиям только при условии, что люди окажутся на грани вымирания. Тогда у них останется единственный выбор: жизнь по законам промышленного мира или смерть.

Обратимся к отечественной реальности. Надо отдать себе отчет в том, что необозримая феноменология российского бытия, обозначаемая нами как безалаберность, безответственность, бардак, разруха, головотяпство, бестолковщина, хищения, постоянные нарушения всех и всяческих технологий, безмерная аварийность, одним словом, критическая хаотизация социального космоса – суть выражение несоответствия массового культурного субъекта уровню технологий, используемых обществом: промышленных, административных, экономических, информационных, технологий быта и образа жизни и т.д. Речь идет не об узких маргинальных группах, а об основном массиве общества. И это относится к сегодняшнему дню; сто лет назад ситуация была гораздо более катастрофична, ибо дистанция между осваиваемой технологией и субъектом действия скорее уменьшается, чем нарастает. Во всяком случае, на это хочется надеяться.

Заявленная нами проблема возникла не с коммунистами, и решение было найдено раньше. Ровно так же в XVIII–XIX вв. не существовало иной возможности, кроме палочной дисциплины и шпицрутенов для того, чтобы превратить патриархального крестьянина в солдата европейской армии, усвоившего строй, уставы, способного беспрекословно подчиняться, точно выполнять команды и т.д. Сама эта трансформация была столь сложной, что требовала десятилетий. Отсюда срок службы – 25 лет. И только после общекультурного «прогрева» глубинки, когда дистанция между качественными характеристиками крестьянской массы и требованиями

армейской технологии, хотя бы отчасти, сблизились, государство пошло на реформу армии. В 1874 г. была введена всеобщая воинская повинность, и срок службы снижен до 7 лет.

Необходимо невероятное насилие над природой традиционного субъекта для того, чтобы он сколько-нибудь эффективно вписался в новую систему. Такое насилие требует санкций на витальном уровне. Человек должен осознавать, что любая поломка, любая крупная ошибка, любое отступление от предписаний и указаний начальства, которое приведет к аварийным последствиям, влечет за собой жесточайшую репрессию. В противном случае общество неизбежно захлестнет неразбериха и хаос.

Подчеркнем принципиально важное обстоятельство: политическая система, тип экономики, государственная идеология в данной ситуации значения не имеют. Классические капиталистические общества первого эшелона модернизации или диктатуры развития, возникающие в XX веке, в разной стилистике решали одни и те же задачи – разрушения традиционной культуры, перехода общества от экстенсивной к интенсивной стратегии исторического бытия, радикального изменения ментальности. В этом отношении коллективизация, раскулачивание, Голодомор, «Указ о колосках», уголовное наказание за опоздание на работу стоят в одном ряду с практикой огораживания, законами против бродяжничества, смертной казнью за проникновение в цех с целью сломать станок или виселицей за карманную кражу на сумму свыше 5 шиллингов[1].

Осмысливая практику советского периода, известный экономист Гавриил Попов предложил теоретически продуктивный термин – «подсистема страха». Прежде всего, в формулировке Попова фиксируется *системный характер* страха. Эта подсистема была следствием систематической репрессии, и выступала необходимым

[1] Подробнее см.: *Яковенко И.Г.* Риски модернизационной трансформации российского общества: культурологический аспект. М., 2006.

элементом целого. Подсистема страха существовала и в царской России, но там она имела сравнительно локальный характер. Универсальным фактором подсистема страха становится с приходом большевиков к власти и выступает главной силой, стабилизирующей общество. Завершение классического периода советской истории и размывание подсистемы страха в брежневскую эпоху привело к последовательному нарастанию хаоса. Общеисторическая альтернатива коммунистического проекта, связанная с диктатурой рынка, ставит человека перед угрозой маргинализации не менее жестко, нежели «диктатура пролетариата». Такова неумолимая диалектика истории. Традиционное общество достаточно репрессивно на протяжении всей своей истории. Но закат традиционного мира сопровождается резким, часто чудовищным ростом уровня насилия.

Генезис культуры, центрированной на репрессивности

Итак, уровень репрессии в традиционном обществе достаточно высок. Тем не менее, в рамках традиционного мира наблюдаются вариации уровня репрессии. Что задает эти вариации, и почему возникают культуры, центрированные на репрессивности? Ограничимся самым общим ответом на первый вопрос. Вариации уровня репрессии задает разная мозаика факторов, сопутствующих возникновению и существованию конкретных обществ.

Второй вопрос – как возникает культура/локальная цивилизация, центрированная на репрессивности, и почему этот тип цивилизации сохраняется и воспроизводится из поколения в поколение – заслуживает развернутого ответа. Здесь также необходима рефлексия исходных установок. Сформулированные нами вопросы можно воспринимать вне каких бы то ни было ценностных предпосылок. На самом же деле, для многих из тех, кто обратится к проблеме, в этих вопросах содержится

ценностная компонента антропоцентристского характера, которая восходит к идейным течениям Нового времени. Поскольку акцент на репрессии противоречит ценностям автономной личности и соответствующему этой личности идеологическому комплексу, возникает недоумение – как вообще возникает такой тип культуры, и почему он воспроизводится в Новое время?

Наши ответы на поставленные вопросы можно сформулировать следующим образом. Человек не является субъектом процесса культурогенеза. Вообще говоря, человек – не субъект, а культура – не объект. Человек и культура находятся в сложных субъект-субъектных отношениях[1]. Что же касается процессов генезиса локальных цивилизаций и больших культурных традиций, то это сложнейшие феномены самоорганизации больших общностей, в которых человек участвует и только. Люди, участвующие в процессах генезиса конкретной цивилизации, заданы массой факторов, которые лежат за гранью их кругозора. Человек не осознает того обстоятельства, что участвует в рождении некоторой цивилизации и заведомо не в состоянии представить себе ее характеристики. Само рождение цивилизации связано с возникновением новой ментальности, которая будет задавать строй переживания мира, мышления и действия людей вплоть до снятия данной цивилизации. Эта ментальность выступает естественной, как воздух, и абсолютно непреложной данностью для своих носителей и начинает как-то осмысливаться и проблематизироваться только лишь на этапе последнего кризиса, связанного с ее историческим снятием.

Итак, репрессивная культура/локальная цивилизация возникает в рамках процессов самоорганизации

[1] Подробнее см.: *Яковенко И.Г.* Человек и культура: диалектика взаимодействия (к постановке проблемы) // Пространства жизни субъекта: Единство и многомерность субъектнообразующей социальной эволюции / Отв. ред. Э.В. Сайко. М., 2004. С. 117–148. *Яковенко И.Г.* Ментальность в структурировании субъекта и субъектности // Человек как субъект культуры. М., 2002. С. 130–151.

и утверждается в частности потому, что является *эффективной*. Мучая и тираня своих носителей, сводя их раньше срока с могилу, безбожно расходуя человеческий материал, она успешно создает субъекта репрессивной культуры, органично вписанного в этот контекст и воспроизводящего его снова и снова, решает задачи самовоспроизводства, борется за пространства и ресурсы, адаптируется к необходимым инновациям и т.д.

Для сравнения, обратимся к живой природе. Как указывают биологи, до взрослого возраста доживает около половины новорожденных львят, а рыбы или лягушки реализуют куда более расточительную стратегию. Погибает подавляющее большинство икринок, и лишь единицы доживают до репродуктивного возраста. Почему рядом с бережливой биологической стратегией существует предельно расточительная? Здесь затрагивается целый комплекс проблем, но обобщая (и неизбежно огрубляя) можно сказать: в своей биологической нише расточительная стратегия достаточно эффективна.

Репрессивные культуры, как и всякие иные, существуют постольку, поскольку сохраняют необходимый уровень эффективности. Так как локальные цивилизации существуют в конкурентной среде, утрата эффективности ниже некоторого критического уровня ведет либо к трансформации в рамках устойчивого качества, либо, если резерв таких трансформаций исчерпан, к вступлению в эпоху исторического снятия. Если некоторая репрессивная культура сегодня существует, то это означает что она: либо сохраняет необходимый уровень эффективности, либо переживает трансформацию в рамках устойчивого качества, либо вступила в процесс исторического снятия.

Что же касается процессов генезиса подобных феноменов, то генезис локальной цивилизации – сложнейшая, многоаспектная проблема. Современное гуманитарное знание делает первые шаги на пути исследования этих процессов. В качестве примера можно обратиться

к одной из публикаций А. Пелипенко[1]. Автор относит российскую цивилизацию к классу репрессивных и развернуто характеризует ее как пронизанную архаикой, имперскую, неспособную к имманентному саморазвитию, ориентированную на синкретическое объединение разнокачественных, принадлежащих разным стадиям исторического развития феноменов в одном целом.

Указывая на то, что после выхода из средневековья монотеистические цивилизации унаследовали биполярную модель мира, где пессимистическому полюсу мироотречения противостоит оптимистический полюс эсхатологии, автор фиксирует, что западноевропейская цивилизация реабилитировала тварный мир и человека, покончив с парадигмой мироотречения. Исламский мир остался на классических средневековых позициях. В России же, «где под вуалью монотеизма с особой отчетливостью проступают дуалистические, манихейские основания, реализовался худший из возможных вариантов»[2]. А именно – эсхатология с падением коммунистической идеологии умерла, а мироотречение осталось.

Причины этого Пелипенко видит в обстоятельствах генезиса нашей цивилизации. Здесь переход от архаики к большому обществу осуществлялся не в имманентном режиме на основании внутренних, вполне созревших предпосылок, как это было у большинства цивилизаций. Порядок большого общества привносился извне, что чревато своеобразной «родовой травмой». Отсюда раскол культурного сознания, где противоречия носят не продуктивный, а деструктивный характер[3].

Вторая причина типологически задана характеристиками заимствованной цивилизационной модели.

[1] *Пелипенко А.А.* Печальная диалектика российской цивилизации // Россия как цивилизация: Устойчивое и изменчивое. М., 2007. С. 48 – 72.

[2] *Пелипенко А.А.* Указ. соч. С. 50

[3] Здесь А. Пелипенко следует за А. Ахиезером, сформулировавшим тезис о расколе российского культурного сознания, который, по мысли ученого, вытекал из неимманентного характера становления отечественной истории.

Речь идет о процессах смыслогенеза – то есть способах и механизмах порождения новых смыслов, определяющих существо любой культуры. В Средиземноморье сложились две различающиеся цивилизационные модели. Исходно человек схватывает мир в системе *дуальных оппозиций* (добро – зло, свет – тьма, грешник – праведник). Процессы смыслогенеза могут идти либо по пути рождения новых оппозиций, расширяющих и детализирующих дуализованную картину мира, либо по пути рождения *промежуточных смыслов,* не сводимых к дуальным противопоставлениям и выражающих богатство смысловых нюансов окружающего нас мира.

Католический мир пошел по пути порождения новых, третьих смыслов. Между горней областью благодатного сверхъестественного и преисподней областью противоестественного появляется область естественного. Православная Византия сохранила дуалистическую парадигму, которую унаследовала Россия. Здесь мир делится на два: удел света или удел мрака, Рай или Ад. Порождая новые смыслы, а значит, воспроизводя, развивая и обновляя картину мира, носитель отечественной культуры постоянно воспроизводит исходный дуализм. Из этого обстоятельства вытекает масса последствий. Так, в этом случае адаптация к изменениям идет через цепь инверсионных перекодировок. Бывший объектом поклонения вчерашний правитель предстает злодеем и т.д. Применительно к нашей теме значимо одно – неукорененность в бытии. Человек не имеет в имманентном мире своего законного места, ибо сам мир имманентного не онтологизирован, лишен божественной санкции. Он не защищен от произвола сакральной и всемогущей власти, в любой момент с ним может произойти все, что угодно[1].

На Западе происходило изживание манихейской демонизации противника, утверждался юридизм. Каждый человек наделялся некоторыми неотчуждаемыми ста-

[1] Подробнее см.: *Пелипенко А.А., Яковенко И.Г.* Культура как система. М., 1998.

тусными атрибутами, которые были присущи ему вне зависимости от его качеств и поведения. Иными словами, «каждый имеет право на неотъемлемый уровень уважения и собственное достоинство»[1].

Для нашей темы особенно важны два момента: *неукорененность* православного человека *в бытии* и *беззащитность перед лицом власти*. Дело в том, что эти моменты суть фундаментальные предпосылки и факторы репрессии. Начнем с неукорененности. Неукорененность человека в бытии, специфически русское онтологическое сиротство, задает особую авторепрессию.

Неукорененность связана с двумя важными идеями: *«неправильности» мира*, то есть не соответствия эмпирической реальности некой безусловной и априорной норме, *и его неподлинности*. Человек постоянно «ест» себя самого. Жизнь его, в каком-то сложно формулируемом смысле, не подлинна. В ней что-то не так. Где-то там, за горизонтом должна быть другая, настоящая жизнь. Бросить бы все это, уехать в неведомую даль, где все правильно, где торжествует сакральное Должное и он сам будет совсем другим, настоящим.

Из подобных терзаний рождается широкий спектр последствий. Отсюда постоянная тревожность, русское самоедство, невротические реакции, алкоголизм, демагогическое многословие и многое другое. В описываемом ряду особо значимо жесткое иррациональное неприятие так называемого «мещанина» (ловчилу, нового русского), то есть, человека, чуждого данному типу переживания себя-в-мире. Речь идет о человеке, который преуспевает в этой жизни, обустраивает свой собственный дом, в конце концов, радуется жизни и приемлет «этот мир», поскольку исходно укоренен и вписан в бытие. Для него этот мир онтологически подлинен, а сам он приобщен подлинности.

Человек, не укорененный в бытии, открыт для репрессии. Он не только беззащитен, но жаждет репрессии, хотя возможно и не отдает себе в этом отчета. Самооценка такого человека, его понимание Вселенной и себя-в-мире таковы, что ничего, кроме репрессии, как он считает, он не заслуживает. Вспомним типичные для традиционной культуры сентенции: «Так нам и надо. По грехам нашим».

[1] *Пелипенко А.А.* Указ. соч. С. 57.

Отсюда вырастает пространство репрессии, заданной беззащитностью перед лицом Власти, которая, как известно, сакральна и богоравна. В отечественной реальности массовый человек не гарантирован от произвола власти (влиятельного лица, капитана исправника, околоточного надзирателя, чиновника, которому приглянулся ваш садовый участок и т.д., до бесконечности). Можно вырабатывать стратегию, минимизирующую риски репрессии со стороны агентов власти, но невозможно сформировать линию поведения, гарантирующую защиту от таких эксцессов. Самое скрупулезное выполнение всех писанных и неписанных законов, самая истовая лояльность «власти предержащей» не содержит гарантий от произвола. Как говорят на Руси: «От тюрьмы да от сумы не зарекайся». Здесь мы сталкиваемся с особой *репрессией неопределенности*.

Понятно, что в разных возрастных и социальных группах мера такой неопределенности сильно различается. Сын большого столичного начальника и его сверстник из рабочей семьи в забытом Богом поселке рискуют поразному. Папа столичного мальчика, скорее всего, вытащит своего сына из любой ситуации, а безродного парня из глубинки могут схватить на улице, избить и повесить на него любую криминальную историю. Но и здесь возможны неожиданные повороты событий. Столичный начальник может оказаться проигравшей стороной в борьбе бульдогов под ковром, или перейти дорогу кому-то из могущественных лиц, и тогда скверная история с его сыном окажется элементом дебютной разработки. Существо нашей реальности состоит в том, что *никто не гарантирован*. Различается мера риска и только.

А далее, в соответствии с логикой формирования целостного системного качества, к обозначенным репрессиям примыкают все остальные (заданные патриархальным старшинством, социальным, имущественным, физическим превосходством, любой формой зависимости объекта репрессии от субъекта репрессивного действия, его конфессиональной, этнической, социальной, политической второсортностью и т.д.).

Подведем итог: *генезис больших цивилизационных моделей* может порождать такие конфигурации, в которых *репрессия оказывается одним из ключевых элементов целого*. Акцент на репрессии закрепляется, отливается в характеристиках базовой личности, системе социальных отношений, образе жизни, превращается в системообразующий элемент социокультурного целого.

Приведенный выше анализ процессов генезиса католического и православного миров указывает на различие в глубинных структурах культуры, но не отвечает на вопрос – какой смысл в репрессивной стратегии, почему наряду с культурами, развитие которых идет по пути минимизации репрессии, возникают устойчиво репрессивные культуры? Подходы к этой проблеме рассматривались нами в ряде публикаций[1].

В самом общем смысле ответ такой: в мировой истории реализуются все потенциально возможные модели и стратегии, при условии достаточной эффективности последних. Их диалектика составляет существо всемирно-исторического процесса. Борьба оптимистического и пессимистического, мироотвергающего и мироприемлющего, аскетического и ориентированного на удовольствия, репрессивного и антирепрессивного – ветвь этой универсальной диалектики. Устойчиво репрессивные культуры эффективны, во всяком случае, эффективны в

[1] См.: *Яковенко И.Г.* Православие и исторические судьбы России // Общественные науки и современность. 1994. № 2. С. 47 – 56; *Яковенко И.Г.* Российское государство: национальные интересы, границы, перспективы. М., 2008; *Пелипенко А.А., Яковенко И.Г.* Культура как система. М., 1998.

определенных пределах исторического процесса. А раз так, они существуют, конкурируя с другими моделями культуры, и эта диалектика двигает всемирно-исторический процесс.

Сделаем одно важное замечание. Не следует привносить этический момент в анализ природы вещей. Те, кто грешат подобной аберрацией, помещают себя в центр Вселенной и предписывают выработанным человеком этическим категориям универсальный характер. Куда разумнее смиренная позиция, избегающая предписывать Создателю наше понимание блага. Мы знаем, что однажды в ходе эволюции живой природы произошел качественный скачок, который состоял в том, что часть живого освоила стратегию хищничества. В общеэволюционном смысле это событие послужило мощным динамизирующим фактором. Кончается эра автотрофов, возникают животные, появляются зоофаги. Стратегия хищника предполагает решение существенно более сложных задач, нежели стратегия травоядного. В свою очередь возникновение хищников стало стимулом развития жертв хищника. Совершенствуются системы прямой и обратной связи, усложняется нервная система, развивается мозг, складываются механизмы группового поведения.

Как говорят специалисты, до возникновения хищников эволюция миллионы лет «топталась на месте». Возникновение хищничества задало иной темп эволюционного процесса. Одним из отдаленных результатов этой революции в мире живой природы стало возникновение человека. Все так, но, будем помнить, что наше появление и бытие в мире оплачено морем боли и страданий миллиардов живых существ, раскинувшемся на пространстве в сотни миллионов лет.

Репрессивная культура, как и всякая другая, существует постольку, поскольку может обеспечить самовоспроизводство. Будем помнить о том, что культуры – надличностные системные целостности. Они возникают,

эволюционируют и исчезают, базируясь на человеке как материале. Для культуры важно биологическое воспроизводство человеческого материала и удержание его в своем теле. Хорошо ли этому человеку или дискомфортно, счастлив он или испытывает страдания, к этому культура индифферентна.

Репрессия и неравенство

Репрессия есть наиболее выпуклое, исторически первичное, коренящееся в зоосоциологии и восходящее к эпохе до антропогенеза выражение неравенства. Мир репрессии – мир неравенства. Это его фундаментальная, базовая характеристика. Субъект и объект репрессии неравноценны, неравноправны, а, на некотором уровне, и неравноприродны, разнокачественны.

В сознании человека репрессивной культуры идеи равноправия нет и быть не может. Любая претензия со стороны потенциального объекта репрессии на равные права (заметим, что здесь речь идет не о *правах*, ибо право по своей природе универсально, а о привилегиях, заданных статусом субъекта легитимной репрессии) прочитывается как безосновательная претензия на статус субъекта репрессии, ибо равноправия в принципе не существует.

Мы упомянули о неравноценности и неравноправности субъекта и объекта репрессии. В этой связи вспоминается грустная шутка М.Е. Салтыкова-Щедрина, который сказал как-то, что прежде всего из хаоса возникло начальство, а затем уже, так сказать, для обстановки, ради удобства начальства Создатель соорудил «людишек». Мысль понятна. Отец, избивающий ребенка, исходит не из того, что он физически сильнее, а из своего права на наказание, которое вытекает из статуса отца. Сын, поднявший руку на отца, совершает кощунственный акт, который никогда не забудут ни прямые участники событий, ни наблюдатели. Это как хула на Духа Святого – сей грех не отпускают. Но если ребенок со временем имеет шансы стать отцом, то есть превратиться в субъекта легитимной репрессии, то подданный никогда не станет Владыкой. Репрессия, исходящая от Власти предержащей, исходит от субъекта, иноприродного подданному.

Репрессия рассматривается как главный, решающий атрибут статуса. Знаки репрессии – знаки власти. Лобное место не случайно стоит на Красной площади. Моделируя культурный космос, Красная площадь включает Лобное место как знак власти царя над животами подданных.

Сила, то есть примененная развернутая репрессия, есть главный легитимирующий власть момент. Любые соображения и аргументы морального или правового характера, любые выборы, договоры, соглашения – внешняя, чуждая внутренней природе вещей форма. Власть принадлежит тому, кто эффективно легитимирует себя насилием. Это относится и к массовому сознанию, и к российской политической философии. В последнее десятилетие мы часто слышим рассуждения о «политической воле». Чаще всего авторы этих высказываний имеют в виду волю и способность к эффективному насилию. Вот как описывает настоящую власть один из идеологов русской традиции: «Сила Китая сегодня обусловлена твердыми действиями <…> на Тянь-Ань-Мынь. Посланный на площадь чьей-то “недрожащей рукой” этот добрый, очкастый, романтичный, жаждущий справедливости, бесстрашный студент стал, распахнул по-птичьи руки перед танком. И танк выстрелил. Бухх – нет студента. И поехал дальше – вперед!»[1].

Как мы уже сказали, мир репрессии – мир неравенства. Отношения репрессии носят субъект-объектный характер. Субъект легитимной репрессии – субъект по преимуществу. Объект этой репрессии – объект по преимуществу. Иными словами, мир репрессии состоит из субъектов – указующих, направляющих, репрессирующих – и объектов указаний и репрессий, которые выполняют предписания начальства.

[1] *Тюрин Ю.* Лукашенко навсегда // Кремлядь или Наследники Путина: альманах российской публицистики. М., 2006. С. 101.

Место репрессии в системном целом (функциональная природа репрессии)

Для чего существует перманентная репрессия? В самом общем виде можно сформулировать такой ответ: «Перманентная репрессия воспроизводит определенный социокультурный космос и человека, принадлежащего этому космосу. Она вплетена во все социальные взаимодействия, отражена в индивидуальной и массовой психологии, социальных практиках, институтах, политике, экономике, искусстве и т.д. Иными словами, она относится к базовым, системообразующим элементам специфической репрессивной культуры». Доминирующая репрессия обеспечивает самоподдержание культуры данного типа, сохранение ее самотождественности. Это – главное и первичное.

Также как в организме заядлого курильщика никотин включается во все процессы обмена веществ, репрессия в тех или иных формах пронизывает собой практически все измерения социально-культурного целого. Где-то задает тон, где-то сопутствует, а где-то оказывается неустранимым элементом. В каких-то сферах репрессия, как кажется, отсутствует. Но это – видимость; убери репрессию и всё рассыпется.

В такой перспективе вопрос: «Для чего существует перманентная репрессия?» – утрачивает смысл. Ибо репрессия здесь не привлекаемая технология, а вытекающий из природы объекта способ бытия, существенный элемент структуры. Перманентная репрессия позволяет создать определенный тип общества, которое решает универсальные задачи – самоподдержания, борьбы за расширение контролируемого пространства, адаптации инноваций и т.д.; а также и соответствующего этому обществу человека. Историческая эффективность традиционно-репрессивного общества имеет свои границы. К примеру, репрессивное общество может развиваться экстенсивно, но не в состоянии перейти к интенсивной стратегии развития. Из этого вытекают стадиальные

границы общества, центрированного на репрессии. Однако, в рамках объективно заданных границ, репрессивная культура более или менее успешно воспроизводится.

В нашем случае функции репрессии носят универсальный характер. Репрессия формирует внутренний мир человека, дает ему модели понимания мира (как земного, так и небесного), позволяет ориентироваться в социальном космосе, задает нормы и ценности, обеспечивает борьбу с хаосом, входит как существенный момент в семейные отношения, пронизывает собой воспитание, образование, оформляет отношения к сакральным и трансцендентным сущностям (вспомним Страх Божий), стратифицирует общество и т.д. Для людей, сложившихся в лоне такой культуры, репрессия – это воздух, которым они дышат, земное притяжение, в поле которого они существуют, небо, под которым они ходят.

Среди важнейших функций российской репрессии – воспроизводство и сохранение традиционного универсума. Здесь требуются пояснения. Отечественная репрессия по преимуществу носит *личностный характер*. В этом заключен существенный момент отечественной специфики. Традиционное аграрное общество характеризуется отношениями *личной зависимости между людьми.* Репрессия в традиционном обществе личностна: некоторый субъект, носитель иерархического начала, репрессирует другого, подчиненного (или, тем самым, подчиняемого), и эта репрессия служит установлению либо поддержанию отношений личной зависимости. Итак, личностная репрессия – важный механизм воспроизводства традиционного общества.

В модернизированном или исходно правовом, западном обществе репрессия носит *безличный характер.* Человека осуждает безличный закон, действие которого реализует не менее безличная государственная машина. Репрессия не вытекает из усмотрения «важной персоны», а служит поддержанию абстрактного, лишенного

личностного наполнения закона: «Nothing personal – just business».

В нашем Отечестве репрессия может носить обезличенный характер, но по сей день российская репрессия по преимуществу персоналистична. Она исходит от лица, конкретного «начальника», владыки, а, значит, включает репрессируемого в отношения личной зависимости.

Персоналистичный характер репрессии снимается тогда, когда умирает практика избирательного применения норм закона и подзаконных актов, то есть исчезает начальственное усмотрение. Поскольку законы и подзаконные акты в России *принципиально невыполнимы,* и подавляющая часть населения *их нарушает*, практика избирательного применения карающих норм составляет главный ресурс (устрашения, господства, подчинения) российской власти.

Наконец, репрессия противостоит распаду и перерождению традиционного общества, блокирует процессы нарастания субъектности широких масс. Противостоит формированию автономной личности и складыванию целостного универсума, конституированного автономным субъектом. Эта последняя функция репрессии обретает особое значение на этапе угасания и исторического снятия традиционно-репрессивного целого.

Репрессия и социальное регулирование

Особого внимания заслуживают закрепленные в культуре традиции социального регулирования и управления. Вообще говоря, принуждение является одним из базовых элементов социальной регуляции. Оно неустранимо. Необходимость использования насилия коренится в природе человека и природе социального. Однако насилие существует наряду с другими механизмами. В устойчивых, сложных социальных организмах насилие, используемое от имени общества, широко варьируется: прямое насилие, непрямое насилие, идеологическое воз-

действие, культурные регулятивы, рассеянная санкция. Прямое насилие представлено в широчайшей палитре, позволяющей минимизировать уровень давления на человека и создавать гибкую шкалу соразмерного силового побуждения к социально ценному поведению. Наконец, насилие существует наряду с целым набором механизмов поощряющих и побуждающих к позитивному поведению.

В отечественном культурном космосе акценты расставлены по-другому. На самом базовом, первичном уровне российского сознания насилие видится как основной и универсальный регулятор. Это такая волшебная палочка, универсальная отмычка или неразменный пятак. Первая рефлекторая реакция на любую проблему, истоком которой видится нежелательное поведение другого – одернуть, вмазать, выпороть, отделать его так, что бы сто лет помнил и т.д.

В традиционно ориентированном сознании закреплено убеждение: самая эффективная форма решения острых социальных проблем – крайние формы насилия. Только они способны вызвать в преступниках трепет и отвратить общество от катастрофы. Лет пятьдесят назад типичная реакция советского обывателя на сообщение о суде над обвиняемыми в воровстве была примерно такой: «На Востоке за кражу руки рубили, а мы все миндальничаем». Сегодня дискуссии в Интернете рисуют впечатляющую картину массового сознания. Вызывающее преступление (поясним, преступление, с точки зрения массового сознания, это когда убили или обидели «нашего») рождает призывы к восстановлению смертной казни. Вооруженные выступления сепаратистов – требования ковровых бомбардировок. Деятельность лиц и движений, объявленных официозом врагами государства, рождает списки «Врагов русского народа», завершающиеся поэтической цитатой: «Ваше слово, товарищ Маузер». Примечательно и то, что на сайтах радикальных движений убийства знаковых фигур – жур-

налистов, адвокатов, политиков, правозащитников, ориентированных на ценности правовой демократии, вызывает волну торжествующих комментариев.

Традиционная политическая философия, как и уровень рефлексов социального управления, базируется на насилии. Важно осознать: репрессии не исходят от власти или иерархии любого уровня. Власть лишь прибегает к ним в первую очередь, в соответствии с собственными представлениями об обществе и с мандатом, полученным в рамках негласного общественного договора.

Потребность в насилии закреплена в целостности культуры. В толще традиционного общества существует *устойчивый запрос на традиционную* (то есть внеправовую, свирепую) *репрессию,* понимаемую как социальный регулятор по преимуществу. Этот *запрос атрибутивен для российской ментальности.*

Репрессия и право

Соотношение этих сущностей – репрессии и права – принципиально важно. Репрессия может существовать как в рамках права, так и во внеправовой ситуации. За рамками права она может регулироваться обычаем, усмотрением субъекта репрессии, аффектами толпы. Культура, акцентирующая репрессию, *требует внеправовой ситуации.*

Здесь надо говорить о том, что рожденное в лоне Запада *State* не тождественно русскому *государству*. *State* – это такой тип властвования, когда власть ограничена конституцией, писанной или неписанной. То есть – законом, *обязательным к исполнению,* в частности, агентами власти. Нарушение этого закона является необходимым и *достаточным основанием для свержения этой власти* подданными[1].

[1] Положим руку на сердце и признаем, что для русского уха данное суждение звучит абсолютно дико и воспринимается, как мертвая формула, не имеющая отношения к жизни. Между тем, это – именно так. В этом – субстанция европейской цивилизации.

Как мы понимаем, в данном случае речь идет о власти, которая не номинально, а реально стоит под законом. Это – власть европейского типа. Обращаясь к данной проблематике, юристы пишут о *культурах правового типа,* где высшей ценностью выступает свобода, и *культурах неправового типа,* где высшей ценностью выступает социальный абсолют[1].

Российское государство – такой тип властвования, в котором сакральная по своей природе иерархия не ограничена каким-либо обязательным для нее жестким законом. Если законы существуют, то существуют для подданных. Власть в силу своей природы лежит над законом, и буде это желательно, принимает решения, не ограничивая себя законом.

Исторически *государство* означало собственность государя. Никакого отношения к публично-правовому состоянию, конституирующему *полис, civitas,* или *state,* понятие «государство» не имеет. Российская Власть есть власть-моносубъект[2]. Она – владелица всего сущего и принципиально располагается над правом, а также над нормами морали и нравственности, не постижима для разумения подданных, сакральна и богоравна.

Внеправовая репрессия, имеющая своим источником ничем не ограниченный акт воли властителя, его чистое усмотрение переживается российской традицией как в высшей степени значимый атрибут «нашей», традиционной и сакральной власти. Именно это имел в виду Ричард Пайпс, определяя Россию как «патримониальное государство». Речь здесь идет о семейной, патриархальной власти родовладыки, до права возникшей и над правом стоящей[3]. Власть, поставленная в рамки, каких бы то ни было законов, есть пошлый социальный институт. Неисповедимая, непредсказуемая, свирепая, но вдруг неожиданно милосердная власть – сакральна. Она и только она, есть «наше все».

[1] См.: *Четвернин В.* Либертарно-юридическая концепция права // http/www.sarov.ru/seminar/stenogramma-09htm

[2] Понятие «власть-моносубъект» будет рассмотрено далее.

[3] *Пайпс Р.* Россия при старом режиме. М., 1990.

Глава III
Основополагающие детерминативы репрессии

Пространство факторов и детерминатив, задающих устойчивую репрессивность культуры, многообразно. В этом ряду можно выявить как факультативные, сравнительно второстепенные моменты, так и базовые. Последние заслуживают особого рассмотрения.

На наш взгляд, к основополагающим относятся три фактора:

– манихео-гностическая доминанта культурного сознания;

– традиционно-редистрибутивный комплекс власти-собственности как базовая конфигурация общества, задающая экономические практики;

– стадиально-качественная гетерогенность российского общества, или структура «пастыри/пасомые».

Акцент на репрессию в мировоззренческом контексте. Манихейские и мироотречные основания репрессивности

Высокий уровень репрессии не может устойчиво существовать «сам по себе» вне мировоззренческих и ценностных оснований. Всякая культура осознает практикуемые ею репрессии, оправдывает и объясняет их, вписывает практику репрессий в религиозно-мировоззренческий контекст. Культура, которой присущ особый акцент на репрессии, отличается в своих мировоззренческих характеристиках от сбалансированных культур или культур, акцентирующих вознаграждение. Иными словами, формы и масштаб репрессии выступают следствиями базовых оснований.

Основания репрессивности представляют не только академически-познавательный интерес. Любая борьба с высоким уровнем репрессии обречена на

стратегическое поражение до тех пор, пока не отрефлексированы ее мировоззренческие истоки, а вслед за этим не изжиты, не разрушены эти основания. В противном случае репрессивность будет самовосстанавливаться, а ситуация – чудесным образом возвращаться на круги своя.

Начнем с того, что обозначенное нами проблемное пространство практически не исследовано. Дальше констатирующих суждений и самой предварительной эссеистики исследовательская мысль не идет. Разговор о репрессивности как сущностной характеристики конкретных культур предполагает некоторые методологическое оснащение. Необходима теория, позволяющая сопоставлять разные культуры, сравнивать их, выявлять связи и отношения. Названные проблемы разрешимы в рамках теории локальных цивилизаций или цивилизационного анализа[1].

Применительно к российской цивилизации проблема мировоззренческих истоков репрессивности рассматривается в исследованиях автора. Тема эта обширна и многоаспектна. Излагая суть дела конспективно, отсылаем читателя к нашим публикациям[2].

Понятие «манихейство» восходит к имени иранского религиозного реформатора Мани и описывает дуалистическую доктрину, согласно которой Вселенная предстает полем вечной борьбы двух космических стихий: Света и Тьмы (они же – дух и материя). Сами имена стихий указывают на то, что они не равноценны и этически маркированы. Борьба Света и Тьмы есть борьба добра со злом, доброго Бога и злого Дьявола, вечного Духа и тленной материи. Однажды Свет одолеет Тьму, архонты и демоны, сброшенные в необъятную пропасть, будут гореть 1468 лет. Но сейчас эта борьба идет на небесах

[1] Подробнее, например см.: Россия как цивилизация: Устойчивое и изменчивое / Отв. ред. И.Г. Яковенко. М., 2007.

[2] *Яковенко И.Г.* Манихео-гностический комплекс русской культуры // Россия как цивилизация: Устойчивое и изменчивое / Отв. ред. И.Г. Яковенко. М., 2007. С. 73 – 194

и на земле. Наша земная жизнь, социальные отношения, душа человека – поле вечной борьбы добра со злом.

Классическое манихейство существовало в первом тысячелетии нашей эры. Что же касается дуалистического мировидения подобного типа, то оно более или менее универсально, просматривается на всем протяжении истории (начиная с эпохи дуалистической революции) и представлено в массе ересей, сект, религиозных и политических движений от альбигойцев до фашизма.

Манихейская линия постоянно присутствует в российском сознании. Причины, истоки и факторы, задающие воспроизводство манихейской парадигмы – тема отдельного исследования. Подчеркнем лишь устойчивость и значимость этой компоненты национального духа. Человек, живущий в манихейской системе представлений, склонен любое взаимодействие с *они* представлять в форме конфликта. А любой конфликт, от перепалки с соседями на коммунальной кухне, до отношений с идейными противниками, инородцами, иноверцами, «классовыми врагами» и т.д. – переживать как вечную борьбу Света и Тьмы.

Обыденно манихейское понимание мира, утвердившееся в традиционном российском сознании, состоит в том, что «нашим» (а «наши» – это естественно и есть воплощение сил добра) противостоят наши противники, подпавшие под власть сил Зла. В собственном смысле противники не есть люди. Подпавший под власть силам Зла утрачивает душу – это коварные и безжалостные автоматы, ведомые Князем Тьмы.

Манихейская парадигма выступает самым ярким выражением раскола культурного сознания. Российский человек не в состоянии осознавать себя иначе, как в противостоянии априорно отчуждаемому и отторгаемому Иному. Это Иное несет в себе смертельную опасность: оно стремится погубить не только тело, но и душу нашего человека. Понятно, что со смертельным Врагом бороться надо беспощадно, выжигая каленым железом,

и здесь все средства хороши. Манихейское переживание мира превращает репрессию в генеральный фактор бытия.

Манихейское сознание не существует изолированно. Оно сплавлено с мироотвергающей линией отечественной ментальности. В русском языке существует понятие *мироотречность*, описывающее установку на отречение от мира, который, как известно всякому православному, «лежит во зле». Истоки данной установки связаны с гностицизмом – религиозно-философским течением, возникшим в I–II веках на территории Римской империи. Суть гностицизма состояла в утверждении того, что *этот мир не создан благим творцом*. Создатель этого мира – Демиург не тождественен благому высшему Богу. Утверждающееся христианство вступило в смертельную борьбу с гностицизмом. Проигрывавший борьбу за души людей, гностицизм вначале был отнесен к ересям, а в III веке вытеснен на обочину духовной жизни Империи.

Рядом с понятием «гностицизм» употребляется более широкое понятие – «гнозис», характеризующие определенный тип религиозно-мифологического мышления. Указывая на то, что единство гностической традиции задается общностью глубинных мировоззренческих установок, М.К. Трофимова так формулирует эти позиции: «отрицание благого Творца; негативное отношение к видимому вещному миру – ошибке злого, неведающего создателя; человек же, которому враждебны и этот мир, и создатель, возвышается над ним в силу свето-духовного начала, заключенного в нем; спасение представляется в виде гнозиса – пути освобождения этого начала от оков неведения, плоти, вещества»[1].

В такой системе координат материальный мир понимается как активное зло, сила, пленящая дух. Вот как описывает этот аспект доктрины Дж. Б. Рассел: «Мате-

[1] *Трофимова М.К.* Гностицизм как историко-культурная проблема в свете коптских текстов из Наг-Хаммади // Aequinox MCMXCIII. М., 1993. С. 168.

риальным миром, низменным и полным тьмы, правит злой князь, в противоположность духовному миру света, управляемому благожелательным божеством. Этот благой Бог никогда не сотворил бы того низменного мира, в котором мы живем. Этот мир является творением одного или более низших духов, которые либо злы, либо слепы, либо и то и другое»[1]. Гнозис постулирует дуализм духа и материи. Материя – сущность, затягивающая в себя божественный дух, обрекающая его на забвение своей подлинной природы.

Христианство отвергает подобный дуализм и трактует материальный мир иначе. Материя выступает как условие жизни, а значит и спасения человека («тело – храм духа»)[2].

Как видим, перед нами трагическая и глубоко пессимистическая доктрина, которая не имела шансов победить в конкурентной борьбе в качестве самостоятельного и законченного учения. Отсюда историческое поражение гностицизма. Однако, проиграв как целостная доктрина, гностическое мироощущение вошло в плоть христианской цивилизации в скрытом виде, присутствует на протяжении тысячелетий истории христианского мира в формах ересей, маргинальных культурных практик, пронизанной гностическими представлениями народной религиозности (павликиане, богомилы, альбигойцы, катары, тамплиеры, табориты, европейская каббалистическая традиция, дуалистическая народная космогония и т.д.).

Гностическая компонента в разной степени проявлена в разных регионах христианского мира. В силу ряда обстоятельств, православие ассимилировало гностическое мироощущение в существенно большей мере, нежели католический мир. По мере разворачивания исторического процесса в регионе протестантско-католической культуры шло последовательное изживание гностических моментов. Переход к Новому времени фиксирует завершение этого процесса. В регионе же православном гностическое мироощущение сплавилось с ортодоксией в синкретически целостный духовный комплекс.

[1] *Рассел Дж. Б.* Сатана. Восприятие зла в ранней христианской традиции. СПб, 2001. С. 51.

[2] Так, в православии плоть трактуется как сущность изначально благая. Однако, восприняв семя греха, плоть стала тленной.

Статус репрессии в любой культуре связан с общекультурным статусом «этого», то есть, чувственно воспринимаемого мира, с отношением к земному бытию, с переживанием диспозиции материальное/духовное. Гностическая компонента сознания вошла в цивилизационный синтез и задает качественные характеристики российской ментальности. Гнозис выражался в определенном мироощущении, которое носило генеральный характер, пронизывая собой все стороны жизни. Задавал отношение к смерти и войне, отношение к ребенку и детству, диктовал стоимость человеческой жизни, отношение к женщине, статус наркотических практик и т.д. Гностическое миропереживание находило свое выражение в художественной культуре, в сказках, мифах и преданиях. В иерархии культурных статусов, где статус человека не/минимально затронутого бытием (монаха) и человека, посвятившего себя активному отвержению мира (юродивого), был неизмеримо выше статуса человека, погруженного в жизнь, а «палы» – групповые самосожжения старообрядцев – осмысливались как высший подвиг веры. В равной степени гнозис задавал иррациональное отторжение идей, теорий, практик, образцов и моделей, противостоящих гностическому миропереживанию.

Мы говорим о вещах, не осознаваемых и не проговариваемых вслух, которые впитываются с молоком матери и составляют ткань отечественной жизни. Гностическое миропереживание стало универсалией, безразличной к смене эпох, идеологий, политических режимов. Люди, родившиеся в XX веке и воспитанные в казенном атеизме, воспроизводят глубоко религиозное по своей сути гностическое отношение к жизни.

Манихейство и гностицизм близки в своих основаниях. Эти сущности взаимопроникают и формируют единый идейный комплекс. Манихео-гностическое мироощущение превратилось в устойчивую характеристику отечественного сознания. В таком контексте репрессия естественна и единственно возможна. Человек *должен страдать* и постоянно переживать чувство дискомфорта. Репрессия настолько вошла в нашу плоть и кровь, что воспринимается как норма. Русское насилие пропитывает собой буквально весь строй жизни. М.Е. Салтыков-Щедрин писал о том, что немецкая лошадь наследственно несет в себе страх щелчка кнута и управляема щелчком, русскую же приходится стегать. Дело разумеется не в лошади, а в вознице. Бессчетно поротый в детстве, битый по морде в армии, лупящий с пьяных глаз и в дурном расположении духа жену и детей мужик не может управлять упряжкой без кнута. Перед нами яркий пример фрактальности и изоморфизма культуры.

Тема репрессивности русской культуры необозрима. Это и повышенный уровень агрессивности в народном быту, и отечественная практика правоприменения (милиция, методы дознания), и нравы в российской армии, и ужасы пенитенциарной системы. Три века модернизации ничего, или почти ничего, не изменили в этом отношении. Перед нами не стадиальная, а *качественная характеристика* культуры. Установка: мир (который есть поле вечной битвы с силами Тьмы) – ужасен, а жизнь есть страдания, – требует агрессии и тотального насилия. Тело, в котором угнездились силы тьмы, должно быть репрессировано постоянно и сильнейшим образом.

Репрессивность не только окрашивает собой строй человеческих отношений, семейный и общинный (традиционно групповой) быт, формы социального взаимодействия, но задает строй отношений власть/подвластные. Репрессивная культура налагает на носителя иерархического начала *обязанность* репрессивного воздействия в направлении сверху/вниз. Политологи В. Лапкин и В. Пантин фиксируют «специфические отношения между государством и гражданами (да граждане ли это? (речь идет о подъяремных и подъясачных – *И.Я.*)), которых государство традиционно рассматривает в основном, как объект насилия и принуждения к выполнению его (государства) задач и которые, в свою очередь, с трудом, способны представить себя в какой-либо иной роли в этих отношениях»[1]. Здесь вспоминается суждение, высказанное полтора века назад: «В России страх есть сила. Страхом воспитано все общество и каждый человек. Страх рождает “ревизоров” и дает всякой власти непомерную силу и упругость. Все содержится страхом, и страх – вот начало и конец нашей жизни»[2].

Репрессия и базовые экономические практики. Традиционно-редистрибутивный комплекс власти-собственности

Специальная тема – связь уровня репрессии с базовыми экономическими практиками. Здесь мы вынуждены обратиться к теоретическим разработкам экономиста, социолога и историка экономики Карла Поланьи (1886 – 1964). Ученый исследовал генезис рыночных отношений, а также форм экономической жизни, альтернативных рыночным.

Поланьи указывает на то, что в первобытном обществе собственно экономических отношений не было[3]. Их место занимают кровнородственные отношения, в частности, отношения взаимопомощи, социальная

[1] *Лапкин В.В., Пантин В.И.* Геоэкономическая политика: предмет и понятия (К постановке проблемы) // Полис. 1999. № 4. С. 55.

[2] *Забелин И.* Из записных книжек 1865 года // Российский Архив: История Отечества в свидетельствах и документах XVIII – XX вв. Альманах. М., 1994. Т. V. С. 131.

[3] В самом общем смысле экономика понимается как сфера человеческой деятельности связанная с использованием ограниченных ресурсов для удовлетворения потребностей людей. Экономическая наука исследует отношения, возникающие между людьми в процессе хозяйствования.

структура, религиозно-магические представления. Исследуя формы интеграции экономического процесса в разные исторические эпохи в разных странах, Поланьи называет три основные формы интеграции в человеческом хозяйстве: редистрибуция (redistribution), обмен (exchange) и реципрокация (reciprocity)[1].

Реципрокация (дарообмен) – движение товаров и услуг на симметричной основе, то есть взаимопомощь родственников, деревень и даже государств (ленд-лиз) не образует экономический тип общества. А две другие формы интеграции экономического процесса – обмен и редистрибуция – задают все многообразие хозяйственных систем, реализованных в истории человечества. Поланьи обосновывает своими антропологическими исследованиями наличие двух параллельно функционирующих и сосуществующих в истории обменных – то есть рыночных и редистрибутивных – институциональных комплексов. Ученый настаивал на том, что рыночные и редистрибутивные экономики не имеют характера стадиальности, а сосуществуют во времени и пространстве. И указывал на то, что если доминирует одна их этих форм, то альтернативная занимает дополнительное положение.

Близкие идеи отстаивал немецкий экономист Вальтер Ойкен (1891 – 1950), утверждавший, что в основе многообразия экономических систем лежит ограниченное количество «чистых форм». Все системы сводятся либо к рыночному хозяйству, либо к центрально-управляемому хозяйству[2].

Экскурс в экономическую теорию высокого уровня обобщения интересен для нас в одном отношении. Рыночная либо редистрибутивная экономика не являет собой изолированный элемент социокультурного целого. Речь идет о фундаментальных принципах формирования социокультурного универсума. Целому, сформированному на основании выделенных, типологически значимых принципов, присущи особые характеристики социальности, культуры, ментальности.

[1] *Polanyi K.* The Livelihood of Man. New York, San Francisco, London, 1977.

[2] *Ойкен В.* Основы национальной экономики. М., 1995.

Так мы переходим от устойчивых экономических практик к системообразующим характеристикам социокультурного целого, для которого органична одна из обозначенных практик. Терминология, с помощью которой называют и определяют эти целостности разные исследователи, различается. Для характеристики целого, порождающего рыночную экономику, в качестве системообразующего фиксируют частную собственность. Феномен собственности родился в античности и конституировал европейскую цивилизацию, присутствовал в эпоху феодализма и полностью раскрылся в буржуазном обществе. Эту общественную модель могут обозначать по-разному. Однако говорят ли о рыночной экономике, капитализме, «свободном мире», правовой демократии или обществе, построенном на либеральных ценностях, мы отчетливо понимаем, о какой из двух моделей идет речь.

Если с системой, построенной на товарообмене и частной собственности, проблем понимания и классификации не возникает, она выступает исходной и модельной[1], то в отношении ее альтернативы в отечественном научном сообществе нет единства мнений по поводу терминологического обозначения, выявляемых типологических характеристик, природе явления. Обращаясь к этой проблеме можно встретить и традиционно марксистское наименование: «азиатский способ производства», и «власть-собственность» (Л.С. Васильев)[2], и «политарный способ производства» (Ю.И. Семенов).

[1] Что не удивительно. Европейская наука Нового времени родилась в этом обществе. Его осмысление составило исходную позицию формирования обществоведения.

[2] Например, см.: *Васильев Л.С.* Власть-собственность – генеральная структура неантичных и добуржуазных обществ // Восток как предмет экономических исследований: очерки, статьи, разработки. М., 2008. С. 447 – 477.

Е.Н. Стариков выделяет в Азиатском способе производства (АСП) особую стадию – «казарменный коммунизм». Лауреат Нобелевской премии, экономист Дуглас Норт описывает две институциональные матрицы, присущие цивилизациям восточного типа и цивилизации Запада. Обращаясь к собственно российскому материалу, А. Фурсов и Ю. Пивоваров нарекают искомую сущность моносубъектом власти или Русской системой[1].

Для нас же важно, что все это пространство объединяет верховная государственная собственность[2] и редистрибуция. Мы склонны называть данный феномен *традиционно-редистрибутивным комплексом власти-собственности.* Возможно, это звучит несколько тяжеловесно, но представляется, что в названии должны быть отражены два базовых момента: власть-собственность и редистрибуция.

Редистрибуция и товарообмен, положенные в основание экономики общества, задают две качественно различающиеся вселенные. Обозначим их базовые характеристики.

Редистрибутивная:

Человек – не вычленен из традиционно-архаического универсума, объектен. Традиционно-архаического человека характеризует магический тип сознания, то есть, склонность к прямому воздействию на преобразуемый объект или ситуацию, минимизация использования вспомогательных средств, в том числе вербальных средств и любых инструментов (собственно инструментов, логических моделей общей ситуации, объекта воздействия, используемой технологии, процедур анализа,

[1] *Пивоваров Ю.С., Фурсов А.И.* Русская Система: генезис, структура, функционирование // Русский исторический журнал. Лето 1998. № 3. т. 1. С. 13 –96.

[2] Которая варьируется от тотальной госсобственности на вся и все, до подчиненной (условной, податной) собственности частных лиц с верховной государственной «собственностью-суверенитетом».

формализованных критериев оценки результата, рефлексии используемой стратегии и т.д.). Мышление предметно-чувственное, допонятийное. Процессы мышления и переживания мира лежат за рамками сознания субъекта архаического действия. Традиционному человеку не свойственно инструментальное отношения к миру.

Общество – традиционное, несущее в себе существенные компоненты архаического. Идея служения, повиновения, принятия исконного порядка вещей конституирует общество.

Структура общества – устойчива. Редистрибутивные общества демонстрирует тяготение к логически цельной идеальной модели. Это сословное общество, состоящее из двух сословий – производители и распределители благ. Низшее сословие – производители (подчинены, бесправны, выделены знаково). Высшее – распределители (носители функции управления и прав распоряжения вверенным имуществом, выделены знаково).

Потребление – жестко нормировано по статусам.

Потенция динамики – подавлена. Общества тяготеют к гомеостазу, либо к экстенсивному развитию.

Экономическое измерение – человек редистрибутивного общества наделен способностью к производству потребительских ценностей.

Культура – характеризуется высоким уровнем синкрезиса, существенным акцентом на потустороннем (трансцендентное или эсхатологическое далеко), низким статусом ценностей бытия, существенной компонентой архаического. Доминирование предметно-чувственного мышления делает такую культуру дорациональной. Элементы рационального маргинальны. В критических ситуациях решают внерациональные импульсы и соображения. Такой культуре присуща ориентация на самовоспроизводство в качественно неизменном виде. В терминологии М. Вебера этот тип культуры формирует «ценностно-рационального» человека подчиняющегося «заповедям» и «требованиям» сакральной традиции.

Инновации – носят частный характер, рождаются спонтанно, часто трактуются как возврат к утраченным истинам сакральной старины. Изменения накапливаются страшно медленно. Кроме того, в традиционных культурах существует особый механизм, блокирующий процессы хозяйственного роста и накопление инноваций, если эти процессы угрожают «перехлестнуть» за край и открывают возможность качественного перерождения традиционного общества.

Рыночная:

Человек – субъектен. Его сознание характеризуется маргинализацией магически-целостного переживания мира, глубоким уровнем дробления исходного палеосинкрезиса, одним из результатов которого является окончательное выпадение человека из нерасчлененной целостности, постоянной рефлексией по поводу разных аспектов собственного бытия, осознанием системы субъект-объектных отношений, последовательным нарастанием и усложнением инструментария (понятийного, технологического, теоретического), опосредующего отношения субъекта и объекта, а также генеральной ориентацией на оптимизацию любой деятельности в соответствии с утвердившимися в данном обществе критериями оптимального и эффективного. Отношение к миру инструментальное.

Общество. Исходно традиционное общество, включившееся в систему рыночных отношений, отличается высоким уровнем качественной динамики. Элементы архаики размываются энергично. Синкрезис дробится. Логика разворачивания двигает рыночное общество к модернизационной трансформации. Идея контракта конституирует зрелое рыночное общество.

Структура общества – подвижна. В нормальном случае характеризуется вертикальными лифтами.

Потребление. В зрелых рыночных обществах потребление задано уровнем экономических возможностей.

Статусные ограничители последовательно размываются.

Потенция динамики – максимальная из известных. Тяготеют к интенсивному развитию.

Экономическое измерение – человек рыночного общества способен к производству меновых стоимостей.

Культура. Характеризуется высоким уровнем дробления исходного синкрезиса. Высокий уровень рационализации и идея оптимизации как существенные характеристики культуры и мышления. В критических ситуациях аргумент рацио оказывается решающим. Архаическая компонента культуры последовательно элиминируется. Акцент на посюстороннем, потенция к динамике. Рыночная культура формирует целерационального субъекта (М. Вебер).

Инновации. Развитие данной модели характеризуется последовательным ростом объема инноваций и формированием специального механизма обеспечивающего: побуждение общества к инновациям, тестирование инноваций и внедрения позитивных инноваций, наконец, защиту прав и привилегий инноватора.

Как видим, практически все значимые характеристики базовых типов общества разнятся. Различия в объемных и качественных характеристиках репрессии – лишь элемент более широкого качественного разведения двух моделей. Рассмотрим эту проблему подробнее.

Начнем с *реципрокации*, которая исходно является элементом догосударственного универсума. При всех обстоятельствах смысл репрессии – воспроизводство социальности. Люди доисторической эпохи живут в жестком и, часто, безжалостном мире. Тут и кровная месть, и патриархальное рабство, и угон скота. Но отношения дарообмена сами по себе не требуют репрессии. Дарообмен покоится на принципе эквивалентности. Устойчивое, систематическое нарушение эквивалентности в цепи реципрокных актов влечет за собой прекращение реципрокного обмена и грозит нарушителю принципа

эквивалентности испорченной репутацией. В пределе – извержением из общины или рода. Вот, собственно, и все. Таким образом, репрессия включает репутационные издержки, рассеянную санкцию и, в пределе, разрыв социальных связей. Репрессия соразмерна деянию и предполагает одобрение репрессивных действий широкой референтной группой.

Рынок или товарно-денежные отношения предполагают репрессию по отношению к нарушителям законов, защищающих собственность и систему рыночных отношений (грабеж и кража, нарушение эквивалентности обмена, жульничество, порча монеты, невозврат кредита, подделка завещаний и т.д. и т. п.). В зависимости от эпохи репрессии могут быть жестче или мягче, однако, при всех обстоятельствах, они применяются в оговоренных законом случаях. Выполнение норм защищает человека от необоснованных репрессий. Надо сказать и о том, что независимый суд и эффективная судебная система корреспондируют со зрелым рынком как одним из ключевых элементов рыночных отношений. Это обстоятельство делает маловероятным случайную или неоправданную репрессию. Помимо нарушений закона, репрессируются идеология и практики, отрицающие базовые ценности и институты рыночного общества.

Важно подчеркнуть, что качественные и количественные характеристики труда в рыночной экономике задаются экономическими механизмами. Здесь, если и применяются репрессии, то они обретают экономическое выражение. Человек в системе товарно-денежных отношений работает на рынок, либо является наемным работником. Для независимого субъекта рыночных отношений мера дохода оказывается мерилом объема и качества труда. Что же касается наемного работника, то его связь с экономическим результатами опосредована мерой эффективности фирмы и другими привходящими обстоятельствами. Санкции за неудовлетворительную работу – штрафы, снижение заработной платы, увольнение – являются

зеркальным отражением системы поощрений – премии, повышение зарплаты, движение по служебной лестнице. Репрессии как специальный механизм, обеспечивающий трудовые усилия работника любого уровня, просто не требуются. Можно сформулировать карающий аспект рыночной экономики следующим образом: главная репрессия состоит в исключении репрессируемого из круга лиц, на которых распространяется действие механизма вознаграждения за эффективный труд. И это – страшное наказание в культуре, ориентирующей своих носителей на включенность в систему вознаграждения.

Добавим, что в обществе с устойчивой рыночной экономикой даже самые отвратительные тоталитарные режимы демонстрируют известную умеренность. Германские фашисты могли уничтожать миллионы поляков, евреев или русских. Однако счет уничтоженных граждан Германии шел на сотни тысяч, что несопоставимо с масштабами репрессий в СССР. Пароксизмы самоуничтожения общества, доступные Советскому Союзу или Кампучии, невозможны в обществах, веками вписанных в рынок. В системе калькулятивного, рыночного мышления такая стратегия не вообразима как коммерчески не целесообразная, ведущая к перерасходу ресурсов и гибели общества.

Редистрибуция не только предполагает, но требует репрессии по самой природе редистрибутивных отношений.

Генезис редистрибутивной модели социальности был связан с отчуждением земли, живого труда, а, в конечном счете, и самой личности традиционного земледельца. В архаичных обществах человек неразрывно связан с землею (древневосточные общества в данном аспекте описывал К. Маркс). Русский крестьянин середины XIX века, говоривший «мы – барские, а земля – наша», выражал то же самое мироощущение. Симбиоз труженика и земли вел к тому, что первоначально редистрибуция обретала характер отчуждения живого труда.

Эти процессы рассматривает Е. Стариков. Вся земля общины делались на три части: царские поля, храмовые поля и поля простых общинников. Результаты труда на храмовых и царских полях шли на нужды государства. На ранних этапах развития государства общественные работы рассматривались как направленные на общее благо, а участие в них – как почетная обязанность. Однако, со временем, «все большая часть продукта, производимого на храмовых и царских полях, шла не на общественные нужды, а на паразитическое потребление господствующей верхушки. Соответственно, такой труд <…> приобретал характер принудительного. Свободные ранее общинники превращались в "царских людей", которые всеми силами пытаются уклониться от трудовой повинности». Результат такой эволюции ожидаемый. В Египте Среднего царства «царских людей» загоняют «в охраняемые лагеря, подчиненные "Ведомству поставщиков людей", объединяют в отряды и под наблюдением надсмотрщиков гонят на царские работы»[1]. Соображение Старикова относительно мотивов отчуждения – «паразитическое потребление господствующей верхушки», представляется некоторым упрощением, публицистическим по существу, но общая логика убеждает.

Как справедливо отмечает Стариков, в таком случае присваивается не овеществленный труд, а сама личность производителя. Он уже не организатор собственного производства, его труд – под жестким контролем надсмотрщиков, всякая автономия личности уничтожена. Подневольная рабсила сведена в отряды. Весь урожай поступал в государственные закрома. Работники получают жестко нормированный паек[2]. В сфере ремесленного производства происходили сходные процессы. Так, в III династии Ура все ремесленное производство было сведено в восемь огромных мастерских, руководимых одним лицом. Утвердить и поддерживать такой порядок вещей можно только опираясь на жесткую репрессию.

[1] *Стариков Е.Н.* Указ. соч. С. 57.
[2] *Стариков Е.Н.* Указ. соч. С. 58, 61.

Установив однажды описанный порядок вещей государство должно было заставить человека, во-первых, безропотно довольствоваться выделенным ему пайком, и, во-вторых, работать добросовестно, вне какой бы то ни было экономической заинтересованности в результатах своего труда. В стратегическом плане эти задачи принципиально не выполнимы. На уровне тактическом их можно с грехом пополам разрешать, опираясь на постоянный контроль и репрессию.

В рамках редистрибутивной модели не существует механизма, обеспечивающего работнику легальный способ повышения своего благосостояния. Подневольному работнику остается стратегия хищений, приписок, самых разнообразных «левых» схем (черный рынок, обмен дефицитом, работа на нелегальном рынке труда, нелегальное индивидуальное хозяйство и т.д.).

Здесь автору вспоминается двустишье, бытовавшее лет сорок назад, которое характеризует как социальную систему, так и нравственный климат общества, жить в котором выпало людям старшего поколения: «Тащи с работы каждый гвоздь. Ты здесь хозяин, а не гость».

В равной степени подневольный работник лишен каких-либо позитивных стимулов к элементарно добросовестной работе. О творческом отношении к труду и порождении инноваций мы вообще не говорим. Отсутствие системы, обеспечивающей *адекватное* вознаграждение, обрекает управляющие инстанции на всепроницающий контроль, а также жесткое регламентирование не только производственного процесса, но и всей жизни подневольного работника. Как показывает Стариков, основу «казарменного коммунизма» древневосточных обществ составляла «социальная справедливость», заключающаяся во всеобщей нивелировке всех и вся. Говоря о «госхозах» царей III династии Ура, давших вершины «казарменного коммунизма», исследователь

пишет: «Надо всем этим унифицированным однообразием возвышается громадный аппарат надсмотрщиков, надзирателей, счетоводов, кладовщиков, контролеров, инспекторов и т.д.»[1]. И далее, «все исследователи как один указывают на экономическую неэффективность и противоестественность сверхцентрализованного палочно-бюрократического механизма: низкая производительность подневольного труда, высокая смертность работников, необходимость содержать гигантский аппарат надсмотрщиков и чиновников – все это требовало крайнего напряжения сил и средств и систематического применения насилия в самом широком масштабе»[2].

Экономических способов наказания нерадивых не существовало. Нищенская пайка не подлежала урезанию. Оставались разнообразные кары, коллективная ответственность и круговая порука. Историк И.М. Дьяконов называет описанную выше шумерскую модель общества «каторжной системой»[3]. Это суждение специалиста по древневосточным обществам исчерпывающе характеризует место и роль насилия в государстве, реализовавшем редистрибутивную модель в чистом виде.

Крайнее напряжение, высокий уровень насилия и низкая эффективность общества, построенного на чистой редистрибуции, вели к системе компромиссов: государственная барщина сменяется оброком, «продразверстка» – «продналогом», появляется условная собственность частных лиц, товарно-денежные отношения. Однако все эти элементы включены в целостность АСП и существуют постольку и до тех пор, поскольку и пока работают на воспроизводство модели социального космоса, построенной на верховной государственной собственности и редистрибуции.

Сверх всего этого, в традиционно редистрибутивных обществах со свойственным этим обществам свирепостью репрессируются идеологии и практики, отрицающие базовые ценности и институты общества, построенного на власти-собственности. К примеру, автор настоящей работы сорок пять лет прожил в государстве, где такие вещи как частнопредпринимательская деятельность, «тунеядство», обладание и торговля иностранной валютой были уголовно наказуемыми деяниями, политических партий не существовало, а «идеологически вредная» литература находилась в Спецхране. Доказанный факт чтения «идеологически вредной» литературы мог стать поводом для серьезных неприятностей (исключение из института или аспирантуры, увольнение с работы), а распространение и пропаганда идей, альтернативных официозу, каралась в уголовном порядке.

[1] *Стариков Е.Н.* Указ. соч. С. 61.
[2] *Стариков Е.Н.* Указ. соч. С. 62.
[3] *Дьяконов И.М.* Общественный и государственный строй древнего Двуречья. Шумер. М., 1959.

Итак, в обществе, покоящемся на верховной государственной собственности и редистрибуции, широчайшая репрессия задана природой социокультурного комплекса. Эта репрессия конституирует данный тип общества, составляет рутинный фон бытия, задает социально-психологическую типологию и осмысливается как фундаментальная характеристика космоса.

Верховная государственная собственность на вся и все *и редистрибуция* относятся к *системообразующим характеристикам российской цивилизации*. Этим обстоятельством в решающей мере задаются объемные и качественные характеристики отечественной репрессии, место репрессии в социокультурном универсуме, формы ее осмысления и переживания.

Стадиально-качественная гетерогенность общества. Структура «пастыри/пасомые»

В начале этой темы приведем два наблюдения, заслуживающих нашего осмысления. Тому, кто бывал в глубинке Нечерноземья, скорее всего, доводилось видеть дома самых бедных жителей, часто стоящие на окраине

деревни, которые удивительно напоминают реконструкции жилищ эпохи неолита. Низкие глинобитные стены, довольно плоская, крытая рубероидом, крыша, крошечные оконца, посаженные очень низко[1]. Дом без фундамента, пол расположен на уровне земли, низкий покосившийся забор сделан из бросовых жердей. Видно – еще одно историческое поколение назад, и нам была бы явлена полуземлянка. Такой дом стоит на меленьком, голом участке, где ничего не растет. Нет даже собачей будки.

Эти строения рождают теоретическую проблему – что первично? Устойчивая, из поколения в поколение, нищета актуализует глубинные пласты исторической памяти, сдвигая жилище и предметную среду к неолитическому комплексу, или стадиальные характеристики сознания задают нищету хозяев такого дома. Второй вариант ответа представляется ближе к истине. Будем помнить о широчайшем пласте архаики, существующем в теле традиционного государства.

Не менее примечательная картина открывается в дальних пригородах больших городов, например – Подмосковье, где участки, освоенные «дачниками», соседствуют с «деревенскими». Очевидным образом различаются дома. Деревенские, как правило, живут в старом доме, построенном 60-80 лет назад поколением своих родителей, если не дедов. Дачники ремонтируют и обновляют купленный дом или строят новый. Но это не так интересно; будем исходить из того, что горожане располагают большими деньгами. Куда поучительнее то, что растет на участке. Дачники в обязательном порядке сажают сад. Идешь мимо и видишь: яблони, вишни, не слишком аппетитные в нечерноземной полосе груши, обязательные кусты смородины, малины. Рядом с кустами картошка, капуста, клубника, какие-нибудь кабачки, цветник перед домом. Голый участок деревенских, как правило, засажен картошкой и капустой. Этот контраст разителен. Наезжающие по сезону дачники выстраивают совсем другой мир, нежели постоянно живущие местные. Перед нами другая мера преобразования окружающей природы, другая мера вложенного труда, другие запросы и требования, иной образ жизни.

[1] Автор помнит дома под соломой в 100 км от Москвы в начале 60-х годов XX века.

Столкновение среды освоенной традиционно-архаическим человеком и человеком модернизированным поучительно. В нем объективируется социально-культурная реальность, которая состоит в том, что в одном и том же обществе бок о бок живут носители двух больших культурных традиций. Важно осознать, что дистанция между ними не количественная, но качественная. Она носит стадиальный характер. Для того, что бы понять, как это получилось, надо обращаться к истории вопроса.

Исторически первичное, сложившееся на Древнем Востоке традиционное государство сформировало общество, состоящее из двух качественно различных слоев.

Первый слой – *каста субъектов создания и развития государства (пастыри)*. Этот социальный слой стадиально соответствует эпохе государственности. Принадлежащие к нему люди осознали ценность государства, освоили государство как феномен, понимают, что такое государство, как оно работает, относятся к нему инструментально. Они в состоянии мыслить государством. В современной терминологии перед нами – политический класс, который является единственным субъектом государства. Пастыри осознали свои интересы – личные, групповые, кастовые. Их интересы требуют создания и поддержания государства и удержания правящих позиций во имя благ и привилегий, проистекающих из статуса правящей касты. Наконец, они освоили механизмы консолидации и эффективного преследования собственных интересов.

Второй слой – *традиционалисткая масса (пасомые)*, по своим стадиальным характеристикам догосударственная, или, если угодно, частично/ранне государственная. Они вписаны в государство объективной логикой исторического развития, которая была реализована в уси-

лиях пастырей, но вписаны насильно. А потому чужды государству, не понимает его, не освоили инструментально, сторонятся государства. Эта масса сущностно, по своей природе вне политики, вне большого общества. Они мыслят родом, племенем, соседской общиной, «нашей» семьей. Государство и большое общество лежат для них за горизонтом постижимого. Пасомые – объект политического воздействия власти. Они не доросли до мышления интересами, не способны к адекватным большому обществу формам консолидации и эффективной защиты своих интересов[1]. Пасомые – чисто объектная масса. Строптивые или покорные, искусные или неумелые в каком-то конкретном деле, в контексте государства они могут быть только в объектной позиции.

Примеры описанной реальности демонстрируют Древний Египет, Спарта, империи Мезоамерики. В силу специфики возникновения и исторического развития государственности и культуры в России, здесь сложилось традиционное сословное общество, воспроизводящее древневосточную модель. Подробно данная проблематика рассматривается в монографии автора[2].

В описанной нами ситуации каста «государственных людей» существует один на один с сущностно догосударственной традиционнно-архаической массой. Масса не постигает государства и принимает его как тяжелую необходимость вроде болезней и смерти. Государство – бремя, небесами наложенное на простой народ «по грехам нашим». Социальный идеал традиционалистов – идеализованное догосударственное бытие. В нашем случае это Беловодье или Опонское царство. Иными словами, пасомые не только не понимают государства, но и не хотят в нем жить – а, значит, воспроизводить его своим трудом, системой социальных связей. В силу своей органики – ментальности, психологии, актуальной культуры – они *к этому не способны*. Ничего кроме муштры и всеобъемлющего насилия не может вписать догосударственного человека в государство, заставить его работать на поддержание этого государства, принять непостижимые нормы и правила жизни в государстве. В такой ситуации репрессия обретает статус *универсального инструмента созидания социальности*. Она пронизывает собой все срезы социокультурного бытия и обретает множество ликов.

[1] Многократно поминаемый «русский бунт, бессмысленный и беспощадный» относится к стихийным формам протеста. С точки зрения защиты интересов традиционалистской массы, бунт – контрпродуктивен.

[2] См.: *Яковенко И.Г.* Политическая субъектность масс. Культурологический аспект политической жизни в России. М., 2009.

В системе государственного воспитания складывается специфическая стратегия. Сначала надо сломать исходную варварскую природу, подавить анархические импульсы, вбить безусловное послушание как единственную стратегию выживания перед лицом жесточайших наказаний. Затем – привить необходимые нормы, принципы, стереотипы поведения, дать требуемые навыки и умения. Наглядно-образное воплощение такой культурной стратегии дано в скульптурных композициях Аничкова моста в Петербурге: взнуздать и объездить. Из варвара и архаика требуется сформировать добродетельного раба. Понятно, что решение этой задачи требует всепроникающего насилия.

На наш взгляд, пронизывающая отечественную культуру репрессивность, прежде всего, задана ситуацией устойчивого сосуществования огромной, подавляющей в численном отношении массы сущностно догосударственного крестьянства и сравнительно узкого слоя «начальников», вынужденных творить и поддерживать государство из наличного человеческого материала.

Возникает вопрос – почему ситуация пастыри/пасомые не снимается с течением времени, но воспроизводится веками и тысячелетиями? Дело в том, что любая культура логически заряжена на бесконечное воспроизводство в качественно неизменном виде. Являясь порождением раннего этапа истории, связанного со ста-

новлением государства и утверждением цивилизации, двухуровневая модель пастыри/пасомые научилась противостоять внешним и внутренним варварам, возрождаться из пепла после больших катастроф и, в целом, обрела исключительную устойчивость. В перспективе всемирно-исторического процесса традиционное древневосточное государство качественно противостояло стихии доисторического и догосударственного бытия. Оно фиксировало переход человечества через порог, отделяющий предысторию от истории. В этом состояла главная всемирно-историческая задача такого государства. Однако шли тысячелетия и традиционное государство превратилось в силу, противостоящую качественному развитию.

Элита сосредотачивала всю культуру большого общества и субъектность в своей среде, оставляя традиционной массе позицию ведомого профана. С другой стороны, культура традиционного крестьянина и ремесленника сохраняла свои базовые характеристики. Сторонилась государства и его культуры, демонизировала эти сущности, видела в людях государства странных существ, природа которых непостижима, эти существа всегда враждебны и опасны простому человеку.

Помимо логики самовоспроизводства культуры срабатывают *социальные интересы* элиты. Каста пастырей осознала необозримые преимущества, вытекающие из статуса единственного компетентного и властного субъекта. Пастыри готовы инкорпорировать в свою среду отдельных талантливых и честолюбивых выходцев из среды пасомых, но всеми силами противостоят формированию независимого субъектного слоя за рамками касты пастырей, ибо это грозит распадом сословно-кастовой структуры и демократическим перерождением общества. Только рождение феномена напряженной исторической динамики закрывает эпоху мира пастырей/пасомых, ибо модернизация несовместима с догосударственной традиционалистской массой. Подробно

данная проблематика рассматривается в упомянутой монографии «Политическая субъектность масс».

Вернемся к проблеме основополагающих детерминатив репрессии. Помимо особой структуры общества мы выделили манихео-гностический пласт сознания и традиционно-редистрибутивный комплекс. Анализ показывает, что все эти сущности тесно связаны между собой. Причем, социальная структура, объединяющая стадиально различающиеся блоки, выступает существенным, если не базовым обстоятельством, задающим как манихейство с мироотречностью, так и доминирующую модель хозяйственной жизни.

Зафиксируем причинно-следственную связь ситуации неимманентного развития и мироотречного, гностического в широком смысле мироощущения. Мир, в котором традиционно-архаическая масса веками против своей воли влекома на дыбу истории, включается в универсум эксплуатации, организованного насилия, подвергается систематическому воздействию, размывающему родной и естественный для этих людей космос – безысходен и ужасен. Почему так получилось, кто в этом виноват – специальный вопрос, на который даются разные ответы (Враг рода человеческого, наши грехи, злой или неразумный Демиург-зиждитель). Ясно одно: по фундаментальным характеристикам бытия человек обречен на страдания. Такой мир, такова природа вещей, такая наша судьбина.

Можно подробно исследовать предпосылки и конкретные обстоятельства цивилизационного синтеза, что позволит выявить действующие силы, а также сумму факторов, задававших проникновение и утверждение мироотвергающих идей на российскую почву. Но, что бы мы ни называли – неблагоприятные климатические условия, жизнь на лимитрофе, влияние болгарских богомилов, особенности православного мировидения, манихейские основания мифологического корпуса финно-угорских племен – решающим обстоятельством останется драма

растянувшегося на тысячелетие насильственного вовлечения миллионов людей в историю. Включение их в классовое общество, государство, цивилизацию.

Переход от предыстории к истории имманентно драматичен. Однако этот переход может быть относительно кратким (пять – семь поколений), а может растянуться на тысячелетие. В России хвост рубили частями. Связано это с тем, что государство возникало здесь не в результате имманентного процесса саморазвития доклассового общества (тогда это происходит быстро), а как следствие логики всемирно-исторического процесса. Настало время, когда гигантские просторы России должны были быть вовлечены в цивилизацию. Между тем к порогу становления ранней государственности подошла лишь узкая полоска племен, примыкающих к «пути из варяг в греки». Это и был исходный ресурс государства. Далее шли завоевания, присоединения, покорения неоглядных пространств и бесчисленных народов. Причем эти племена либо существовали в догосударственной реальности, либо располагали опытом жизни на периферии рыхлых ранних государств. Слабое, возникающее на «голом месте» государство не располагало ресурсами для сущностного вовлечения бесчисленных подданных в культуру большого общества. Ему оставалось собирать дань и добиваться самой элементарной покорности. Процессы вовлечения подданных в государство растянулся на тысячелетие и завершался на наших глазах в XX веке. В этой ситуации мироотвергающее, гностическое по своей природе мироощущение, сплавленное с манихейским позиционированием, вошло в цивилизационный синтез и стало системной характеристикой российского универсума.

Государство и догосударственный человек. Сюжеты соотнесения

Не менее, если не более жесткая связь существует между структурой общества, обозначаемой нами «пастыри/пасомые», и базовыми экономическими практиками. Дело в том, что неимманентное развитие общества, широкий пласт сущностно доисторического человеческого материала в теле государства задает устойчивые хозяйственные практики, складывающиеся в таком обществе.

Здесь есть проблема, которая не фиксируется сознанием человека, далекого от размышлений о природе качественного перехода от предыстории к истории. Проблема в следующем – существование государства требует от части общества, которая создает материальные блага, создания дополнительного продукта. Эти дополнительные ресурсы обеспечивают деятельность государственного аппарата. Чем более зрелое государство, тем шире слой людей, не участвующих непосредственно в создании материальных благ. Людей государства надо кормить, одевать и поставлять им самые разнообразные ресурсы, необходимые для функционирования государства. Иными словами, существование государства возможно лишь при достижении обществом определенного уровня производительности труда.

Чаще всего данная тема излагается следующим образом – государство возникает тогда, когда первобытное общество достигает уровня производительности, достаточного для содержания государства. Однако, все не так просто. Почему, с какой стати догосударственному человеку наращивать производительность труда, что могло побудить культуру первобытного общества к этому? Архаические культуры реализуют либо устойчивое существование в гомеостазе со средой, либо, если параметры вмещающего пространства позволяют это, экстенсивный рост, по мере роста численности общины (стратегия заселения необжитых территорий).

Данные, накопленные этнологами, антропологами, историками культуры свидетельствуют: традиционно-архаическая культура формирует человека, которому свойственно *минимизировать потребности* и *трудить-*

ся ровно столько, сколько необходимо для создания этого *минимума.*

Все остальное время не только догосударственный, но и традиционный человек отдает общению, имитациям трудовых палеолитических практик (рыбалке, охоте, собиранию грибов), праздникам, наркотическим практикам и тому, что на нашем языке называется «безделье». Заметим, слово это родилось в зрелом классовом обществе и имеет явно выраженный негативный оттенок. Для человека архаического безделье нормально и естественно. Это – состояние самосозерцания, растворенности в универсуме, отдыха и релаксации, свойственное всем детям в раннем возрасте[1]. По преимуществу архаический человек пребывает в безделье, но по необходимости – трудится в меру этой необходимости.

Мы говорим об органике, заданной стадией исторического развития. Эта органика исключительно устойчива. С конца 60-х годов прошлого века формируется самостоятельная отрасль гуманитарного знания – крестьяноведение. Исследования как зарубежных, так и отечественных крестьяноведов раскрывают принципы «моральной экономики» или «культуры пропитания» (Р. Сиви). Суть этого принципа, лежащего в основе традиционно крестьянского бытия – ориентация на создание *необходимого минимума,* обеспечивающего воспроизводство крестьянского хозяйства. Еще А.В. Чаянов показал, что традиционный крестьянин ориентирован на минимизацию потребностей, а не на повышение продуктивности своего хозяйства. Крестьянина, ориентированного на противоположную стратегию, называли «кулак». Отношение традиционного мира к кулаку хорошо известно.

[1] Здесь мы усматриваем одно из множества проявлений единства онто и филогенеза. Ребенок воспроизводит органику и практики первобытного человека. Взрослея, он перемещается по шкале исторической эволюции, устанавливает другие отношения со временем. Фаза сознательного бытия, в котором взрослый человек контролирует субъект-объектную ситуацию, в объемном отношении становится абсолютно доминирующей.

Если же возникают излишки, если запасов на зиму и заготовок впрок оказывается больше того, что расходуется, традиционно-архаическая культура включает специальный культурный механизм: изведение, уничтожение, развеивание в прах всего сверхнеобходимого в празднике, ритуале, социальном общении. Этому служили бесчисленные праздники годового цикла, свадьбы, похороны, инициации подростков (сегодня – проводы в армию), поминки, обмывание крупных покупок, «помочи», включавшие угощение соседей, помогавших в строительстве дома, и так далее.

Праздник – это всеобщая радость, пространство идеального бытия, имеющее ритуальное измерение. В празднике обновляется космос, сплачивается и укрепляется традиционно-архаический коллектив, забываются счеты и обиды. Иными словами, праздник формирует мощное мотивационное пространство, побуждающее спустить «лишнее» (то есть то, что превышает минимум, необходимый для самоподдержания) самого прижимистого человека. Именно этого требует от него архаическая культура. Щедрость хозяина в праздничный день обменивается на социальный престиж. Уж наша свадьба должная быть не хуже, чем у людей. Стратегический смысл такой культурной установки – противостояние процессам социального расслоения архаического коллектива. Доклассовая культура самосохранялась. Люди работали ровно столько, сколько было необходимо для реализации минимальных потребностей, а появлявшиеся излишки пускали в распыл.

В ходе неолитической революции, действительно, росла производительность труда. При этом существенно то, что процесс роста происходил стихийно, за рамками осознания субъектом действия. Кроме того, рост этот происходил настолько медленно, что не мог быть зафиксирован бесписьменным человеком. Субъективно неолитический человек воспроизводил универсум своих родителей и видел мир как вечный и неизменный. Виды

и формы деятельности могли варьироваться в связи с изменениями локальной ситуации, колебаниями климата, перемещениями первобытного коллектива на новые участки. Но эти перемены не фиксировались. В эпоху позднего неолита, действительно, был достигнут уровень производительности труда, формировавший некоторые излишки. Это создало объективную возможность усложнить социальную структуру поздненеолитического общества. Рождаются предгосударственные формы социальности – вождества, племена, союзы племен.

Существенно то, что производительность труда, достигнутая поздненеолитическим человеком, фиксирует *предел* возможностей развития архаической культуры. Оставаясь на стадии догосударственного бытия нельзя было наращивать эффективность производства. Дальнейший прогресс требует перехода на следующую стадию исторического развития. Отталкиваясь от исходного технологического уровня позднего неолита, государство опирается на *кооперативный эффект*. Мы имеем в виду те возможности, которые открываются при координации усилий значительных масс работников, объединенных для решения конкретной проблемы. Община или племя могли мобилизовать десятки, максимум – сотни работников. Государство оперировало усилиями десятков тысяч людей. Из этого следует как качественно иной масштаб решаемых задач, так и масштаб результатов.

Описывая процессы генезиса египетской, шумерской, китайской цивилизаций, А. Тойнби указывает на то, что в основаниях этих цивилизаций лежит огромная работа по осушению болот в низовьях Нила, «болотистых джунглей нижней долины Тигра и Евфрата». В результате «бесформенные болота уступили место системе каналов, дамб и полей», а на осушенных землях можно было снимать по три урожая в год. Складывавшаяся в долине реки Хуанхе древнекитайская цивилизация столкнулась с теми же проблемами – болота, кустарники

и паводки. Государственность возникала как ответ на этот исторический вызов и развивалась в процессе преобразования потенциально плодоносной окружающей среды[1].

Важно осознать качественную дистанцию исторических и доисторических стратегий. Мощные проекты преобразования природы реализует государство. Для этого требуется глубоко зашедшее общественное разделение труда, стратегическое мышление, административный аппарат, систематическая работа по анализу практики, накоплению и передачи опыта. Требуется письменность, профессиональные инженеры, агрономы и многое другое. Архаическому человеку не снились эти результаты и принципиально недоступен такой способ борьбы за существование. Он ориентирован на иную стратегию бытия.

Далее, среди особенностей, принципиально отличающих архаического человека от человека государства, значимо следующее: по своей интенции он находится *вне общественного разделения труда*. Архаический работник запрограммирован на натуральное хозяйство в малой семейной ячейке. Есть пахотная земля и другие угодья (лес, речка), используя которые, он создает практически все, что необходимо ему и членам его семьи. Это – исключительно устойчивая генеральная программа, задающая понимание мира и организующая пространство трудовой активности. Он и его жена вырастят хлеб и овощи, выделают кожи, соткут ткани и сошьют одежды и т.д. Самую малость того, что невозможно или очень сложно и трудоемко получить самостоятельно, можно купить на рынке, продав/обменяв на что-то из своего. Наконец, приемы работы и технологии, которыми пользовался архаический человек, были рутинны и малоэффективны. Их отличала привычность и проверенность временем. Проблемы эффективности в принципе не возникало.

[1] Подробнее см.: *Тойнби А.* Исследование истории. Возникновение, рост и распад цивилизаций. М., 2009.

Государство, появившееся на свет божий, нуждалось не в неолитическом человеке, а в *профессиональном работнике.* Работнике, вырванном из натурального хозяйства, вписанном в систему общественного разделения труда, способном круглый год целыми днями делать ту работу, которую ему поручат. При этом работать не так, как ему привычно, а как его научат и как ему прикажут. Только в таком случае можно было достигнуть такого уровня эффективности общественного производства, когда работник мог создать продукт достаточный не только для прокорма его самого и его семьи, но и для обеспечения государства. Социальный институт, который решает эту задачу, называется рабовладение.

Эта институция сложилась в позднем неолите, на фоне разложения первобытно-общинных отношений. Вождества, племена и союзы племен столкнулись с необходимостью обеспечения воинов-дружинников и их семей, а также племенной верхушки, выпавших из производительного труда. То был достаточно большой сегмент общества. В ответ на этот запрос возникает патриархальное рабство. Рабами становились пленники, несостоятельные должники, чужаки. Рабы были бесправными членами семьи господина и выполняли самую тяжелую работу. Патриархальное рабство существовало практически у всех народов.

Рабство – один из важнейших элементов раннего государства, возникший в недрах предшествующей эпохи. Постоянно и остро нуждавшееся в самых разнообразных ресурсах, государство взяло эту социальную технологию, развило ее, выстроило на основе рабовладения сложнейшую хозяйственную систему. Комплекс власти-собственности распоряжался десятками тысяч рабов. В этой ситуации рабам была противопоставлена не семья патриархального хозяина и традиционная культура, требовавшая от раба повиновения, а мощь аппарата принуждения целого государства. Раб был вписан в такую систему хозяйственных отношений и деятельности, которая напрочь порывала с исходной архаической культурой и требовала от него, вообще говоря, невозможного. Требовала выхода за пределы своей собственной природы. Здесь результат мог быть достигнут только через тотальное насилие.

Цитированный выше историк Дьяконов называет шумерскую модель общества «каторжной системой». В этой оценке, безусловно, присутствует момент морального осуждения. Солидаризуясь с ним надо отметить, что наша оценка звучит из пространства, принадлежащего другой стадии исторического развития. Мы сталкиваемся с жестокой и неизбежной диалектикой истории. Люди государства из III династии Ура тиранили несчастных не из патологического бессердечия. И привычные старшему поколению заклинания об эксплуатации человека человеком ничего не объясняют. Другого способа поддержать государство с тем человеческим материалом, которым располагали «пастыри» Ура Халдейского, не существовало.

Тот, кто был не в состоянии жить в этих каторжных условиях, вымирал в самом буквальном смысле. Источники свидетельствуют о высоком уровне смертности государственных рабов. Остальные мутировали антропологически, психологически, культурно. Так, в чреде поколений усилиями людей государства из наличного поздненеолитического материала творился человек исторической эпохи. Подчеркнем, из поздненеолитического человеческого материала, ибо палеолитический человек физически не способен к такой эволюции. Ни американские индейцы, ни аборигены Австралии, ни эвенки и другие народы палеолита не порабощались, поскольку оказывались не способны к каторжной работе и быстро умирали. Рабов везли из Африки или Азии, черпая их из племен, переживающих эпоху раннего государства.

Через десяток поколений устойчивого и ответственного раба, плотно вписанного в мир классового общества и систему производящего хозяйства, можно поса-

дить на пекулий. Так запускался процесс превращения вчерашних рабов в частично зависимых (крепостных). Иными словами, по мере формирования человека исторической эпохи, по мере вызревания его в этом качестве снижалась объективная необходимость в постоянном руководстве, контроле и жесткой репрессии позавчерашнего архаика. Соответственно этому формируются более мягкие социально-экономические схемы, характеризующиеся снижением уровня репрессии, повышением уровня самостоятельности и снижением нормы отчуждения. Формируется частично зависимый работник. Но это возможно только на базе качественных изменений, соответствующих масштабу стадиального перехода.

Альтернативный механизм вписывания традиционного человека в государство и цивилизацию реализует рынок. Торговля возникает в недрах палеолита и существует как более или менее значимый, но дополнительный социальный механизм тысячелетия до возникновения государства, а далее – включается в реальность государственного бытия. На первом витке исторического процесса доминирует редистрибутивный инситуциональный комплекс, но рынок прочно занимает свою нишу. Однако прошло несколько тысяч лет и на периферии древневосточного мира, в Средиземноморье произошла мутация, в рамках которой рынок превратился в базовый элемент экономической и социальной системы.

Рынок решает те же задачи, что и построенное на редистрибуции государство: он формирует общественное разделение труда. Создает мотивации к производящей деятельности, действуя не в рамках порабощения и прямого насилия, а через экономическое принуждение. Формирует профессионального работника. Создает систему стимулов к повышению качества товара и росту профессионализма. Запускает процесс мышления в категориях оптимизации (как повысить потребительские характеристики товара, снижая издержки производства).

Наконец, созидает экономическое мышление и формирует целерационального человека.

Скажем несколько слов о системе мотиваций к трудовой деятельности. Если в редистрибутивном комплексе это идеология («Честно трудиться – наш долг перед Фараоном и Египтом») и прямое насилие, то рынок формирует бесконечное и безграничное пространство достижительных ценностей и потребительских стимулов. Заработай – и ты купишь себе вторую жену, построишь дом, увеличишь стадо, наймешь работников, купишь золотые украшения любимой жене, построишь плавательный бассейн, поставишь сателлитную антенну...

Чистый архаик отторгает рынок или втягивается в него плохо, медленно и болезненно. Традиционный человек, дозревший до рыночного общества стадиально, рано или поздно включается в систему рыночных отношений. Осваивает модели, принимает ценности, психологию, мотивы. При этом он обретает мощные конкурентные преимущества по отношению к своим соседям – архаикам, которые в скором времени превращаются в его батраков. Так начинается то, что на советском идеологически языке называлось «классовая борьба в деревне».

По отношению к культуре большого общества, архаик и традиционный человек часто объединяются в одно целое, охватываемое низовой культурой. Однако эти сущности не тождественны. Тяготея к исторически прошедшему, они различаются качественно. Архаик – человек доисторический, а традиционалист сущностно принадлежит истории и цивилизации. Он изжил характеристики архаического сознания, блокирующие движение вперед, и ассимилировал значимые характеристики классового общества и государства. Архаик не может не отторгать рынок. Для него это прыжок через стадию исторического развития. Архаик не включается в систему потребительства и не способен к эффективной деятельности в рыночных условиях.

Если архаик соблазнился какими-то потребительскими радостями, то он, скорее, склонен надеяться на чудо (казино, лотерея) или попытается получить вожделенную вещь преступным путем. Матрица пресуществления, получения чудесным образом желаемого лежит в системе представлений архаика, а идея священной частной собственности – отсутствует. Традиционалист же сложно, и часто болезненно, но включается в рынок, совершая переход на следующую стадию истории.

В низовой среде традиционное и архаическое сознание взаимопроникают. В результате формируется нерасчленимый синкретический комплекс народной культуры. Если же с уровня народной культуры как целого переходить к более пристальному рассмотрению среды носителей низовой культуры, то обнаруживается, что в разных локусах этого комплекса могут доминировать как одни, так и другие начала. Доминирование архаического или традиционного задает качественные характеристики отдельного человека или социальной группы, субкультуры. В критические эпохи (а именно, в эпоху исторического снятия традиционной народной культуры), история разводит традиционалиста и архаика по разным сторонам баррикад.

Рынок – великий интенсификатор и динамизатор истории. Везде, где рынок утверждается как системообразующий механизм, это встречает протест традиционно-архаического целого, который принимает самые разнообразные формы эсхатологической активизации традиционного общества. Хилиастические движения, милленаризм, рост сектантства, бунты, восстания, крестьянские войны, утопический социализм, тоталитарные идеологии XX века – все это реакции традиционно-архаического целого на разворачивание процессов снятия традиционного универсума.

В качестве примера, достаточно экзотического по форме, но типичного по интенции, назовем мистическую секту «малеванцев». Движение возникло в Киевской губернии в конце 80-х годов XIX века. Сектанты утверждали: «Христос вывел нас из Египта труда», переставали трудиться, заботиться о детях, отказывались от обычного образа жизни и ждали Страшного суда. За концом «этого мира», по их представлениям, «наступит идеальный порядок всеобщего равенства и братства, мир правды и общего блаженства, без смерти и тления, без грехов, судов и начальства, без труда и забот о будущем»[1]. Интенция – назад по шкале истории к точке антропогенеза – очевидна. По свидетельствам наблюдателей, типичная форма времяпровождения сектантов состояла в том, что они сидели и выбирали вшей друг у друга. Эта деталь поразительна, ибо отсылает к универсальной психотерапевтической практике гоминид, например, шимпанзе. Архаическое сознание реагировало на рост уровня эксплуатации и распад традиционного космоса проваливанием в чистую асоциальную архаику.

Государство выталкивало пореформенного крестьянина на рынок налогами. Заплатить налоги можно было, продав что-то свое. Развитие городов создавало спрос на сельхозпродукцию, что также толкало к рынку. Жизнь требовала интенсификации производства и по демографическим основаниям.

Практика вакцинации, грамотное родовспоможение, внедрение европейской медицины вели к снижению детской смертности. На селе стало много рук, пахотной земли не хватало. Интенсификация была историческим императивом. Однако традиционный крестьянин отторгал интенсификацию, держался за общину и видел решение своих проблем в помещичьих землях. Революция ознаменовала смену генеральной стратегии. Отторгаемый традиционной массой рыночный путь интенсификации сменился на тотальную власть-собственность. Насилия

[1] Малеванщина // Официальный web-сайт «Храм Архангела Михаила». http// www.mihaylovskoe.ortodoxy.ru/library/bulgakov/H1104-T.hnm (7.09.09).

стало еще больше, поскольку реальность редистрибутивной экономики существенно жестче рыночной.

Эпоху НЭПа можно рассматривать как кратковременную реализацию крестьянских вожделений. Крестьянин попал не в Беловодье, а в тоталитарное идеократическое государство, но это государство реализовало базовые требования традиционных масс. Крестьяне получили землю и твердый налог. «Наша», «народная власть» поощряла бедняка и гнобила кулака. Но счастье длилось недолго.

Апологеты сталинской коллективизации справедливо указывают на то, что товарность сельского хозяйства при НЭПе была крайне низкой. Но Беловодье – это мир *нетоварного* производства. Товарное производство создавало крупное и эффективное помещичье хозяйство, в котором, под присмотром менеджеров, работали батраки. Товарное производство развивал и наращивал дореволюционный кулак. По пути наращивания товарного производства шли новые кулаки, «справные хозяева», возникавшие в эпоху НЭПа. Остальные были не способны к этому по фундаментальным основаниям.

Традиционно ориентированный крестьянин отторгал рынок и стремился к натуральному хозяйству. Не для того он противостоял частной собственности на землю (частная собственность полностью отрицает архаическую программу выживания, ведет к перетеканию земли в руки эффективного собственника и превращает архаика в батрака). Не для того выступал за «черный передел». Не для того грабил помещичьи именья, жег кулаков и шел в Красную армию, чтобы развивать товарное производство, круглый год работать от зари до зари, осваивать новые басурманские технологии. То есть отказываться от своей природы: традиционного безгосударственного и дорыночного человека. До революции ему был предложен сценарий перехода от традиционного крестьянина к фермеру. Он его отринул. Но историю не обманешь, и российский крестьянин прошел путь

приобщения к промышленным технологиям в ячейках казарменного коммунизма.

Коллективизация решала две задачи: уничтожения исторической альтернативы советской власти – кулака, которого все время порождала из себя разлагающаяся масса традиционного крестьянства, и охвата всей сферы сельхозпроизводства системой плантаторских хозяйств. В результате и уровень производительности и нормы отчуждения продукта у непосредственного производителя резко возросли. В собственном смысле советское сельское хозяйство нельзя назвать товарным. Колхоз и совхозы работали на государство и создавали не меновые стоимости (то есть – товары), а потребительские ценности, но переход к производству сельхозпродуктов в необходимых государству промышленных объемах произошел.

В порядке реплики заметим: для того, чтобы понять разницу между товаром и потребительской ценностью не надо быть экономистом. Достаточно вспомнить овощи и молочную продукцию (творог, сметану) в Советском Союзе. В «Гастрономах» и магазинах «Овощи» продавали предметы потребления, товары продавали на рынке. Эти сущности разительно отличались как качеством, так и ценой.

Сделаем важное замечание. Устойчивое порождение и рост кулачества, начиная с эпохи Великих реформ и до коллективизации, свидетельствует о том, что традиционно-архаическое крестьянство подошло к порогу исторического снятия. Оно было обречено. Вопрос стоял о сценарии схождения с исторической арены. В ходе Гражданской войны российское крестьянство избрало смерть в системе государственного плантаторского хозяйства.

Советская идеология говорила о создании «нового человека». Объективное содержание советского этапа российской истории состояло в полном и окончательном вовлечении традиционно-архаических масс,

составлявших подавляющее большинство населения, в государство и цивилизацию. Результат этого, безусловно, был – «новый человек» появился. Специфика исторического развития России задала сложно разрешимую коллизию. К началу XX века большинство населения страны составляли люди стадиально до/ранне государственные, частично, порою минимально, вписанные в государство, чуждые его природе, всеми силами стремящиеся сохранить сложившееся положение вещей: «Государство само по себе, а мы – сами по себе». Люди, отторгающие перспективу вовлечения их мира в мир государства. Между тем, стремительная индустриализация задавалась императивом сохранения государственности. Отсюда и чудовищность методов насильственного вовлечения в государство, и поражающая перекличка с реалиями III династии Ура.

Как целостная система традиционно-архаический космос окончательно иссякает в 70-е годы прошлого века. Сегодня можно наблюдать лишь отдельные реликты, фрагменты, разрозненные культурные феномены. Одно из этих проявлений доступно нашему наблюдению. Отечественные пенсионеры делятся на две категории. Одни продолжают работать до гробовой доски или до тех пор, пока не утратят трудоспособность. Но и после этого они возятся на дачах, делают что-то по квартире, помогают детям и внукам. Вторая категория реализует идеал созерцательной жизни. Они сидят на скамейках около дома, ведут неторопливые разговоры, потягивают пивко, лузгают семечки, выкуривают бесчисленные сигареты, играют в домино. Зимой или в плохую погоду сидят дома, смотрят телевизор, ругаются с женой/мужем. Образ жизни этих людей задан императивом традиционно-архаического сознания – трудиться *ровно столько, сколько необходимо для удовлетворения минимума человеческих потребностей.* Получив от государства законную, честно заработанную пенсию, эти люди получили право на вечный отдых. Вписанный в современный мир пожилой человек, который, выбегая из подъезда своего дома, видит скучающих на лавочках пенсионеров, сталкивается с представителями другой стадии исторического развития.

Слабое эхо доисторического человека в современном обществе – спившиеся и деградировавшие маргиналы, бомжи, хиппи, профессиональные нищие. Все эти люди снимают с себя бремя жизни в истории и цивилизации с ее бесконечными заботами, изматывающим трудом, ответственностью и возвращаются к палеолитическим стратегиям. Обретая свободу от истории, они живут в совершенно ином пространстве человеческой экзистенции.

Высокий уровень репрессии в России XIX–XX вв. связан с тем, что в эту эпоху реализовывалась общеисторическая задача окончательного размывания архаики и «переработки» необозримого материка традиционной культуры, веками существовавшего в теле государства. Россия окончательно исчерпала возможности модели сосуществования двух стадиально различающихся культур в одном государственном целом, созданной Петром I. Естественным ответом традиционного мира на его уничтожение (размывание и коллапс неизменного мира традиции) стало резкое возрастание хаотизации. Эсхатологическое возбуждение разрушало социальную ткань. Российская власть продемонстрировала естественный для отечественной политической культуры ответ на рост хаотизации – исключительно высокий уровень государственного насилия. Накладываясь друг на друга, насилие, идущее снизу, и властное насилие сформировали характер российской репрессии двух последних веков.

Подводя итоги, отдадим себе отчет в том, что политика насильственного изменения стадиальных характеристик некоторого слоя общества (в России – подавляющего в объемном отношении), а этот процесс

разворачивается на протяжении всей истории нашей страны, есть не что иное, как развернутая *универсальная репрессия*. Смысл этих достаточно пространных рассуждений в том, чтобы выявить уровень общеисторической детерминации, показать масштаб императива, задававшего исключительно высокий уровень насилия на всем протяжении российской истории и особенно в XX веке.

ГЛАВА IV
Репрессия в целостности культуры

Механизмы закрепления и воспроизводства репрессии

Казалось бы, по первому движению души каждый стремится освободиться от дискомфорта. Но если это невозможно и культура помещает ребенка, подростка, взрослого в ситуацию перманентного дискомфорта, происходит адаптация к непреоборимой реальности. Формируется человек, органично существующий в мире репрессии, не способный к существованию вне ситуации постоянного насилия и, потому, воспроизводящий этот мир[1].

Человеческая природа такова, что любая устойчивая ситуация будет «обжита», адаптирована психикой, каким-то образом осмыслена. Адаптируясь к непреоборимой реальности, сколь бы дискомфортна она не была, человек магически уподобится ей, найдет в этой реальности положительные моменты, обнаружит радости и притягательные черты. Он выстроит свою психику, свое сознание, систему поведения изоморфно реальности, наполнит ее смыслом, расцветит тяготами и радостями, составляющими значимую ткань человеческого существования. В противном случае этот человек просто не выживет. В результате разворачивающихся в чреде поколений процессов адаптации возникает особый человеческий тип, специализированный в конкретной репрессивной культуре и адекватный ей.

Этот историко-культурный тип узнаваем, известен нам из жизненного опыта, описан русской литературой, подробно исследован психологами и психотерапевтами, отдельные его черты схвачены в наблюдениях европей-

[1] Давно известен и многократно описан следующий феномен: пожилые люди, отбывшие большой срок в тюрьме, отказываются выходить на свободу по завершении срока, просят оставить их в «зоне».

цев. В реальности рассматриваемый историко-культурный тип дробится на ряд подтипов. Чтобы понять, о чем идет речь, опишем один из распространенных и легко узнаваемых.

Его отличительная черта – амбивалентное отношением к мучениям, особый русский мазохизм. На уровне осознаваемого присутствует, казалось бы, острое желание покоя и снятия агрессии. Однако это – фикция. Практически, субъективное желание покоя присутствует на фоне органической неспособности к такому существованию. Помещенный в ситуацию, лишенную перманентного давления, такой человек впадает в иррациональное беспокойство и начинает активно мучить себя и других с тем, чтобы воспроизвести устойчивую реальность. Особенно выпукло данная типология просматривается в женщинах. Вспомним такое специфическое явление как «упивание страданиями». Каждый, знакомый с русской литературой, поэзией, романсом, песенной культурой поймет, о чем идет речь.

Существует специальная проблема – механизм самовоспроизводства социальных и культурных форм, предполагающих высокий уровень насилия. Почему устойчиво воспроизводятся культурные феномены, связанные с подчинением одних групп людей другим – патриархальная второсортность женщины, система каст, сословное неравенство и т.д.? Проблема связана с тем, что подобные системы отношений поддерживаются «с двух сторон». Вопреки прогрессистской мифологии, репрессивная культура поддерживается и воспроизводится не только, и даже не столько субъектами, сколько объектами репрессии. Обделенные, униженные, статусно слабые наиболее истово поддерживают и воспроизводят систему неравенства.

В данном случае, проблема не в объекте исследования, а в познающем субъекте. В ряду других априорных конструкций, в бэкграунде нашего восприятия мира лежит просвещенчески-прогрессистская мифология,

в соответствии с которой, те, кого мы склонны рассматривать как угнетенных, униженных и оскорбленных, должны протестовать против исконного порядка вещей, ненавидеть утеснителей и жаждать свободы, равенства и братства. Образованное общество усвоило эти клише с XIX века. В XX веке описанная модель претерпела трансформацию. Стремление к либерально понимаемой свободе сменилось на классовую борьбу с угнетателями во имя светлого будущего. Бесчисленно воспроизведенная в литературе для детей старшего возраста, кинематографе, публицистике идея естественной устремленности униженных всех времен и народов к равенству обрело статус безусловной истины. С этих позиций широчайшая феноменология истории проваливается в пространство необъяснимых артефактов. Раб, отстаивающий крепостное право, оскорбляет наше нравственное чувство, а потому не заслуживает серьезного внимания. Между тем, описанная ситуация выходит за рамки публицистического морализирования. *Добродетельный раб* являет собой *историко-культурную проблему.*

Культура закрепляет устойчивые феномены многообразно и на разных уровнях. Причем, чем более конфликтогенна в потенциальном отношении некоторая практика, тем более мощные механизмы будут сформированы в ходе самоорганизации социокультурного целого. Обозначим наиболее очевидные.

Один из таких механизмов – *культурно-психологическая специализация человека*. Носители подчиненного статуса жестко специализируются в определенной социальной роли и сфере деятельности. Подавляющая часть этих людей не способны к другим ролям и иной реальности. Специализация в устойчиво репрессивной ситуации носит исключительно жесткий характер. Как правило, такие люди лишены экзистенциальных, психологических, интеллектуальных ресурсов, необходимых для радикальной смены ролей и практик. Попросту говоря, «забитый» человек мало на что пригоден сверх того

единственного, на что «заточила» его предшествующая жизнь. Вспомните реплику Акакия Акакиевича Башмачкина – «Мне бы что-нибудь переписать».

Здесь необходимо уточнение: мир репрессивной культуры – это мир, который характеризуется высоким уровнем социальной определенности, мир жестких ролей. В зависимости от рождения человеку отводится определенная роль, некоторый социальный и – шире – жизненный сценарий, профессия. Такая заданность жизненного пути может рассматриваться как клетка, ограничивающая свободу человека, а может переживаться как важнейшая социальная гарантия: «Вот социальное пространство, которое освоено мною и природнено. В «нашем» мире это пространство мне *гарантировано*. Я буду работать на барина всю свою жизнь, а барин берет на себя все остальные заботы (подати, обустройство жизни, принятие важных решений), которые меня уже не касаются. И если я доживу до глубокой старости и стану немощным, барин будет кормить меня до конца дней».

Важный аспект культурно-психологической специализации связан с десубъективацией или – *специализацией в качестве управляемого.* Человек репрессивной культуры управляем и частично (а часто минимально) субъектен. Бремя принятия решений лежит на носителях иерархии (патриархальной, властной, идеологической). Попросту говоря, у него всегда есть какой-нибудь Хозяин или Начальник. Принимать решения и нести за них ответственность – дело иерархии. Выросший в мире высокой репрессии массовый человек к этому не способен, не испытывает такой потребности и при первой возможности перекладывает дело принятие решений на плечи того, кто, говоря сегодняшним языком, готов стать его «крышей».

Что же касается мира, построенного на минимизации репрессии, то он характеризуется свободой самореализации. Эта свобода оборачивается правом и одновременно *необходимостью выбора* жизненных сценариев,

собственных позиций, принятием массы значимых решений и так далее. Кроме того, свобода несет неизмеримо более *высокий уровень неопределенности*. Если выбор брачного партнера лежит на ваших родителях, и брак заключается на всю жизнь, то с момента венчания жизнь ваша в семейном аспекте полностью определена и вам остается великая русская максима: «Стерпится-слюбится». Если же вы вступаете в брак по собственному выбору, да еще живете в эпоху разводов, на вас падает вся полнота ответственности. Вы черпаете полной мерой радости, горести, разочарования, переживаете осознание собственных ошибок, сжигаете мосты, начинаете все сначала и ошибаетесь снова. Кто-то назовет это великим и прекрасным бременем свободного человека, а кто-то – ужаснется и восплачет о потерянном рае традиционной культуры.

Мы говорим о бытии, которое из пространства носителей традиционной культуры воспринимается как хаос, рождает чувство незащищенности. Говорим о мире непонятном, неопределенном, в конце концов, несправедливом. Репрессивность рождает узкую социальную специализацию и минимизирует человеческую субъектность. Вышедший из этой реальности человек лишен психологических и культурных ресурсов, необходимых для существования в мире без репрессии. Он обречен заполнять маргинальные ниши и реализовывать стратегию доживания.

Воспроизводство конфликтогенных норм и практик задается специальным *блокирующим ценностным механизмом:* отступление от исконных порядков связано с иррациональным ужасом нарушения сакральной нормы и чувством космической вины. Чем сильнее угнетение и неравенство – тем сильнее этот механизм закрепления, мощнее блокировка, иррациональнее и «всеобъемлемее» чувство ужаса. Репрессированный человек виноват априорно и перманентно даже тогда, когда он выполня-

ет все нормы и правила, над ним довлеет саморепрессия. Если же нормы и правила, переживаемые как сакральные космические константы, начинают проблематизироваться, рушатся, утрачивают силу – добродетельного носителя традиции охватывает иррациональное чувство ужаса. Не только он сам, но и все общество виновато, ибо отвернулось от божественных установлений, и кара, которая последует за этим, будет ужасна.

Следующий механизм представляет собой особый авторегулятивный цикл: *устойчивый порядок – резкая хаотизация – реставрация устойчивого порядка.*

В свою очередь этот цикл задан другим блокирующим механизмом: *неспособность к нормальному поведению вне ситуации жесткой репрессии.* Рассмотрим эти социальные механики совместно.

Начнем со второй: человек репрессивной культуры в массе своей до-личностен, а стало быть, до-морален. Снижение уровня репрессии ведет к резкому соблазну нарушения любых человеческих и божеских законов. Чего бояться?

Разрушение устойчивого порядка вещей в мире, состоящем из людей традиционной культуры, ведет к резкой хаотизации социального космоса. В 20–30 годы прошлого века бытовала пословица: «Крой Ванька – Бога нет, а царя убили». Она четко выражает определенную социокультурную ситуацию. Если карающая власть рухнула или сила ее существенно пошатнулась, рушится главный стержень репрессивного космоса – страх перед иерархией. Поскольку не существует внутренних регулятивов, которые держали бы подавляющую массу в рамках, когда исчезает страх наказания, общество проваливается в пучину хаоса. Происходит разрушение социальной ткани, в самом буквальном смысле рушатся государство и цивилизация, возрождаются нравы эпохи военной демократии. Свидетельства этого доносят до нас исторические документы Смуты; множество самых

разнообразных свидетельств оставила эпоха Гражданской войны; в менее выраженных формах те же процессы разворачивались на значительной части постсоветского пространства в первой половине 90-х годов прошлого века. В этом отношении достаточно колоритно и последующее десятилетие.

Столкнувшись с хаосом, традиционный человек на практике убеждается в том, что устойчивый миропорядок, сколь бы дискомфортен он ни был, есть лучшее из возможных состояний общества. Усилиями традиционалистов воссоздается репрессивное государство, которое подавляет воспрянувшую из небытия догосударственную стихию и утверждает новый порядок.

Существенно то, что в результате возникает новая версия традиционного государства. В некоторых значимых характеристиках она отличается от исходной, сгинувшей в пучине хаоса. Легко заметить, что описанный нами цикл: *исходный порядок–хаотизация–новый порядок* – воспроизводит универсальную структуру ритуала[1]. На наш взгляд, в силу этого обстоятельства описанная ситуация часто осмысливается и переживается ритуально. К примеру, эти смыслы доносит до нас название романа Артема Веселого «Россия, кровью умытая». В сознании традиционного человека сопутствующие хаосу кровь и страдания несут в себе потенциал ритуального обновления космоса. Умывшаяся кровью Россия выйдет из этой страшной и одновременно великой эпохи новой, замечательной страной. Присущая А. Блоку зачарованность бандитами революционной эпохи из того же ряда.

С одной стороны, хаос рассматривается как кара богов за отказ от устойчивого порядка. С другой – временное погружение в хаос несет в себе обновление космоса, рождение нового порядка. Новая версия традиционной, а, значит, и репрессивной культуры, соответствует духу времени, отвечает ожиданиям и запросам человека, пережившего пору страшного безвременья.

[1] Подробнее см.: *Яковенко И.Г.* Природа ритуала // Мир психологии. 2003. № 3. С. 17 – 26.

Надо сказать, что авторегулятивный цикл: устойчивый порядок – резкая хаотизация – реставрация устойчивого порядка – реализуется не только в формах национальных катастроф. Можно наблюдать и более мягкие, стертые формы той же социальной механики. Так в эпоху, следовавшую за отменой крепостного права, современники событий фиксируют рост хулиганства, падение трудовой морали, растущее напряжение внутри крестьянской большой семьи. Нанимающиеся на работу заламывают безбожные цены и не делают своего дела. Безответственные мужики пропивались в дым и не платили налогов. А поскольку налоги платились земледельческой общиной «за круговой порукой», нерадивых пороли по решению схода. В общем, это ожидаемо. Ежели мужика нельзя выпороть, так он и работать не будет. Устойчивый крестьянский мир пошатнулся. Памятный всем монолог примечательного персонажа пьесы «Вишневый сад» Фирса об этом – резкое снижение уровня репрессии разрушает устойчивый порядок и порождает в традиционно-репрессивном обществе хаос.

Второй пример гораздо ближе хронологически. В высшей степени характерна эволюция советского общества после XX съезда КПСС. Конец сталинской эпохи стал началом конца всего советского эксперимента. Людей перестали сажать в тюрьму за колоски, опоздание на работу перестало быть уголовно наказуемым деянием, произошла эрозия всеобщего закрепощения – у горожанина появилась реальная возможность уволиться с работы и перейти на другое предприятие, а сельский житель получил возможность уехать в город. В свою очередь, начальники самых разных рангов перестали отвечать головой за вверенный участок. Казалось бы, общее снижение уровня репрессии должно было оздоровить общество, которое, наконец-то, вздохнуло, если не свободно, то куда свободнее. Однако общество ответило на это снижением темпов экономического роста, снижением эффективности производства, ростом хаотизации,

всеобщей растащиловкой, когда председатель колхоза, бригадир и рядовой колхозник тащат на свое подворье, различаясь только масштабами заимствования.

Другая примета золотой брежневской эпохи – всеобщая пьянка, в том числе и на рабочем месте. Вспомним одну из реалий эпохи зрелого социализма: винно-водочные отделы открывались в магазинах с 11 часов утра. Делалось это для того, чтобы рабочие не могли купить бутылку перед началом смены (понятно, что купленную вечером бутылку, русский человек до утра не додержит). Автор этих строк, в ту пору студент вуза, работавший два дня в неделю на заводе в рамках политики «связи высшей школы с жизнью», помнит, как работяги скидывались и к одиннадцати часам снаряжали ходока в ближайший магазин за парой бутылок водки. Добавим, выйти за водкой через проходную было нельзя, ходоки лезли через дырку, проделанную в заборе. Одним словом – «Крой Ванька – Бога нет, а царя убили».

Именно поэтому с конца 60-х годов в обывательских разговорах постоянно звучал рефрен – народ распустился, нужен порядок, стране нужен хозяин. Так срабатывала тенденция к реставрации устойчивой репрессивной модели. В силу ряда объективных причин она не была реализована, но попытки «зажать» ситуацию и вернуться к жестким методам управления, связанные, например, с именем Андропова, встречали в традиционно ориентированном секторе общества понимание и одобрение.

Опишем еще два, по всей видимости, связанных между собой механизма: *сценарного закрепления* и *импритинга*.

Прежде всего, надо упомянуть *сценарное закрепление* как один из базовых механизмов воспроизводства человека и культуры. С раннего детства каждый человек усваивает пакеты самых разнообразных социальных сценариев: сценарий знакомства, сценарий праздника, сценарий совместной работы и др.

В обозначенном нами пакете значительный объем занимают сценарии взаимодействия статусно различающихся акторов: родитель-ребенок, учитель-ученик, начальник-подчиненный, частное лицо-слуга государев и др. Важно подчеркнуть, что, включаясь в ситуацию, человек осваивает не конкретную роль (например, ребенка), а сценарий как целое. Такова природа человека. Став взрослым, ребенок воспроизведет этот сценарий уже из ролевой позиции родителей. Репрессивная культура задает сценарии, пронизанные репрессией. Чем больше с самого раннего возраста тиранили ребенка старшие, тем крепче закрепляется данный сценарий в его психике, и тем жестче будет его воспроизведение в следующей генерации. Проходя свой жизненный путь и обретая статусы, предполагающие доминирование и руководство другими, воспитанный в репрессивной культуре человек обречен, не слишком отдавая себе в этом отчет, воспроизводить уровень репрессии, усвоенный им в позиции младшего, ведомого и пасомого.

Импритинг репрессии

Нам представляется, что для понимания процессов воспроизводства репрессии продуктивно обращение к феномену импритинга. Понятие импритинг (от английского imprinting – запечетлевать, оставлять след) описывает особый процесс «запуска» врожденных биологических программ, хранящихся в психике, как животных, так и человека. Это явление было описано К. Лоренцом. Импритинг обеспечивает фиксацию в памяти признаков значимых объектов при формировании или коррекции врожденных поведенческих актов. В отличие от условных рефлексов, импритинг отвечает за быстрое образование чрезвычайно устойчивых следов в психике иногда даже после одноразового переживания. Это впечатление определяют в дальнейшем поведение человека в тех или иных ситуациях. Такая фиксация происходит на ранних этапах жизни в течение ограниченного срока.

Однако у некоторых животных, в частности у приматов, критический период растянут и сдвинут на поздние сроки, вплоть до полового созревания.

Проблематика импритинга лежит за рамками профессиональной компетенции автора. Мы можем позволить себе только предположения. Нам представляется, что насилие, пережитое в раннем возрасте, входит в число значимых признаков образа родителей, прежде всего, отца. А в традиционно-патерналистском обществе отец – фигура космосозидающая. Эти характеристики образа будут воспроизведены в будущем.

Феномен импритинга предполагает ранний возраст «запечатления» значимых объектов. Идеологи традиционной репрессии настаивают на том, что для воспитания праведного и добродетельного человека ребенка надо наказывать с раннего возраста. На наш взгляд, мы сталкиваемся здесь с эмпирически найденным феноменом импритинга. Характерно и то, что на другом полюсе – в пространстве культур, акцентирующих вознаграждение, эволюция шла в направлении изживания физических наказаний детей.

Ритуальное осмысление мучений

Среди факторов закрепления репрессии зафиксируем *ритуальное осмысление мучений*. Суть этого феномена в следующем:

В ряду ритуальных практик существует высоко значимая для любой традиционной культуры совокупность ритуалов перехода. Сценарий этих ритуалов предполагает цепочку событий – ветхий человек, или человек в исходном состоянии (ребенок, подросток, девочка, профан) переживает ряд мучений, испытаний, страданий, и умирает в символическом смысле. Гибель ветхого человека запускает процесс преображения, в результате которого рождается новый человек (полноценный мужчина, женщина, воин, посвященный). К описанным практикам примыкают ритуалы жертвоприношений, в которых жертву не просто мучают и убивают символи-

чески, но убивают буквально. Смысл этих ритуалов связан с идеей сохранения жизненной энергии. Жизненная энергия жертвы перетекает в космос, способствует его обновлению, созидает некоторую сущность. Эти представления восходят к древним космогоническим мифам. Как писал М. Элиаде: «Ничто не приобретает долгосрочного характера, не будучи подкреплено принесением в жертву живого существа»[1].

Мы говорим об универсальных элементах архаической культуры. Подобные практики существовали тысячелетия. Наше понимание состоит в том, что человек традиционно-архаического склада любые страдания и мучения, то есть любую репрессию *переживает ритуально*. Этот способ переживания-осмысления дан ему в историческом опыте и закреплен в ментальности, а других моделей осмысления просто не существует. Данный феномен рассматривается автором на материале эпохи массового террора[2].

В качестве иллюстрации описываемого механизма сознания приведем пример из субкультуры преступного сообщества. Существенным элементом этой субкультуры является «наколка». Наколка – одна из древнейших культурных практик, восходящая к эпохе палеолита. В субкультуре тюрьмы и преступного сообщества «наколка» – важный знаковый элемент. Она фиксирует статус человека, его криминальную профессию, особые пристрастия – например отношение к наркотикам, место в иерархии. Человек, сделавший себе наколку, не соответствующую реальному положению вещей, в случае разоблачения рискует многим. В ряду других сюжетов «наколок», существует один – церковь. Эта наколка имеет следующее прочтение: для ее обладателя тюрьма это храм, а число куполов соответствует числу «ходок»[3].

[1] *Eliade M.* Commentaires sur la legende de matre Manole. P., 1994. P. 173.

[2] См.: *Яковенко И.Г.* Культурные аспекты механизмов и социально-психологические источники массового террора. // Мир психологии. 1998. № 3. С. 215 – 247.

[3] *Яковенко И.Г.* Цивилизация и варварство в Истории России // Он же. Познание России: цивилизационный анализ. М., 2008. С. 45 – 113.

Иными словами, одним из наиболее архаизованных слоев общества пространство максимальной репрессии прочитывается как храм, то есть место наивысшей сакральности. Ритуальное прочтение репрессии – ничто иное, как сакрализации мира репрессивности. Чем ближе человек к традиционной культуре, чем более выражена в его сознании традиционно-архаическая ментальность, тем в большей мере открыт он для принятия репрессии как исконного, сакрального, освященного иррациональным импульсом, транслируемого базовыми моделями понимания и переживания мира.

В культуре «зоны» ритуальное осмысление репрессии более или менее эксплицировано и получает свое выражение. Что же касается традиционалистской массы, то здесь *потребность в ритуалах перехода* присутствует в психике молодых людей как экзистенциально значимая и актуальная сущность. Но эта потребность не эксплицирована, не осмыслена в адекватных терминах. Репрессия (связанные с риском для жизни мучительные испытания, завершающиеся приобщением к мужскому братству) увязывается со смыслами и переживаниями высокого, экзистенциально значимого, космического. Потребность в ритуале инициации влечет ребят из рабочих и крестьянских семей в армию при том, что абсолютное большинство из них ничего не слышали о ритуалах перехода. Культурная потребность может потерять адекватную семантику, но сама по себе сохраняется и детерминирует поведение людей.

Те же социальные инстинкты сбивают подростков из неблагополучных семей в преступные сообщества самой разной окраски, от контролирующих «свой» квартал банд, до группировок скинхедов. Это – нечто настоящее, подлинное, отвечающее глубинным потребностям, которые просыпаются в сознании подростка.

Ритуальное переживание репрессии касается не только тюрьмы, армии или преступного сообщества.

Это – лишь наиболее яркие, наглядные примеры. Носитель традиционного сознания ритуально переживает кары и казни знаковых фигур от имени высшей власти. Здесь проблема виновности или соразмерности наказания в юридически правовом смысле снимается. Всяческие суды или постановления Верховного Совета – всего лишь дань современной форме. Власть отдает на заклание неких несчастных. Это ритуал, а ритуал не может быть «неправильным». Ритуал есть не распавшееся, синкретическое единство истины и блага. Он не обсуждаем, он принимаем с трепетом душевным.

Психологическая ценность репрессии

Для адекватного субъекта репрессия связана с переживанием чувства риска как психологической ценности. Репрессия повышает тонус, провоцирует суицидальные игры репрессивного сознания.

К примеру, власть должна порождать в носителе традиционного сознания трепет. Страх перед властью свидетельствует о правильном порядке вещей, гарантирует мир и спокойствие в обществе. Это наша сакральная власть внушающая подданным «страх Божий». Этот страх обеспечивает устойчивый баланс садо-мазохистских переживаний в психике подвластного, поддерживает нормальный эмоциональный тонус, позволяет осмысливать и переживать мир. Наконец, страх уберегает подвластного от соблазна «грешить», то есть нарушать писанные и неписанные законы. Если же власть не порождает чувство страха – она профанна. В этом случае подданный переживает устойчивый психологический дискомфорт[1]. Мир, лишенный трепета перед властью, таит в себе иррациональную опасность. Сверх всего, лишившиеся «страха Божия» подданные и, прежде всего субъект описываемых нами переживаний, начинают массово нарушать любые нормы и правила. Социальный хаос съедает чувство защищенности. В этой связи живо вспоминается постоянно звучавшее в 90-е годы слово «беспредел». В этом понятии суммировалось традиционалистское переживание мира, утратившего остатки жесткой власти. Заметим, что в двухтысячные годы разговоры о беспределе как-то сошли на нет.

[1] Над Хрущевым и Брежневым смеялись и смеялись зло, ибо эти правители не порождали трепет, в котором жили предыдущие поколения россиян. К эпохе Горбачева уже забылось, что власть должна внушать «страх Божий».

Общий дискомфорт бытия, то есть сравнительно мягкая, не витальная репрессия мобилизует, заставляет работать сознание, жизнь заполняется решением остро насущных проблем, обретает смысл. Снятие репрессии демобилизует, порождает вакуум смысла.

Другой аспект проблемы связан со специфическим, позитивно ценностным переживанием страха. Страх по отношению к субъекту репрессии, то есть власти, переживается как особый способ связи с трансцендентным и сакральным. Это особая коммуникация через страх. Так мы переходим к следующей теме:

Место репрессии в традиционном сознании

Репрессия – существенный элемент социокультурного универсума. Существование номенклатуры наказаний, соразмерных нарушению базовых норм и правил, неотвратимость санкции, всеобщий характер наказаний, не признающий изъятий по соображениям статуса, близости к субъекту репрессии и т.д., конституирует и воспроизводит общество. Как механизм социализации и социального регулирования репрессия существует в комплексе с системой поощрений, убеждением, мягкими формами выражения общественного неодобрения отклоняющемуся поведению (порицанием, рассеянной санкцией). Государство существует постольку, поскольку реализует монополию на легитимное насилие, то есть репрессию. Осуществляя свои многообразные функции, власть действует в контексте существования эффективной системы принуждения. Принуждение граждан к

соблюдению норм и правил – одна из базовых функций государства.

В общем смысле все это достаточно бесспорно. В конечном счете, традиционное сознание говорит о том же самом, но говорит по-другому; и это интонационное и стилевое различие фиксирует иное переживание репрессии. Традиционное сознание трактует репрессию религиозно, переживает ее глубоко личностно (на наш взгляд, здесь сказывается личный, восходящий к раннему детству опыт традиционного человека), гипостазирует репрессию, понимая и переживая ее как космосозидающий фактор, как базовое оснований социального порядка.

Во второй половине XX века из русского языка ушло важное для понимания нашей темы и упоминавшееся выше традиционно-православное выражение «страх Божий». Страх перед Властью земной и небесной понимается и как важнейший канал связи с трансцендентным, и как основной фактор социализации. Здесь репрессия не один из элементов, конституирующих и воспроизводящих социальный порядок, а восходящий к Создателю, то есть имеющий наивысший сакральный статус, стержень человеческой личности и основа социального порядка.

Надо сказать со всей определенностью – традиционное воспитание буквально пронизано репрессией, неотделимо от нее и во многом сводится к репрессии. Разумеется, не все так просто. Существуют ролевые различия. Бабушка скорее жалеет, чем наказывает, поет колыбельные и рассказывает сказки, а если журит, то устно. Но отец как конкретно-чувственное, частное воплощения универсального образа Отца небесного грозен и репрессивен. На то он и отец. Когда типичная российская мать в ситуации семейного конфликта с детьми на повышенных тонах взывает к мужу: «Сделай что-нибудь, ты же отец!» – можно быть уверенным: мать не ожидает серьезного разговора, анализа ситуации, убеждения. Выпороть надо и все тут. Иными словами, отношения с

отцом – это отношения, в которых репрессия, физическое воздействие вплетается в самые интимные семейные связи, сплавляется с близостью, любовью, привязанностью.

Мы не вполне отдаем себе отчет в том, что поротый в детстве переживает репрессию совершенно иначе, чем не поротый. Переживает глубоко лично, если угодно интимно, как неотъемлемый элемент бытия. Эти порки уже ушли в прошлое, стали одним из конституирующих личность переживаний. Приняв данную от рождения культуру, человек принимает насилие как универсальную характеристику социального космоса. Отсюда резкая неприязнь к не поротым и отторжение идеи общества, построенного не на репрессии.

Репрессия, физическое насилие, лежащее в опыте детства, оказывается значимым атрибутом сакрального, а значит универсального и всеобщего. Существование каких-либо изъятий из практики репрессии не только оскорбляет чувство справедливости, но посягает на сакральный статус власти земной и небесной. Перед репрессией все равны. Это как Божий Суд. Изъятие некоторых категорий из пространства всеобщей репрессии или снижение уровня репрессии в отношении этой категории – свидетельство испорченности мира.

Отсюда неугасимая народная любовь к главным российским тиранам – Ивану Грозному и Иосифу Сталину, которые обрушивали свои кары на всех и особенно на бояр. Любопытно, что в частных беседах идеологи традиции дружно отмечают поведение своих героев в духе римского сенатора Брута. «Грозный, вон, сына убил за то, что он отцу перечил. Сталин тоже сына не пожалел, и на фашистского маршала не поменял». Что же говорить о князьях и воеводах. В этой системе представлений вопроса вины не возникает. Кто Богу не грешен, царю не виноват? А всякий «большой человек» априорно и сугубо виновен тем, что стал «большим человеком», принял скверну государства, вошел во власть, отказался от

Опонского Царства. Сверх всего прочего, репрессии по отношению к большим людям переживаются эсхатологически, как предвестие снятия государства и наступления всеобщего братства[1]. Заметим, что с этих позиций, осуждение Ходорковского работает на власть. Равенство всех в страхе Божьем – важнейшая характеристика «правильной» власти.

В отношении к репрессии наиболее выпукло проступает репрессивный характер отечественной культуры. Репрессия раскрывается как сложно формулируемая, но исключительно важная космосозидающая субстанция. Любопытно, что в вопросе сохранения репрессии в России объединяются достаточно разные люди. Князь Щербатов и Победоносцев оказывается в одном лагере с авторами «Вех». Мотивы, по которым поддерживают репрессию, могут различаться. Здесь видятся два полюса. С одной стороны – принципиальная верность репрессии как системообразующей российского космоса. С другой – реалистическая оценка стадиальных и качественных характеристик традиционалистского населения. Мы имеем в виду страх перед догосударственной стихией, мирно, как симбионт, дремлющей в порах российского космоса, но временами активизирующейся, вырывающейся наружу и сметающей государство и цивилизацию.

В контексте этих соображений репрессия воспринимается как сила, способная сдерживать хаос и анархию на всех уровнях. Надо признать: русская культура характеризуется высоким уровнем хаоса и имманентными тенденциями хаотизации. Высокий уровень репрессии обусловлен этим фундаментальным обстоятельством, о чем много и развернуто писал А. Ахиезер. Что же касается традиционного сознания, то оно живет в убеждении, что только репрессия защищает русский мир от страшного лика хаоса. Стоит снизить уровень репрессии, и

[1] Подробнее см: *Яковенко И.Г.* Культурные аспекты механизмов и социально-психологические источники массового террора // Мир психологии, 1998. № 3. С. 215 –247.

хаос поглотит все. Обсуждение отмены или смягчения наказаний всякий раз рождало жаркие идеологические баталии. Обращаясь к истории телесных наказаний в дореволюционной России, А. Покровская пишет: «Много говорилось о спасительном страхе, вызываемом тяжкими телесными наказаниями, всякая попытка их смягчения встречала крики ужаса за погибшую общественную безопасность»[1].

В носителе традиционной культуры сидит запрос на репрессию и модель репрессивного поведения, которая мгновенно актуализуется в экстраординарных обстоятельствах. Обратимся к конкретному примеру.

В Вестнике Архива президента РФ за апрель 2010 г. приводится записка председателя КПК при ЦК ВКП(б) М.Ф. Шкирятова на имя И. Сталина и членов Политбюро от 29 октября 1942 года. В этой записке содержится стенограмма выступления Алексея Толстого на совещании писателей в Алма-Ате. Среди достаточно пространных рассуждений маститого советского писателя содержится примечательный эпизод. Рассказывая о партизанском движении, Толстой упоминает «зеленых». Так называли отряды из советских граждан, созданные немцами для борьбы с партизанами. Зеленые были хорошо вооружены, но боевой дух этих частей был крайне низким. Иллюстрируя градус ненависти к предателям, Толстой пересказывает эпизод, услышанный им от генерал-полковника НКВД П.А. Артемьева, который был свидетелем ужасных событий. Генерал сказал следующее: «Когда мы окружили группу человек 120, то я отошел, не хотел смотреть, что с ними сделают». А сделали с ними следующее: пленных раздели догола, связали руки сзади, пропустили по нескольку человек на одну жердь и подвесили эту жердь. Потом им отрезали пенис, уши, нос, потом вырезали ремни из кожи, потом оставили висеть в лесу, чтобы их клевали птицы.

[1] *Покровская А.Ю.* История телесных наказаний в российском уголовном праве. М., 2004 // www.bestreferat.ru/referat-78716 html

Вывод Алексея Толстого: «Вот до какой ненависти доходит народ к немцам и предателям»[1]. По размышлениям здравым о народе в данном случае говорить сложно. Отряды, которыми командовал генерал Артемьев, создавались из кадровых сотрудников НКВД. С другой стороны, в отряде могли быть окруженцы, то есть – собственно народ. Поведение генерала также осмысленно. Людям, которые совершают такое, терять нечего, и путей для отступления у них нет. В тылу врага «морально-политическое единство» вверенных тебе бойцов важно как нигде. А поскольку это очевидное преступление, противоречащее любым внутренним и международным нормам, лучше отойти в сторону, предоставив вершиться народному гневу.

Задумаемся о другом. Трое-пятеро не могли сделать этого с группой в 120 человек. Палачей было столько же, либо число их было соизмеримо. Кроме того, есть основания полагать, что никто из партизан не мог уклониться от участия в расправе. Тут уже работают законы распределения коллективной ответственности. Толстой рассказывает о достаточно громоздком и трудоемком деле. Расстрелять безоружных пленных проще и быстрее. Существовали какие-то мотивы, подвигавшие партизан к совершению такой казни своих противников.

Более того, существовали самые веские основания не делать этого. Низкий боевой дух «зеленых», очевидно, был связан с осознанием моральной ущербности их позиции и страхом (страхом неправедного деяния, и страхом ответственности). После описанного эпизода любому «зеленому» оставалось выбирать: срочно дезертировать из части или стоять в бою до последнего. Даваться врагу живым было бы безумием. В следующем бою с «зелеными» подчиненным генерала Артемьева некого будет подвешивать на жердях и некогда. Им предстоит хоронить своих товарищей.

Иными словами, нечто заставляло этих людей делать вещи не только бесчеловечные, но опасные, противоречащие здравому смыслу и инстинкту самосохранения. Мы имеем дело с мощной императивной силой. Когда задумываешься о таких эпизодах, возникает ощущение того, что соприкасаешься с метафизическим источником зла.

[1] Вестник Архива президента РФ. 2010. Апрель.

Однако метафизическое лежит в пространстве религиозно-философского дискурса. Здесь есть что сказать, оставаясь в границах наук о человеке. Приведенные в рассказе Толстого пытки и сама их последовательность красноречивы. Все это восходит к глубокой архаике, символизирует лишение несчастных статуса мужчины, магическое лишение потомства, уничтожение в Роде. Требовалось срочно заклясть враждебные силы хаоса, обернуть удачу в свою пользу, стать обладателем духовной энергии жертв. Все это отсылает к воинским ритуалам варварских племен, которые реконструировал и изучал в частности Мирча Элиаде. Перед нами феномен, выражающий стадиальные и качественные характеристики отечественной культуры.

От описываемых событий нас отделяет 70 лет. Комфортнее всего полагать описанное страшным эпизодом из прошлого. Нам остается содрогнуться и быстро забыть, вытеснив кошмар очередной сенсацией. Беда в том, что это не история. «Мемориал» и другие правозащитные организации, отслеживающие происходящее на Северном Кавказе с 1995 года, могут рассказать много интересного на близкие темы. И уж совсем непозволительное прекраснодушие полагать, что в случае возникновения экстраординарной ситуации в самой России мы не столкнемся с подобными эксцессами.

Репрессия и Стокгольмский синдром

Можно бояться и ненавидеть сущность, вызывающую страх. Мы же говорим о другом сочетании эмоций – бояться и любить. Страх Божий фиксирует религиозный статус верующего. Русская женщина, с доверительной улыбкой говорящая любимому человеку:

«Я тебя боюсь», фиксирует одновременно и интимную близость с ним, и подчиненную позицию. Трансцендентное и сакральное должно вызывать страх. На наш взгляд этот эмоционально-ценностный комплекс формируется в детстве. Репрессивно-патриархальное воспитание сплавляет воедино страх и любовь. Существенную, возможно ключевую роль в оформлении, осмыслении, закреплении данной традиции сыграла церковь.

Нам представляется, что отношение традиционного человека к репрессивной власти нельзя понять без обращения к феномену *стокгольмского синдрома*. Стокгольмский синдром – психологическое состояние, возникающее при захвате заложников, когда заложники начинают симпатизировать захватчикам и даже отождествляют себя с ними. Термин возник в 1973 году, в связи с захватом заложников в Стокгольме. Надо отметить, что на практике заложники не просто симпатизируют, но активно отождествляются с террористами, женщины влюбляются в них. Иногда между жертвами и террористами завязываются устойчивые отношения, которые продолжаются после теракта. Явление попало в круг общественного внимания. Объяснения, даваемые психологами, представляются частичными и не удовлетворяют. Ценность данного феномена для исследования нашей темы состоит в том, что здесь моделируется предельно выраженная ситуация абсолютной власти одного человека над другим. Террорист обладает оружием и волей убить любого заложника в любой момент. Государство, которое существует где-то «там» за стеной, помочь не может. Более того, штурм несет опасность гибели заложников. Заложники – абсолютно беспомощны, террористы – абсолютно всесильны. Мы получаем экспериментальную, лабораторно чистую ситуация предельного уровня репрессии.

Наше объяснение таково: практическая беспомощность и витальная опасность требуют психологического разрешения. Любовь снижает мое собственное

субъективное переживание страха. Раз я его люблю, он менее опасен. Любовь включает механизмы эмпатии у другой стороны. Здесь мы сталкиваемся с тем, что называют магией любви. Перед нами магическое уподобление объекту любви, попытка создания общей эмоционально-психологической целостности. Я растворюсь в нем, а он – во мне. Это древний как мир способ влиять на Другого.

На наш взгляд стокгольмский синдром – актуализация древнейшего социально-психологического инстинкта, реакции на критически высокий уровень репрессии. Этот инстинкт затухал по мере снижения уровня репрессии в западном мире. Острая актуализация рассматриваемого психологического феномена в драматических обстоятельствах обратила на себя внимание именно потому, что общество, в котором зафиксирован синдром, далеко ушло от пароксизмов репрессии, и данный феномен поражает западного человека. А для людей, переживших сталинский террор и просто внимательных читателей «Архипелага ГУЛАГа» А. Солженицына, здесь нет ничего удивительного.

Истоки (или биологические основания) амбивалентного отношения к субъекту репрессии

Вообще говоря, проблема корней амбивалентного отношения к субъекту репрессии далеко не проста. Отношение к тому, что вызывает страх всегда эмоционально насыщено и редко однозначно. Вспомним об амбивалентном отношении к смерти. Сущность, вызывающая страх, занимает особенное место в сознании человека. Иначе и быть не может. То, что вызывает страх, исходно связано с витальной опасностью. Одним страхом дело не ограничивается. Объекты, вызывающие страх, рождают эмоции, устремления, побуждают к действию.

Можно бояться и ненавидеть предмет страха, презирать его, бежать, всячески дистанцироваться, минимизировать контакты. А можно бояться и обожать, стремить-

ся по возможности не попадаться на глаза, но не отходить слишком далеко. Испытывать особое чувство при лицезрении шатра владыки, особую гордость избранного, от сознания того, что ты живешь рядом и т.д.

Обращаясь к этой теме, стоит вглядеться в наши собственные реакции, например, при просмотре телепрограмм, посвященных миру животных. Сюжеты о милых и трогательных травоядных – зайчиках, антилопах, гиппопотамах вызывают интерес и будят добрые чувства. Однако этот интерес не сопоставим с тем вниманием, которое вызывают сюжеты из жизни львов, тигров, пантер, ягуаров, и даже пространственно близких нам волков. Здесь мы сталкиваемся с нескончаемым, ненасытным интересом, смотрим эти сюжеты с каким-то восторгом, восхищаемся силой, мощью и скоростью хищника, умиляемся щенкам и котятам. В основе описываемой эмоциональной устремленности лежит генетический страх. Перечисленные хищники были стратегическим противником предшествовавших человеку прегоминид. Это положение сохранялось в ходе антропогенеза и оставались таковым до конца палеолита.

В. Дольник, автор интересной книги «Вышли мы все из природы. Беседы о поведении человека в компании зверей и детей», пишет о том, что адаптивным для раннего человека было особое отношение к перечисленным хищникам. Здесь смертельный страх и восторг сплетались воедино. Надо было все время наблюдать за тигром или львом, появившемся в поле зрения, не упускать его из виду, ибо, в противном случае, ты погибнешь[1]. На наш взгляд, субъект витальной репрессии переживается по сходной модели. Субъекты витальной репрессии это – родители для малого ребенка, монотеистический Бог, традиционная сакральная Власть.

Заметим, что архаическая магия сплошь и рядом говорит о перевоплощении человека в тигра, льва или волка. В своих устремлениях архаический человек мечтал

[1] *Дольник В.Р.* Вышли мы все из природы. Беседы о поведении человека в компании зверей и детей. М., 1996.

слиться со смертоносной силой. И эти практики старше идеи Рая, в котором нет места злу, насилию и смерти. Являясь живым существом, человек неотделим от страха смерти. Витальная репрессия пребывает в этом базовом пространстве человеческой психики.

ГЛАВА V
КУЛЬТУРА РЕПРЕССИВНОГО ОБЩЕСТВА

Насилие как один из языков культуры

Вообще говоря, любое человеческое действие, любой поведенческий акт имеет коммуникативное измерение. Оно может быть определенным образом проинтерпретировано. Возьмем типичную ситуацию: интересная женщина приходит на работу в новом, элегантном костюме. Коллеги начинают обсуждать – что бы это могло значить: она желает показать, что ее муж теперь хорошо зарабатывает, или стремится обратить на себя внимание нашего нового сотрудника?

Репрессия – один из древних, устойчивых и семантически определенных языков культуры. Используя этот язык, Власть разговаривает с подвластными. Когда разбойников с большой дороги вешают на виселицах, стоящих подле дороги, это – послание разбойникам и обществу. Когда сажают строптивого оппозиционного политика, или закрывают газету, или высылают из страны неугодного журналиста – мы также сталкиваемся с посланием обществу. В равной степени посланиями являются помилования, облегчение участи осужденного, прекращение судебного преследования, не применение репрессии в случае, очевидно требующем наказания и т.д.

Репрессия может быть избирательной и в этой избирательности содержится определенное послание. Любопытно, что репрессия как язык культуры используется не только во внутренней, но и во внешней политике. В ходе второй Пунической войны Ганнибал, грабивший и разорявший Италию, запретил своим войскам трогать поместья, принадлежавшие римскому диктатору Квинту Фабию Максиму. Цель этого – попытка скомпрометировать Фабия[1].

[1] *Ливий*, 22, 23, 4.

Заметим, что тактика Ганнибала оказалась успешной. Вскоре после того, как карфагенские воины обошли стороной это поместье, Квинт Фабий Максим продал его, а вырученные деньги потратил на выкуп попавших в плен римских легионеров. Поступок делает честь Квинту Максиму, но очевидно и внутриполитическое измерение события. Диктатор расстался с поместьем, оскверненным провокацией Ганнибала, и показал обществу, что свобода родины для него дороже собственности.

В апреле 1986 года в ответ на взрыв дискотеки в Западном Берлине американская армия нанесла ракетный удар по резиденции лидера Ливии Муамара Каддафи. Американцы использовали крылатые ракеты, бившие по точно намеченным целям. Одновременно с дворцом Каддафи удару подверглись казармы гвардии (опора режима, личная охрана лидера Джамахирии), но не расположения армейских частей в столице страны. Американская печать справедливо указывала в те дни на то, что такой выбор объектов военного поражения содержал в себе послание к ливийскому обществу и армии.

В обыденной практике репрессия сплошь и рядом работает как маркер значимости некоторой ситуации, значимости высказывания, сопровождаемого репрессию, приказ или распоряжение. В этом аспекте репрессия – знак «Внимание!», фиксирующий важность момента, весомость и серьезность предшествующего или сопровождающего репрессию сообщения. Крик, ненормативная лексика, подзатыльник, пощечина, зуботычина – обозначают статус ситуации. Перед нами древний, восходящий к природным моделям и достаточно универсальный феномен. Достаточно посмотреть на то, как ведет себя собака со щенками, или лев с львятами. Заигравшиеся львята прекрасно ориентируются в ситуации по рыку льва. Также и дети по тембру родительского голоса схватывают ранг ситуации.

Если репрессия соразмерна, прогнозируема, закреплена в законе и процедуре – все более или менее по-

нятно и ожидаемо. В репрессивной культуре насилие пронизывает собою все, и в результате описанная семантика репрессии смазывается либо просто утрачивается. Когда любая коммуникация – мат и оскорбительная скандальная интонация, то утрачивается возможность формирования шкалы значимостей (серьезная интонация, угроза наказания, легкий подзатыльник и т.д.). Человек, выросший в высокой репрессии, оказывается не в состоянии воспринимать какое-либо сообщение, приказ, просьбу, не подкрепленные репрессией. Про таких людей говорят: «Пока не рявкнешь, или не дашь в морду – не понимает».

Много лет назад моя бабушка (человек, проживший треть своей жизни до 1917 года) рассказала дореволюционный анекдот, который представлялся ей забавным:

На перроне сидят мужики и ждут отправления поезда. Кондуктор объявляет:

– Господа, поезд отходит через пять минут.

Мужики между собой:

– Це не нам. Це панам.

Проходит время. Кондуктор объявляет:

– Господа, поезд отходит через три минуты.

Мужики:

– Це не нам. Це панам, – и сидят дальше.

Кондуктор потерял терпение и кричит:

– Суккины дети. Сейчас поезд тронется. А ну садитесь.

– О, о це – нам.

С точки зрения носителя либеральных ценностей история эта представляется трагической и пронизана безнадежностью. Однако она прекрасно иллюстрирует природу культурно-психологического типа, формируемого репрессией. Для человека, сформировавшегося вне описываемой традиции, общение с подобными людьми исключительно тягостно.

Человек репрессивной культуры видит мир через призму репрессии, легко прочитывает любую конкретную репрессию, активно использует язык репрессии в ситуациях, где он выступает субъектом репрессивного действия. Соответственно, он утрачивает адекватность, выходя за рамки традиционно репрессивного универсума.

Репрессия и бытие.
Проблема осмысления

Репрессия не просто присутствует в жизни любого общества, но и осознается, переживается, получает идеологическое обоснование, включается в картину мира, формирует массовую психологию, отливается в культуротипе. Выше мы стремились показать, как репрессия вплетена в ткань отечественной социальности и культуры.

Обратимся к традиционному пониманию бытия. Мы имеем в виду соотношению категорий «бытие» и «страдание». Такие феномены как высокий ценностный статус страдания, мифология «претерпевшего», убеждение в универсальности насилия, пронизывающего собою все измерения жизни каждого человека. Гностическое убеждение о том, что мыкать нам всем горе до гробовой доски, бытовой аскетизм, фаталистическое безразличие к собственной судьбе имеют разные источники и могут находить разные объяснения (ортодоксальное православие, периферийный варварский гнозис, ландшафтно-климатическая и историческая специфика России). Наше убеждение состоит в том, что на формирование названных идейных комплексов существеннейшее влияние оказывала отечественная репрессия. Последняя, в свою очередь, обусловлена социально-культурной целостностью, а, сверх того, опирается на традицию. Выделим в интересующем нас потоке идей положение: жизнь, прежде всего, страдание. Эта идея касается как индивидуального, так и исторического бытия народа.

На свадьбах плакали. Подружки со слезами и жалостливыми песнями провожали невесту, для которой кончилась беззаботная пора девичества в кругу подруг, в родном доме. Теперь ей дорога в дом мужа, под власть свекра и свекрови. На похоронах работали профессиональные плакальщицы, вопрошавшие: «На кого ты нас оставил?». «Отмучился» – как традиционно-православная реплика на известие о смерти человека фиксирует описываемое понимание жизни.

Коллективное историческое бытие структурируется в сознании общества пароксизмами коллективного страдания. Массовое страдание осмысливается и переживается так же, как репрессия. Этот тезис подтверждают развернутые социологические исследования. Исследование исторического сознания россиян, проведенное сотрудниками Левада-центра в 2008 году, включало вопросы о главных событиях XX века. Директор Левада Центра Лев Гудков так комментирует наиболее часто звучавшие ответы: «Все они относятся к легенде о Власти. Ее возникновение (1917 г.), апофеоз (победа в ВОВ – 1945 г.), распад (1991 г.); вот, собственно, и все. Иногда упоминается дублер Победы – полет Ю. Гагарина. В высшей степени интересно сопоставить ответы на тот же вопрос американцев. Для них главные события минувшего века относятся к гражданскому обществу, к техническому прогрессу, социальному обеспечению, улучшению качества жизни. Американцы называют изобретение автомобиля, электричества, пенициллина, прочтение генома и т.д. У нас же – конспект коллективной истории принципиально бесчеловечной. Почти по Библии: глад, мор и войны»[1].

Низовое сознание не разделяет кары небесные, властную репрессию, судьбу. Все едино: страдания пронизывают собой жизнь и составляют ткань этой жизни. Существенно то, что идея тождества бытия и страдания не несет в себе какой бы то ни было проблемы. Как пишет А. Суслов: «Принятие насилия как необходимого условия жизни и ее неотъемлемой характеристики свойственно обычному русскому человеку»[1]. Перед нами априорная истина, не только вытекающая из глубинных оснований отечественной культуры, но подтверждаемая всей целостностью жизненного опыта массового человека. В этом контексте жесткая репрессия и ожидаема, и естественна, и закономерна. Она также самоочевидна и беспроблемна, как ветрянка у малого ребенка, весенний дождь или старость. Ее надо принимать, к ней можно приспосабливаться, от нее нельзя уйти.

[1] Радио «Свобода» 02.11.2008 г. 14.00.

Культура хамства

При всей очевидности, понятие «хамство» описывает достаточно сложный социокультурный феномен. Определения «хамства» страдают описательностью. Как отмечают специалисты – понятие это достаточно размыто и зависит от культурного уровня людей, вступивших в контакт[2]. Реальность окружающего нас мира свидетельствует об исключительной устойчивости хамства и о широчайшей сфере распространения этого явления. Как говорил Сергей Довлатов, «хамство тем отличается от грубости, наглости и нахальства, что оно непобедимо, что с ним невозможно бороться, перед ним можно только отступить»[3].

Достаточно задаться вопросами – почему существует, воспроизводится и торжествует хамство? Какие социальные функции оно выполняет? – чтобы осознать, что наивная просвещенчески-прогрессисткая мифология (низкий уровень культуры, людей надо просвещать, придет время и хамство исчезнет) несостоятельна. Хам-

[1] *Суслов А.А.* Феномен насилия в русской сказке // Известия Томского политехнического университета. 2009. Том 315. Вып. 6. С. 111 – 113.

[2] См: *Ефремова Т.Ф.* Новый словарь русского языка. Толково-словообразовательный. ГРАМОТА-РУ (2001 – 2002).

[3] *Сергей Довлатов.* Это непереводимое слово «хамство». // *Он же.* Сочинения в 4-х томах. СПб, 2004. Том 4. С. 127.

ство связано с сущностными основаниями отечественной культуры и воспроизводится постольку, поскольку выполняет в этой культуре жизненно важные функции.

Феномен хамства неразрывно связан с человеческим достоинством. Идея достоинства онтологизирует человеческую личность. Осмысливает факт выделенности отдельного человека из синкретического целого традиционного универсума. Наделяет ценностью и смыслом *отдельную* человеческую жизнь. Освящает самостояние человека, придает ему высшую религиозную санкцию.

Хамство – специальный социокультурный механизм противостояния процессам утверждения человеческого достоинства. Идея неотъемлемых прав, присущих каждому по факту рождения *человеком,* в том числе право на самоуважение и уважение со стороны других, представляет собой качественную альтернативу культуре хамства, которая выступает подсистемой традиционной культуры. Хамство деятельно утверждает ничтожность объекта хамской агрессии.

Иными словами *хамство* – это *форма психологической репрессии,* перманентно подавляющей тенденции становления отдельного человека и разворачивания универсума личности. Подавление личностного начала – одна из магистральных функций русской культуры. Хамство деятельно отрицает претензию на достоинство, не связанное с данным властью статусом «пастыря», либо со старшинством в системе патриархальной культуры, заданным гендером, возрастом, социальным положением (отец семейства). Оно является механизмом поддержания традиционно сословного общества и деятельной стратегией противостояния перерождению этого общества в сообщество равных и независимых индивидов.

Хамство может быть изжито только с окончательной деструкцией доличностной, активно противостоящей процессам утверждения отдельной личности традиционной культуры. Мера модернизации сознания жестко связана с мерой утверждения ценностей личности.

Пропорционально росту личностного сознания падает способность человека к хамскому поведению, в том числе и в самых стрессогенных ситуациях. Что же касается традиционного человека, которому выпало жить в эпоху размывания традиционного мира, то для него хамство оказывается естественной поведенческой стратегией.

Феноменология хамства необозрима. Хамство предстает как универсальный способ подтвердить/возвысить свой статус и снизить статус собеседника. Как способ подтвердить вечные, неизменные характеристики космоса: «Неча выкобениваться. Все мы живем в дерьме, и именно так будем жить дальше». Как способ выражения своего отношения к миру: «Всё говно и все говно».

Есть хамство бытовое, хамство «на людях», хамство по отношению к нижестоящим. Хамство превентивное по отношению к новому человеку. Просто так, на всякий случай, чтобы боялся, в порядке заявления доминирующего статуса. Хамство в рамках пьяного куража. Можно вспомнить экзотический феномен особой, дозированной хамской дерзости любимого придворного в разговоре с владыкой. Формы выражения хамской агрессии многообразны. Это – слова, жесты, интонация, оскорбительные знаковые действия (плевки под ноги, кукиш, задирание подола и т.д.).

Если не иметь в виду художественного выражения и рутинных порицаний, о хамстве написано на удивление мало. Российская мысль пасует перед данным явлением, что объяснимо. Причина не только в ценностных барьерах и мифах интеллигентского сознания, отказывающегося признать органический характер хамства. На путях понимания явления обнаруживаются гносеологические и экзистенциальные барьеры. Хамство – неотъемлемый феномен дорефлексивной традиционной культуры. Для носителя этой культуры *проблемы* хамства не существует. Оно нормально и единственно возможно; это рутинный элемент воспроизводства целого. Человек, берущийся осмысливать явление, принадлежит внешнему по

отношению к традиции пространству. Для него хамство не органично, не вырастает из природы актуальной культуры. Он не постигает, для чего нужно хамить, какой смысл в хамстве. Отсюда интеллигентский лепет – низкая культура, тяжелая жизнь, плохое образование, агрессивная среда и т.д. Для постижения хамства требуется позиция этнолога и антрополога.

Вне осознания общекультурной телеологии, феномен хамства непостижим. Цитированный выше Довлатов пишет о том, что Владимир Набоков не мог объяснить американским славистам суть непереводимого русского слова «хамство». Сам Довлатов отмечает, что прожив десять лет в Нью-Йорке так ни разу и не столкнулся с хамством. Все правильно. Хамство существует для поддержания традиционно-сословного, социально неравного общества и подавления тенденций к размыванию этого мира через формирование мира автономной личности. Подлинно демократическая, отрицающая сословно-статусное неравенство культура, выстроенная вокруг ценностей автономной личности, не может содержать блок, противостоящий личности и человеческому достоинству. Говорить с американцами о хамстве – все равно, что объяснять кролику, в чем прелесть охоты на мышей.

Хамство – одни из существенных механизмов воспроизводства русского космоса. Мы можем предположить, что в традиционном сословном обществе то, что мы называем «хамством», было одним из механизмов воспроизводства универсума и поддержания социальной структуры. В эпоху исторической динамики, задающей отступление и деградацию традиционного мира, оставаясь механизмом поддержания традиционного универсума, хамство обретает генеральную функцию противостояния процессам распада традиционного целого.

Поскольку хамство есть форма репрессии, оно попадает в поле нашего рассмотрения. Обозначив природу явления, указав на место феномена в окружающей нас

реальности, мы вынужденно ограничимся эскизными зарисовками отдельных проявлений этой специфической приметы отечественной реальности. Подчеркнем, явление неизмеримо шире наших зарисовок. Оно заслуживает самого серьезного и вдумчивого отношения.

Стилистика общения:
Статусные игры, хамски-холуйский стиль

В традиционно-репрессивном обществе социально-значимое общение (не приватное, не случайное) задается статусами его участников. Эти статусы могут быть равными, более или менее соотносимыми и очевидно разными. Надо различать ситуацию, когда участники общения знают и признают присущие им ранги, и ситуацию, когда взаимосоотнесение статусов не признается сторонами или не выяснено.

Начнем с последней ситуации.

Статусная неопределенность или отсутствие консенсуса сторон по поводу статусов друг друга создают поле для особого типа взаимодействия участников. Назовем его *статусные игры*.

Здесь можно выделить несколько вариантов:

Человек завышает свой статус, а соответственно располагаемый им ресурс репрессии. Можно завышать его слегка, а можно мистифицировать слушателей «по полной программе». Классический пример такой статусной игры демонстрирует диалог мнимого ревизора в бессмертной пьесе Н. Гоголя.

Люди меряются статусами. Здесь ситуация может разворачиваться многообразно.

Вариант первый: наступающая сторона объективно обладает некоторыми статусными возможностями, но ее оппонент убежден, что этих возможностей недостаточно для воздействия на него.

События разворачиваются следующим образом: наступающая сторона заявляет свой статусный приоритет, а значит претензию на положение субъекта репрессии

по отношению к противной стороне. Ответ оппонента сводится к выражению «руки коротки». Резоны такие – «я тебя не ниже, за мной стоят силы, которые тебе не по зубам, я не в твоей юрисдикции, не посмеешь» и т.д.

В качестве примера приведем переписку испанского посланника при российском дворе с аристократом, подданным испанской короны:

Синьеру дону Франциско де Миранда

Высокочтимый сеньор!

Узнав, что Вы представились при здешнем дворе в качестве графа де Миранда, состоящего на службе короля, моего государя в чине полковника, полагаю необходимым потребовать от Вас предъявления удостоверивающего сие патента или документа. Предупреждаю, что в противном случае приму меры к тому, чтобы вы впредь не носили упомянутую форму.

Да хранит Вас Господь многие лета.

Остаюсь Вашим преданным и покорным слугой.

Педро де Маканас.

Дону Педро де Маканасу.

Высокочтимый сеньор!

Я нашел бы способ рассеять Ваше недоверие или удовлетворить тщеславие, если бы в своем вчерашнем письме Вы добивались этого более уместным и пристойным образом. Угроза, которой Вы заканчиваете, столь же смехотворна, сколь и груба, и достойна презрения Ваша манера выражаться, которую Вы можете позволить себе лишь с теми, кто имеет несчастье находиться у вас в подчинении.

Да хранит Вас Господь многие лета

Остаюсь Вашим преданным слугой

Ф. де Миранда[1].

[1] *Альперович М.С.* Франсиско де Миранда в России. М., 1986. С. 104 – 106.

Эта переписка датируется концом куртуазного XVIII в. В современную эпоху все проще. Подобный диалог сводится к двум базовым репликам:

«Я тебя в бараний рог согну» – «Накося, выкуси».

Другой вариант той же самой игры состоит в следующем: стороны конфликта плохо осведомлены о статусных возможностях друг друга. Здесь начинается прощупывание другой стороны, мелкие атаки, выяснение реакции. Пробные репрессии заявляют претензию на более высокий статус, но делается это сравнительно мягко и по частному поводу.

Чтобы читатель понял, о чем речь, представим себе расхожую ситуацию: В областном центре появился новый игрок в бизнесе. Кто за ним стоит, и что это за птица не известно. На него надо слегка «наехать». К примеру, прислать проверяющего из пожарного надзора и посмотреть, что будет. Если за ним стоят крупные силы – отъедим. Скажем, ошибка вышла.

3. Последний вариант игры встречается реже всего. Она состоит в том, что носитель высокого статуса существенно занижает его, провоцируя вторую сторону на некорректное либо незаконное поведение. Подлинный статус заявляется в тот момент, когда жертва уже «согрешила». В России в такую игру играют носители высших статусов. Русские цари переодевались в платье простонародья, секретари Обкомов, узнав о поступлении дефицита, заходили в магазин и просили у продавцов именно этот товар и т.д.

Эта игра провокационная, в которой играющий обречен на выигрыш, поскольку репрессия включается по факту нарушения писанной, но никем не выполняемой нормы.

Хамски-холуйский стиль

Если же статусы участников взаимодействия различаются достаточно существенно и это обстоятельство

признано сторонами, разворачивается общение, характеризующееся особым хамски-холуйским стилем[1]. Здесь в зависимости от ситуации, общей культуры и темперамента сторон разворачивается диалог, отличительная особенность которого состоит в том, что принципиальное неравенством сторон находит свое выражение в стилистике общения. Словарь, речевые конструкции, интонации, манера поведения, позы, движения рук, возгласы, похлопывание по плечу, обращение к собеседнику – все это разнится.

Поощрительный, покровительственный или издевательский, барственный смех – доминанта – как небо от земли отличается от заискивающего хихиканья маленького человека. Начальственное «ты (любезный)» – от почтительного «Вы». Начальственный мат, крик, угрозы вообще направлены только в одну сторону – сверху вниз. В этой ситуации случаи симметричного ответа исключительно редки, запоминаются, их рассказывают, о них вспоминают через десятки лет.

Хамски-холуйский стиль примечателен тем, что ролевые и стилевые стандарты приняты обеими сторонами. Причем, сторона подчиненная зачастую демонстрирует холуйскую стилистику истово и самоотверженно, не обращая внимания на доминанта, которого может коробить холуйство. Здесь вспоминается русская классика, рассказы А.П. Чехова – «Толстый и тонкий», «Смерть чиновника».

Мы говорим об универсалии, присущей всякой репрессивной культуре. Прежде всего, это следует из общих соображений: статусная дистанция между субъектом и объектом репрессии должна объективироваться в акте коммуникации. Об этом развернуто свидетельствует история мировой культуры. Автор наблюдал описанную выше феноменологию в Турции, в республиках Средней Азии. Цивилизационная специфика иная, но суть та же самая.

[1] Понятие «хамски-холуйский стиль» ввел в оборот Л.С. Васильев. Характеризуя культуру, для которой естественен хамски-холуйский стиль, Васильев отмечает, что типичный носитель этой культуры выступает хамом по отношению к нижестоящему и холуем по отношению к вышестоящему.

А как быть с Западом? Почему англичанин спокойно, с чувством достоинства говорит с королевой? Выше мы уже писали об укорененности в бытии, о неотчуждаемых статусных атрибутах, о неотъемлемом самоуважении. Но эту ситуацию можно описать и в базовых терминах нашего исследования. Дело в том, что король, президент или губернатор *не являются неограниченным субъектом репрессии*. Они – исполнители закона. И если я не нарушаю этого закона, то у меня нет оснований для трепета при виде владыки.

В этом месте неизбежно вспоминается история с прусским королем Фридрихом Великим. Король захотел прикупить участок земли, примыкающий к его поместью. Мельник, владеющий этой землей, отказался ее продать. (В этот момент я предлагаю российскому читателю представить себя на месте мельника, и ответить себе на вопрос – насколько ему в этой ситуации уютно?). На угрозу отчуждения спорной земли силой, крестьянин воскликнул: «У нас еще есть судья в Берлине». Король ты или не король, а частная собственность священна, суд независим от высшей власти, и традиции судопроизводства позволяют быть уверенным в справедливом решении[1]. Здесь начисто отсутствуют базовые предпосылки хамски-холуйского стиля.

Заметим, обращаясь к современному российскому материалу, мы описываем специфику стиля в начале *четвертого века модернизации*, а, значит, и вестернизации России. В Московском царстве хамски-холуйская стилистика, не замутненная привходящими обстоятельствами, демонстрировала классические вершины. Вестернизуя страну, Петр I запретил наиболее одиозные формулы и ритуалы демонстрации холуйского самоуничижения,

[1] Надо полагать, к этой историей восходит немецкая пословица: «Есть судья в Берлине» – которая в принципе лишена каких-либо аналогов в отечественной словесности.

соответствовавшие московской традиции. Описанные запреты касались элиты и распространялись на дворянство. Народная же среда и дальше воспроизводила традицию веками. Так, в начале XX века Николай II посетил императорский фарфоровый завод в Павловске. Современники событий записывали примечательный эпизод: в момент отъезда царя отдельные, пожилые работники мануфактуры подбегали к карете и целовали колеса экипажа. Понятно, что никто рабочих к этому не провоцировал. То было движение души.

Что же касается элиты и дворянской среды, то и там классические, восходящие к зоосоциологии, формы самоуничижения умирали медленно и неохотно. Вот записки современника: «Стал свидетелем сцены, характеризующей нынешний дух нации: какой-то офицер в форме явился к князю поговорить о служебных делах < … >, но прежде чем начать разговор, пал ниц и пытался поцеловать ему ноги, что князь, стесняясь моего присутствия, ему запретил и даже отчитал его. Офицер изложил свое дело, князь удовлетворил его просьбу, и тот снова бросился на землю и стал целовать ему ступни, икры, все, до чего мог дотянуться. Какие тут к черту республиканские идеи и свобода! Видел также как бедные женщины, когда мы с королем проезжали мимо на лошадях, падали ниц, уткнув лицо в землю и обхватив голову руками»[1]. События разворачиваются в 1786 году на территориях, отошедших к России после первого раздела Польши.

Этот эпизод можно сопоставить с наблюдением Павла Судоплатова. Здесь требуется предисловие. В конце 40-х годов, в рамках политики дестабилизации южного фланга НАТО, советское правительство поддерживало и спонсировало курдское сепаратистское движение. Эта работа находилась в поле служебной компетенции генерала госбезопасности Павла Судоплатова. Однажды ему пришлось присутствовать на совещании полевых командиров с лидером курдского сепаратистского движения – Мустафой Барзани. Произошло следующие: когда Барзани вошел в комнату, лидеры партизанских формирований пали на колени, поползли к Барзани и принялись лобызать его сапоги. Судоплатов примечательно комментирует этот эпизод: «Тут я подумал, что говорить о социалистической республике Курдистан пока рано»[1]. Генерал не ошибся, социалистический Курдистан не состоялся и поныне, но нас интересует другое. Как видим, классическая репрессивная культура формирует ритуалы самоуничижения, обязательные для всех, в том числе и для элиты. Общение с носителем высшего статуса требует предельного самоуничижения. Описанный генералом ритуал придумали не курды. Он родом из Османской империи.

[1] *Альперович М.С.* Указ. соч. С. 119.

Отвлечемся на минуту от магистрали нашего размышления и зададимся вопросом: почему приведенная сцена вызывает чувство глубокого отторжения у современного человека, ориентированного на ценности динамики. Ну, испачкали брюки, ну, не гигиенично лобызать сапог. В конце концов, и чудотворную икону целуют. Здесь что-то большее. В данном случае мы сталкиваемся с чистым случаем культурной инверсии. Лобызание властного сапога обрело статус символа изжитой и отринутой стадии исторического развития. В таких случаях акты и практики, символизирующие отринутое, становятся омерзительными, вызывают чувство гадливости, превращаются в объект априорного отторжения.

Перед нами табу. А в основаниях любой, в том числе и самой древней по своему происхождению табуации лежит инверсия. Однажды нормальная практика (инцест или людоедство) табуируется и отторгается априорно, а вместе с нею отторгается некоторая стадия исторического развития человечества. Ритуалы, в которых животные низших рангов принимают позы подчинения доминанте и демонстрируют иерархический порядок в стае, широко представлены у млекопитающих. Сегодня накоплена масса видеоматериалов, позволяющих каждому

[1] *Судоплатов П.* Разведка и Кремль. М., 1992. С. 194.

увидеть эти кадры. Практика лобызания прямиком восходит к зоосоциологии, уходит своими корнями в пространство до антропогенеза. От человеческой культуры здесь идея вертикали. Сапог – ее подножье. Целующий сапоги фиксирует собственную диспозицию по отношению к властителю. В руку или в щеку властителя целуют стоящие всего на одну ступень ниже, либо равные.

Только вступление в процессы модернизации снимает наиболее одиозные с нашей точки зрения формы холуйского самоуничижения для элиты, а также оскорбительные формы репрессии. Подчеркнем, все это касается элиты. Модернизирующаяся власть начинает осознавать, что рабское сознание не компонуется с задачами модернизации. Слой ЛПР (лиц принимающих решения) должен формироваться в иной системе культурной нормативности. В противном случае невозможно сформировать человеческие качества и культурные навыки, необходимые руководителю. Мы говорим о субъектности, которая предполагает способность анализировать ситуацию и принимать решение, минимально необходимый уровень внутренней независимости и т.д. Холуй, в принципе, лишен субъектности. Он может лебезить перед высшим и компенсаторно тиранить низшего, но не может выступать субъектом адекватной координации усилий подчиненных.

Репрессия и диалог

Репрессивная культура по своей природе исключает диалог как общественно значимое событие. В ходе диалога должны высказываться различающиеся позиции, иначе это не диалог, а гроб повапленный. Но как могут вступать в диалог носители разных статусов? Всякое противоречие доминанту заслуживает репрессии.

В одном из ранних номеров журнала «Континент» автору запомнился примечательный пассаж о методах ведения принципиальной дискуссией в Советском Союзе: идеологический противник выступил с антисоветской статьей. Оппонент возразил ему – «Три года»[1].

[1] Для читателя, незнакомого с реалиями советского общества понятно: в виду имеется срок заключения, как санкция за написание статьи.

Ирония автора понятна, но он описал классическое поведение иерархии в репрессивном обществе. Иначе такое общество просто рассыпится. Репрессия оказывается естественной и единственно возможной реакцией на действия, которые прочитываются как идеологическое противостояние.

История России демонстрирует расширение пространства диалога на этапах деструкции системного целого – когда системообразующие связи рвутся и перестают работать, и последовательное сужение этого пространства на следующем этапе – когда начинается самовосстановление российского целого. Причем, время подъема диалога совпадает с упадком возможностей государства реализовать политику репрессии. Укрепление репрессии строго увязано обратно пропорциональной зависимостью с увяданием дискуссии. Есть репрессия – нет диалога; нет репрессии – есть диалог. Для того, чтобы верифицировать это суждение достаточно вспомнить историю XX века. Февраль 1917 – репрессия пала, диалог всеобщий. Весь Санкт Петербург – большой Гайд-парк. Остальная страна то же. Далее по мере восстановления традиционного государства и роста репрессии убывало и деградировало пространство диалога. Перестройка и постсоветская эпоха демонстрирует ту же логику.

В репрессивной культуре диалог – событие внутриэлитное. Причем, диалог здесь разворачивается в достаточно жестких тематических и идеологических рамках. Он происходит за закрытыми дверями в узком кругу элиты по поводу тех или иных аспектов, лежащих в сфере служебной компетенции субъектов диалога. Далее, это диалог равностатусных, заслуживших право на собственное мнение[1].

[1] Здесь возможно и обсуждение общих тем. В том числе и достаточно опасных. Все зависит от меры взаимного доверия и чувства грани, которую нельзя переходить ни при каких обстоятельствах.

Народ может дискутировать в границах допустимых тем. Здесь вспоминается рассказ В. Шукшина, написанный в семидесятые годы прошлого века. Герои этой истории, живущие в глубинке чудики, на фоне дежурной бутылки ведут спор – семь или восемь колонн в колоннаде Большого театра.

Широкий общественный диалог по поводу актуальных, значимых тем в данном случае невозможен принципиально. Это означает, что полноценная система механизмов обратной связи в таком обществе не существует. Феноменология обратной связи в традиционно репрессивном обществе такова: мнимое непонимание, придуривание, волынка, как способы неисполнения нежелательного, бегство людей с земли, так называемый «бунт на коленях», когда скопом изъявляют покорность, но есть дьявольское зелье (картошку) отказываются, челобитные, жалобы, письма в ЦК и «лично товарищу Сталину», общее возбуждение традиционалистской массы причудливыми слухами, пророчествами эсхатологического толка и, наконец, знаменитый русский бунт. Вот, пожалуй, и все. Отслеживая общественные настроения, компетентный руководитель фиксирует изменения объемных характеристик практики волынки или челобитных и принимает адекватные меры (послать сотню казаков и выпороть задуривших мужиков или сместить зарвавшегося капитана-исправника). Но к диалогу это отношения не имеет.

Описанные феномены распадаются на три группы:

стратегии уклонения от исполнения нежелательных постановлений и распоряжений власти (субъекта репрессии);

челобитная или верноподданный вопль к власти с призывом войти в бедственное положение людишек и отменить, изменить что-то конкретное, лежащее в компетенции адресата;

признаки брожения традиционного общества, предшествующие его дестабилизации и бунту, то есть аффективному стихийному сопротивлению. Отметим, что

бунт – единственная форма действенного сопротивления, данная традиционному обществу, переживающему власть как сакральную сущность и воспитанному в высокой репрессии.

Модернизация порождает другие формы диалога:

закомуфлированное идеологическое противостояние власти в литературе, искусстве, прессе, университетах;

верноподданная критика власти, реализуемая в тех же сферах;

террористическое движение, создание нелегальных структур, ставящих своей целью смену политического режима и присущая этим феноменам нелегальная литература – прокламации, журналы и т.д. Здесь необходимо пояснение: теракт всегда есть послание, обращенное к власти и обществу[1].

Традиционно репрессивное общество дестабилизирует инкорпорирование форм парламентской демократии, предполагающих свободу печати, формирование политических партий и гражданского общества, а все эти реалии порождают традицию открытой общенациональной дискуссии. В результате включаются механизмы самоорганизации устойчивого целого, и описанные политические реалии снимаются, либо превращаются в пустую форму. Опыт начала XX – рубежа XX–XXI вв. показывает, что время срабатывания механизмов самоорганизации российского целого составляет около десяти лет[2].

Культура конфликта и стилистика массового общения

Проблема диалога примыкает к проблеме конфликта. Вообще говоря, конфликт позиций, интересов, взгля-

[1] Подробнее см.: *Яковенко И.Г.* Время изживать терроризм // Дружба народов. 2004. № 1. С. 147 – 156.

[2] Подробнее см: *Яковенко И.Г.* Политическая субъектность масс. Культурологический аспект политической жизни в России. М., 2009.

дов и убеждений – нормальный и неустранимый момент в жизни любого общества. В каждой культуре складываются присущие ей механизмы осознания конфликтов, поведения в ситуации конфликта, их институционализации, разрешения, осмысления и т.д. В этом отношении характерны агрессия и насилие как доминирующая стилистика поведения в конфликте массового российского человека, который, в общении с равными по статусу, реагирует на конфликт агрессией и угрозой репрессивных действий. Тут сказывается и манихейская доминанта сознания, и представление о насилии как универсальной социальной технологии и рефлексы варварского этоса.

Существуют другие, неизмеримо более продуктивные стратегии поведения в конфликте. Самая эффективная состоит в том, что стороны конфликта совместно анализируют возникшую ситуацию и добираются до истоков – ценностных установок, интересов, позиций, оценок ситуации. Часто возникшее недоразумение достаточно проговорить для того, чтобы ситуация снялась сама собою. Если же это не так, анализ рационализирует ситуацию, выявляет базовые установки, принципиальные позиции, снимает эмоциональный запал, позволяет соотнести овчинку и выделку. Одним словом, вводит происходящее в разумное русло. В высшей степени примечательно то, что такая стратегия поведения абсолютно не характерна для нашего соотечественника. Подобное поведение – знак «не нашего» человека. В подавляющем большинстве случаев в рамках конфликта наблюдается агрессия и встречная агрессия. Видимость обсуждения таковым не является. Объективное, но не лестное квалифицирующее суждение воспринимается как оскорбление. Массовый человек не различает негативную оценку и ругань. В конечном счете, люди как-то приспосабливаются друг к другу и разрешают конфликтные ситуации. Но это происходит на дорациональном уровне, скрыто от осознания субъектами действия, а потому не подлежит анализу и не позволяет извлекать уроки. В массовой

культуре не обретаются пристойные, лежащие за рамками хамской агрессии, модели поведения в конфликте.

Тот, кому доводилось наблюдать разговор спившихся бомжей, не мог не отметить исключительно высокий уровень грубости и агрессии. Интонация крика и скандала тотальна. Все проблемы осознаются в стилистике скандального противостояния, угроз, ответных угроз и бахвальства. Здесь нам слышится доведенный до крайности стиль общения самых широких масс. Прислушайтесь к тому, что происходит вокруг: на улицах, в транспорте. Посмотрите на это свежим взглядом и вас поразит хамская интонация в общении молодых матерей с ребенком. Парней с девушками и девушек с парнями. Подростков, детей старше семи лет. Только малолетки, общаются сравнительно мирно и пристойно. Однако стоит ребенку перейти порог выхода из группы малышей, и мы сталкиваемся с агрессивностью, хамством, наступательной злобностью, бахвальством.

Репрессия и агрессия даже не порождают друг друга, а предстают как два лика одной сущности. Спонтанная агрессия, часто на совершенно пустом месте, как реакция на репрессию, в том числе и превентивная, выскакивает как черт из табакерки в самой неожиданной ситуации. Либо ты объект, либо ты субъект репрессии. Агрессия – заявка на статус субъекта репрессии. Она может быть чисто вербальной, не подтверждаемой реальными возможностями (физическими, психологическими, статусными). Мы имеем в виду базарный галдеж, пустые угрозы. Такой тип агрессии часто демонстрируют дети, и это указывает на базовый характер традиционного сценария.

По свидетельствам психологов и социологов общий уровень агрессивности в России выше, чем у соседей. Высокая агрессивность и последствие, и маркер репрессивного общества. Агрессия как ответ на возможность перманентной репрессии, готовность к агрессивной мобилизации, всеобщая неприязнь друг к другу взаи-

мосвязаны. Заметим, как легко происходит мобилизация общества по отношению к объявленному внешнему врагу. Все это – выражения высокого уровня общей агрессивности. Она растворена в воздухе и овеществляется, актуализуется в любой форме и по любому поводу.

В основаниях описанной нами феноменологии лежит широкий комплекс причин. Мы перечисляли эти причины выше в связи с другими формами агрессии. Выделим принципиально хамскую позицию, отказывающую в уважении к кому бы то ни было кроме вышестоящих. Доминирующая репрессия с необходимостью рождает агрессивность, возникающую как реакция на репрессию.

Культ жертвы

Мы любим смерть, Америка любит жизнь.
В этом – большая разница между нами.
Усама Бен Ладен

Репрессивная культура рождает *культ жертвы*. Заметим, что жертва во имя родины, семьи, близкого человека, детей, профессии – один из самых распространенных сюжетов отечественной культуры.

Здесь жертва понимается как высшее проявление, как акт самоосуществления человека. Сила высказывания Бен Ладена состоит в том, что он последовательно и бескомпромиссно отрицает высшие ценности антирепрессивной культуры и утверждает высшие ценности культуры репрессии. На уровне постулирования последних ценностей спор не возможен. Смерть – последнее, высшее выражение репрессии. Для того, кто дорогу в Рай видит через предельную репрессию, любые соображения, вырастающие из альтернативной ценностной системы, утрачивают смысл. Более того, стремление к смерти во имя базовых ценностей своей культуры постулирует преодоление исходного биологического импульса, то есть обретение свободы от страха смерти.

Бекграунд этого явления и феноменология близких проявлений чрезвычайно широки. Здесь окажутся и презрение к боли и страданиям как добродетель мужчины-воина. И универсальная традиция ритуальной жертвы. И самооскопление жрецов Кибеллы. И христианские мученики за веру. И исламские секты, практиковавшие ритуально-экстатическое самобичевание. И умерщвление плоти аскетами во всем мире. И отечественные скопцы, и практики членовредительства в отечественных тюрьмах, и многое другое.

Установка на жертвенность, нравственная и религиозно-мистическая ценность страдания, страдания по собственному выбору – вещи если не универсальные, то представленные широко в истории человечества. Однако нормативно-ценностный статус этих феноменов различается от культуры к культуре. Дилемма формулируется просто: самопожертвование – героический поступок, результат собственного выбора, свидетельство врожденной предопределенности (аскета-мистика) или культурная норма, на которую ориентирует каждого «правильного» носителя данная культура.

Вопреки мифологии, формирующейся в лоне репрессивной культуры, в культурах, ориентированных на альтернативу репрессии, нет недостатка в героях и готовности к самопожертвованию во имя высоких целей (родины, близких, религиозных убеждений, политических принципов и т.д.). Вспомним хотя бы полковника Штауфенберга и аристократа Рауля Валенберга. Можно обратиться к примеру хронологически более близкому. Самые обычные люди, случайно оказавшихся на борту самолета, захваченного террористами 11 сентября 2001 года и потерпевшего катастрофу в Пенсильвании – пассажиры рейса 93, пошли на штурм кабины пилота, погибли вместе с террористами, но сорвали атаку на Капитолий. Культура этого типа осмысливает подобное поведение как героический поступок.

В репрессивных культурах установка на жертвенность выражена максимально. Здесь можно говорить о

культе жертвы как отдельном явлении. Человек, жертвующий своей жизнью во имя сакральных ценностей, есть идеальный персонаж, на подвиг которого культура ориентирует каждого «верного». Кроме того, существует жертвенная жизненная позиции, которая предстает как культурная норма. Это – разные вещи. Не все могут возвыситься до подвига Александра Матросова, не всем и дается такое испытание. Но поступиться своей самостью, пожертвовать чувствами, пристрастиями, увлечениями, отступиться от себя, пожертвовать собою во имя близких и дальних – вот долг «нашего» человека.

В истории кинематографа зафиксирован любопытный феномен – в дореволюционную эпоху один и тот же сюжет снимался в двух вариантах развязки: «хеппи энд» для западного зрителя и несчастливый конец для отечественной аудитории. Мы сталкиваемся здесь не только с репрессией. Однако для тотально репрессированного человека жертва и несчастливый конец некоторой коллизии – естественный метонаратив, органичный способ понимания и переживания Вселенной.

В этой связи можно вспомнить любимый многими поколениями наших соотечественников русский романс. В романсе предмет лирического высказывания сплошь и рядом – трагедия, разлука, крах надежд и упований. Если от городской культуры перейти к народной, то в массиве русского фольклора обнаружится огромный, впечатляющий объем песен трагических по настроению: рекрутские, плачи, песни рисующие картины смерти, разлуки, недоли и т.д.

Атаман узнает – всех пересчитает,
Всех пересчитает, позабудет про меня.

Эти песни – самые популярные, исполняемые, любимые. Мы уж не говорим о трагических вывихах XX века: о тюремной и лагерной лире. Погруженный в пространство перманентной репрессии человек переживал себя в модусе жертвы.

Веселая оперетта со счастливым концом пришла к нам с Запада и осталась локальным явлением. По свидетельствам современников, оперетту любили непманы, и эту аудиторию ожидал совсем не счастливый финал, что символично.

Пафос антидостижительности.
Модельность «лузера»

К культу жертвы примыкает близкое по смыслу явление: неудачник. Традиционный типаж отечественной галереи – неудачник (неудачник в конкретных обстоятельствах и неудачник в целом «по жизни») – воспринимается как вызывающий симпатию позитивный персонаж. Русская культура позитивно оценивает лузера. «Мои года – мое богатство» – в этих строчках советской песни сливаются и антимещанский пафос («пусть ничего я не нажил»), и презирающий жизненные блага социалистический аскетизм. Кроме того, помимо всех советских смыслов, отечественная культура предъявляет здесь типический, массовый персонаж «правильного» человека. Правильный, «наш человек» под конец жизни ничего не наживет. А иначе и быть не может: «От трудов праведных не наживешь палат каменных». Неудачник – наиболее типичный массовый человек, сформированный в лоне репрессивной культуры. Законы самоорганизации этой культуры требуют позитивной оценки и поэтизации неудачника.

Здесь нам открывается одна из граней традиционной отечественной реальности. Культура, характеризующаяся высоким уровнем репрессии, всегда *антидостижительна.* Это отличает ее от культуры, центрированной на поощрении, которая выстраивает целый мир достижительных ценностей[1]. Разумеется, речь идет не о причинно-следственной связи между репрессивностью и антидостижительной установкой, а о жесткой корреляции. Причины носят комплексный характер. Традицион-

[1] Достижительные ценности характеризуются высоким уровнем притязаний, ориентацией на успех, обогащение, карьеру.

но-сословное общество не может ни быть антидостижительным: «Всяк сверчок знай свой шесток».

Модельный статус лузера – существенный аспект традиционного сознания. Его антипод осмысливается как деляга, ловчила, беспринципный карьерист. Слово «карьерист» само по себе несет негативные коннотации и предполагает грязные мотивы и кривые пути делания карьеры. Идеальные мотивы, талант, трудоспособность как факторы карьеры или любых иных достижений не рассматриваются. Эти аспекты личностного существуют в пространстве служения высоким целям и соответствуют жизни подвижников, светочей мысли, народных заступников и других позитивных персонажей традиционного пантеона. Все, что относится к достижительным ориентациям, само по себе негативно. Притязания и амбиции – грех. Их надлежит стыдиться и маскировать идеальными мотивами.

Надо сказать, что традиционная антидостижительная установка давно уже противостоит серьезному давлению альтернативной ценностной позиции. В истории XX века трижды наступали эпохи больших перемен (1917 – 1927; 1935 – 1945, 1991 – 2000), когда массы амбициозных людей кидались в поток исторической динамики в надежде на успех. При этом целые социальные категории поднимались наверх и делали стремительные карьеры[1]. Далее советская культура включала в себя социалистический извод достижительности (в духе: «Перед нами все двери открыты», «Дорогу молодым» и т.д.). Впрочем, в послевоенные десятилетия эта риторика воспринималась как пустая форма. Но стоит появиться первым признакам вожделенного для традиционного российского сознания застоя, как блокирующие динамику и постулирующие неизменность социального космоса антидостижительные настроения всплывают на поверхность.

В то же время, само понятие «неудачник» указывает нам на конфликт ценностей. Нормативность неудачника осталась, но рядом с нею живет оценка этого нормативированного поведения как неудачного. Культурное сознание расслаивается. Неудачник – «наш человек», но приставка «не» к пленительному слову «удача» несет в себе двойственность оценки, какую-то смысловую и ценностную зацепку. В контексте этих наблюдений в высшей степени характерно вхождение в современный русский слова «лузер», аксиологически чисто негативного. Заметим, языку потребовалось новое слово, ибо «неудачник» традиционно нагружен позитивными коннотациями. Лузер всех этих смыслов лишен. Он безнадежен. Для людей использующих данное слово, лузер – полюс растождествления. Обращение к языку позволяет фиксировать тончайшую динамику ценностных систем.

[1] Правда, через десять лет стремительная карьера могла закончиться попаданием в мясорубку.

С начала девяностых годов в российском обществе разворачивается жесткое противостояние достижительных и антидостижительных ориентиров. Длительное сосуществование этих ценностных позиций невозможно. Одна из них будет маргинализована.

Нищета как ценность. Аскеза

Один из устойчивых журналистских штампов состоит в противопоставлении неисчислимых богатств нашей страны – земли, леса, поля и горы, полезные ископаемые, чистая пресная вода и т.д. – и всеобщей бедности, бедственной жизни большей части общества. Все так, мы живем в культуре эмпирически бедного общества. Ответ на вопрос: «Почему?» – обескураживающее простой: традиционно-редистрибутивное общество может поддерживать существование масс только на нищенском уровне. Это задано как уровнем экономической эффективности, так и онтологическими характеристиками бедности и богатства. *Возникновение широкого слоя состоятельных людей разрушает традиционно-редистрибутивное целое.* Об этом свидетельствуют не только законы экономики, но и тысячелетия истории человечества.

В соответствии с законами самоорганизации устойчивые характеристики общества и культуры осмысливаются как ценность. Христианский канон дает много положений, позволяющих оправдывать и возвеличивать нищету, а русское православие активно использует эти установки. Как мы знаем, протестантское прочтение христианской доктрины позволяет по-другому взглянуть на проблему бедности и богатства. Потому «там» и формируются богатые общества. Мы же стоим на том, что богатство само по себе греховно.

Традиционным сознанием нищета прочитывается как нравственная ценность. Монах или юродивый лишены всякой собственности. Они не стяжают ничего в этом мире. В подобной системе координат мера состоятельности фиксирует меру отклонения от идеала. Честная бедность добродетельна и почетна. Бедность не исчерпывается скудностью и недостаточностью ресурсов. Бедность – состояние души, определенный образ жизни и культура. Среди основных характеристик устойчивой бедности – аскетизм.

Вообще говоря, аскетизм и аскетика – сложнейшие явления мировой культуры. Здесь своя философия, психотехника, масса аскетических традиций в разных культурах. Исходно аскетизм (от греческого asketes – подвижник) – учение о воздержании, подавлении потребностей, главным образом физических, для достижения нравственного совершенства. Проблематика аскетики связана с ответом на вопросы о статусе «этого», тварного мира, о телесном. Предполагает осознанный выбор соотношения между побуждениями, идущими из глубины телесно-природного, и ценностями духовного порядка, которые понимаются как иноприродные телесному.

Аскетические движения и практики представлены в истории античности. Однако для античного мира аскетика была сравнительно маргинальным явлением. Незадолго до времени Христа наблюдается оживление аскетических настроений. Некоторое количество аскетических сообществ появляется в восточном Средиземноморье. Христианское понимание природы бытия задало иной культурный статус аскетизма. Средневековый аскетизм предполагал принесение в жертву земного ради небесного, сведение к минимуму всех земных целей и забот, уменьшение роли человеческой плоти в жизни человека, сдержанность в изображении богатства и многообразия земной жизни. Осуждал влечение к наслаждению любыми радостями жизни.

Коммунистический аскетизм основывался на приоритете будущего, совершенного общества над существующим, призванным быть лишь ступенькой на пути к коммунизму. Аскетизм пронизывает жизнь традиционных коллективистских обществ. Для них он гармоничен и являет единственно возможную стратегию выживания. Соответственно, культуры индивидуалистические чужды аскетизма.

Обобщая, зафиксируем: аскетизм – идеология бедности. Установка на добровольное самоограничение наделяет бедность высоким нравственным измерением: «Легче верблюду пройти через игольное ушко, чем богатому попасть в Царствие Небесное».

Аскетическая установка устойчиво коррелирует с ранними стадиями исторического развития. Древний человек имел минимальный набор личных вещей и обходился минимумом, обеспечивавшим биологическое выживание. Рост пространства потребностей и благ задан зрелой цивилизацией. Ориентированный на нетоварное производство российский крестьянин *минимизировал потребление*.

Подчеркнем – всякое потребление сверх минимума не имеет корней в отечественной традиции и репрессируется. Это – опасная блажь, барская манера жизни. Не производить больше с тем, чтобы больше потреблять, а делать минимум и обходиться минимумом. Помимо любой идеологии, за этими установками стоят стадиальные характеристики культуры, отлитые в традиционной

системе ценностей. Тот, кому пришлось сталкиваться с людьми, стоявшими у подножья социальной пирамиды и пережившими страшный XX век, не могли не поразиться минимизацией любых потребностей, умением жить биологическим минимумом, способностью довольствоваться даже не малым, а ничтожным. Если же к этим людям вдруг попадало что-то сверх минимума, оно отвергалось. Старухи, одетые в немыслимые, чудовищные обноски, моющие изуродованные тяжелым трудом руки хозяйственным мылом и балующие себя в праздничный день стаканом чая с сахаром вприкуску и парой грошовых сушек – вот модельный образ носителя традиции бытового аскетизма.

Ни один человек таким не рождается. Такими его делает историческая реальность, заданная отечественной культурой. Здесь мы сталкиваемся не с ситуативной бедностью, а с установкой на нищету как единственно возможное состояние. К чему обновки? Новая одежда нужна молодухе; ей замуж идти. А меня на кладбище и так возьмут. Зачем клеенка на стол? Всю жизнь так жили, и дальше проживем. Какой такой плафон? Лампочка висит и хорошо. Так устроено крестьянское сословное сознание. Автору довелось застать мир доживавших свой век «бывших». При том же уровне бедности, эти старушки создавали совершенно иную среду. Они были причесаны, одежда выстирана и заштопана. То была аккуратная и достойная бедность, а не хаос и грязь нищеты.

Пристальное вглядывание в описываемое явление убеждает, что низовой аскетизм сплавлен с варварством и архаикой и выступает формой противостояния историческому движению, противостояния наступлению цивилизации. Все новое, сверх абсолютно необходимого минимума, то, что меняет жизнь, заставляет двигаться, улучшать что-то, изменяться самому, осуждается как ненужная барская блаж. Низовой аскетизм получил мощное идеологическое закрепление и в традиционном, и в коммунистическом изводе, но опирается он на первобытное, восходящее к неолиту, самоограничение архаического человека, веками балансирующего на грани выживания.

Здесь вспоминается традиционное отношение к богатству вообще и, собственно, к деньгам. Богатство, если оно не есть отражение социального статуса, то есть, меры прикосновенности к Власти земной или небесной, греховно и порочно. Приватное богатство, не полученное из рук Власти – это всегда плохо. Традиционализованное, опривыченное богатство в ряду поколений более приемлемо, нежели ситуация скоробагатея, которая вызывает самое острое неприятие. Богатый должен осознавать свою социально-нравственную ущербность: строить храмы, всячески благотворительствовать в пользу бедных и нуждающихся. Эта благотворительность принимается как должное с комментарием, который сводится к тому, что богатей своих грехов все равно не замолит и до нас – бедных – не возвысится. Причин ненависти к богатству много. Одна из них состоит в том, что в традиционно нищем обществе богатство воспринимается как снятие репрессии. Традиционный человек осуждает разбогатевшего как эмигранта из царства всеобщего мучения. Это сродни советскому отношению к «отъезжантам».

Не менее интересно отношение к деньгам. Деньги – сложнейший социальный феномен, природа и функции которого многообразны. Применительно к нашей теме важно не экономическое измерение, а измерение экзистенциально-личностное. Как известно, деньги это – отчеканенная свобода (Ф. Достоевский). А, как мы помним, свобода размывает репрессивность. В традиционном сознании можно выделить два измерения денег: деньги как субстанция, обеспечивающая биологическое выживание человека (некоторый абсолютно необходимый минимум). В этом аспекте отношение к деньгам абсолютно серьезное. Общественное мнение порицает пьянчугу, пропившего всю зарплату, и жалеет жену, вынужден-

ную идти по соседям занимать до следующей зарплаты. Деньги сверх этого – потенция экономического роста, удовольствия, потребления, престижно-статусного поведения. Денег в этом аспекте традиционное сознание не знает. «Лишние» деньги прячут в кубышку, либо в буквальном смысле изводят, рассеивают по ветру. К ним надлежит относиться наплевательски и по возможности прожигать, демонстрируя профанирующее варварское презрение. Кидать червонцы, портить дорогие вещи, терять их, то есть – «жить красиво». Разрешенное поведение – быстро спустить все лишнее в пьянку, с тем, чтобы обрести чистоту праведной нищеты.

Иными словами, культура блокирует тенденции, ведущие, с одной стороны, к расслоению общества, а с другой – к накоплению богатства, как социальной потенции минимизирующей репрессию. И это объяснимо. Бедный, живущий в неустроенной бытовой среде человек, репрессирован максимально.

Идеологические механизмы десубъективации. Формирование и поддержание авторепрессии

Репрессируемый напряженно переживает свою *объектность.* Чем шире и мощнее репрессия, тем острее переживание себя как объекта мучительного и пугающего воздействия подлинно субъектных сил и инстанций – не важно, личных или безличных: родителей, агентов власти, традиции.

Как отмечалось выше, в традиционных обществах зримыми атрибутами власти являются орудия репрессии – нагайка у казака, посох церковного иерарха, секира охранника носителя высокого властного статуса. Идея состоит в том, что субъект репрессии не подлежит репрессии, по крайней мере, со стороны нижестоящих, а также равностатусных. Он может быть репрессирован носителями более высокого статуса. В обществе, построенном на репрессии, возможны две модальности человека – объект репрессии и субъект репрессии. Внерепрессивные отношения как социально значимые, существенные – не мыслятся.

Убеждение в том, что мир стоит на репрессии составляет *общесоциологический аспект* традиционного мировоззрения. Это убеждение опирается, обосновывается, резонирует с максимой, составляющей *личностный аспект* того же миросозерцания. Суть его в том, что человек и, прежде всего, я сам погряз в грехах. Потому-то и необходимо тотальное, всепроникающее насилие. Как мы помним, репрессивная культура в обязательном порядке формирует авторепрессию. Памятная всем пословица: «Кто Богу не грешен, царю не виноват», зафиксированная в XIX веке, резонирует с зафиксированной в XX веке поговоркой, бытовавшей в одном из государственных ведомств: «Если на вас не заведено дела, то это не ваша заслуга, а наша недоработка».

Соответственно, культуры минимизирующие превентивную репрессию создают предпосылки к формированию субъектного начала в человеке. Чем менее репрессирован человек, тем более он способен формулировать желания и достигать их реализации, самостоятельно ставить цели, осознавать свои интересы и т.д. Все это лежит на пути формирования субъекта. Однажды субъектность осознается, принимается соответствующая субъектности идеология, возникает автономная личность, которая выпадает из исходного культурного космоса и разваливает его.

В соответствии с универсальной логикой самоорганизации, мир высокой репрессии напряженно профанирует свою историческую альтернативу. Протест, убеждение к моральной ущербности, греховности, исторической обреченности и обезбоженности мира, сформированного вне доминирующей репрессии, носит универсальный характер для всех репрессивных культур. В этом отношении показательна знаменитая гарвардская речь Солженицына, в которой нобелевский лауреат темпераментно обличал самодовольство и гедонизм циви-

лизации Запада. Здесь ярко проявилась одна из базовых характеристик гностического мира доминирующей репрессии – безразличие к человеческому счастью.

Мы уже писали о маркере «самодовольство». В этом понятии человек репрессивной культуры фиксирует изъязвляющее его *отсутствие* постоянной и априорной *авторепрессии*. Авторепрессия исходна и неизбывна. Именно из этого пространства нормальный человек, исходящий из самоценности человеческой личности – а это в равной степени относится как к другим, так и к самому себе – видится пустым и греховным.

Всему этому противостоит последовательная идеологическая работа, веками реализуемая на пространствах неправовой репрессии. Существует достаточно широкий слой людей, поддерживающих и созидающих репрессивный космос. Теоретики, идеологи, наставники трудятся на ниве формирования человека, отвечающего базовым характеристикам традиционно восточного общества. Работники идеологических отделов, священники, поэты нагайки, романтики и популяризаторы нравов Русского улуса формируют необходимые ценностные установки, воспроизводят требуемую психологию, рождают новые смыслы, призванные выразить на языке современной эпохи старые, как мир, идеи. Идеологическая работа – существенный компонент репрессивного космоса. Рассмотрим эту сферу деятельности на конкретном примере.

Обратимся к одному из высказываний поэта и публициста Станислава Куняева: «А как подло-продуманно оскорбляют женское естество рекламой пресловутых прокладок. <…> Раз в месяц согласно таинственным законам естества и лунного календаря, разработанного и утвержденного Создателем, женщина приготовляется к мистическому акту зачатья жизни. Се – тяжелый подвиг, требующий внутренней собранности, почти молитвенной сосредоточенности, целомудренной самоуглубленности <…>. А на экранах TV подобное состояние изображается как пустяковый, досадный и почти постыдный недуг, вроде инфекции или насморка, мешающий прыгать, танцевать, «оттягиваться» <…>. Это и есть десакрализация самых что ни наесть священных для всех народов и религий глубин жизни»[1].

Разумеется, никакого «продуманного оскорбления женского естества» нет и в помине. Реклама прокладок, как и рекламируемый товар – западная. Она органична для культуры, акцентирующей вознаграждение. Но вся эта культура видится Куняеву как оскорбление вечной, божественной природы бытия. Как мы помним, советская промышленность ни памперсы, ни прокладки не выпускала, оставляя женщин решать свои проблемы традиционными подручными средствами. Сверх того, традиционное общество табуировало названную тему как предмет всеобщего обсуждения, что само по себе есть форма репрессии. Женщины могли обсуждать специфически женские проблемы в своей среде, с врачом, сообщить мужу. Выход нашей темы в пространство рекламы снял репрессию менструации, которая есть одна из базовых репрессий женщины. Ибо менструация – свидетельство ритуальной нечистоты. Это – универсальное представление, бытующее во многих традиционных обществах. Менструацию рассматривают как свидетельство проклятия, наложенного Небесами на женщину. Даже сегодня в глухих районах Анатолии женщине во время менструации запрещается подходить к мужчине, случается, ее могут побить. Осенью 2008 года правительство Турции было вынуждено развернуть специальную программу просвещения населения турецкой «глубинки». Запрет на прилюдное обсуждение темы менструации – одна из граней традиционной репрессии менструирующей женщины. Растабуирование темы разрушает подчиненную, второсортную позицию женщины и размывает одно из устойчивых пространств репрессии.

А теперь посмотрим, как работает поэт и идеолог традиции. «Таинственные законы естества», апелля-

[1] *Куняев С.* Возвращенцы. М., 2006. С. 91.

ция к Создателю, слова о целомудренной самоуглубленности: все это задает высочайший, сакральный статус традиционной практики. Разрушители ее предстают как пошлые наследники библейского Хама. Здесь мы сталкиваемся с универсальной стратегией культуры – объект противостояния должен предстать как сущность, профанирующая сакральное, и быть увязан с чувством вины. Мир, из которого вымывается репрессия, для Станислава Куняева богооставлен.

Идеологи традиции репрессируют все, что исходит из отдельной человеческой самости – частые интересы, самоуважение, стремление к комфорту, и сакрализуют все, что исходит из надличностных инстанций – Власти, традиции, конфессии, государственной идеологии, мифологически трактуемого народа. Главные добродетели – послушание или покорность, самоотдача и беззаветное служение. А все это – базовые параметры мира, в котором властвует репрессия.

Репрессия интересов как значимый механизм десубъективации

Репрессивная культура выступает мощным фактором блокирования феномена интересов, и эта функция репрессии существенна. Интерес – осознанная потребность человека, социальных групп, государства или любых других социальных общностей в материальных и духовных благах, ресурсах и условиях, обеспечивающих сохранение и развитие конкретной социальной общности[1].

В интересующем нас аспекте данная проблема важна потому, что интерес есть особая форма рефлексии социальной реальности, связанная со стадиальными характеристиками общества и качественными характеристиками человека. Архаическая и традиционная культуры и соответствующий им тип человека *чужды мышления интересами*. Разумеется, они фиксируют наличие/изобилие или недостачу того или иного значимого ресурса. Но, прежде всего, им свойственно осознание ситуации здесь и теперь. Далее, стратегическое предвидение динамики ресурса, умение осознавать отдаленные последствия тех или иных процессов, собственных действий и действий других акторов с точки зрения собственного интереса им не дано. Для архаического человека это практически не возможно. В традиционном обществе появляется узкий слой людей, научившихся осознавать отдаленные последствия тех или иных процессов с точки зрения интересов (личных, групповых, общегосударственных). Данный слой составляет правящую элиту. Умение мыслить интересами – одно из важнейших отличий элиты традиционного общества от массового человека.

[1] Фельдман Д.М. Политология конфликта М., 1998. С. 19.

Распад традиционного целого и автономизация человеческой личности связаны со становлением массового мышления в категориях интереса. Массы отдельных людей осознают свои интересы и начинают видеть мир через призму интересов. Они обнаруживают, что их окружают носители сходных интересов, носители других интересов, к которым они более или менее индифферентны. Наконец, рядом с ними живут носители конфликтующих с ними интересов. Это открытие оказывается отправной точкой формирования новой картины мира, новых механизмов социального взаимодействия, новой политической и жизненной философии.

Процесс нарождения, то есть, осознания частных и групповых интересов как существенного феномена культуры представляет собой важное изменение сознания революционного характера. Автономная личность, человек Нового времени умеет мыслить мир интересами, видит весь социокультурный универсум через призму интересов. Его стадиальный предшественник – традиционный человек – не способен к этому. Здесь мы имеем дело с важным качественным скачком в сознании. Традиционный человек не выделяет себя из целого (ро-

дового, семейного, соседского) и мыслит мир этим целым[1]. Причем, перемен, способных повлиять на интересы «нашего» целого он не предвидит, ибо мир для него по существу неподвижен. Все новости – неожиданные и непредвиденные напасти «по грехам нашим». Личность же видит мир в развитии и научилась понимать, как динамика общества скажется на ее личных или групповых интересах.

Традиционный человек отдает свои силы целому, к которому он принадлежит; а это целое по каналам перераспределения и кооперации усилий обеспечивает его личные интересы. Личность же сама занимается защитой своих интересов. Она освоила навыки формирования ассоциации с другими личностями, исходя из общности интересов, целей, политических позиций и т.д. Проблематика интересов подробно рассматривается в монографии автора[2].

Для нас важно следующее – в традиционном обществе интерес осознан элитой; масса же населения живет до интереса. Мышление интересами не носит академически-познавательного характера. Осознав интерес, человек с необходимостью осваивает широкий спектр способов преследования собственного интереса. Как мы понимаем, интересы бывают частные, групповые, общегосударственные. Формальная телеология элиты, оправдание ее существования – преследование общегосударственных интересов. Этого от элиты ожидает два субъекта – Правитель и подвластные. В реальности элита живет и действует в поле частных, групповых и общегосударственных интересов. В разных традиционных обществах, в разные эпохи различается лишь акцент, мера соотнесенности этих сущностей. Слуга государев, боярин, чиновник работает на себя, отстаивает интересы корпорации чиновников и, наконец, преследует интересы государства. Во все времена встречаются честные люди, отдающие все свои силы «делу». Во все времена они составляют ничтожное меньшинство. В обществах, находящихся на подъеме, своекорыстная компонента если не минимизирована, то введена в разумные рамки. В обществах, переживающих кризис или вступивших на путь схождения с исторической арены, объем своекорыстных интересов в деятельности элиты разрастается до чудовищных размеров, а интересы общественного целого минимизируются. Иначе и быть не может, ибо элите противостоит одинокий Правитель, который сам по себе, без элиты бессилен, а также доличностная патриархальная масса, не способная к эффективной борьбе за свои права, и, в равной степени, неспособная к формированию механизмов общественного контроля за элитой.

[1] Если в его поведении можно обнаружить идею интереса, то это преследование собственного частного интереса в горизонте «своего» целого – рода, семьи, клана.

[2] *Яковенко И.Г.* Российское государство: национальные интересы, границы, перспективы. М., 2008.

Элита не только понимает, в чем состоит ее интерес, но владеет технологиями государства. Она понимает, как трансформировать административную систему, внутреннюю и внешнюю политику для того, чтобы повысить свой статус, доходы, гарантии. Владеет «бумагой», административной процедурой, обладает личными связями и т.д. Традиционный человек лишен всего этого. Государство предстает ему как чуждая и непостижимая сила. В своих взаимоотношениях с государством он бессилен, ибо находится на предшествующей стадии исторического развития. Доступные ему способы реагировать на проблемы – челобитная, глухое брожение, бунт, крестьянская война, бегство за границы государства – стратегически неэффективны. Высшие формы выражения противостояния государству – бунт и крестьянские войны – обречены на неудачу.

Речь о России. В Китае случалось, что крестьянская армия свергала династию, «утратившую мандат неба», и устанавливала нового императора. В результате на не-

которое время снижался уровень коррупции, сглаживалось социально неравенство. Затем разворачивался новый цикл разложения традиционного государства.

Наличие двух качественно различающихся групп общества: освоившей государство, личностно ориентированной элиты и доличностной, догосударственной традиционной массы, представляет собой родовую особенность традиционного государства. Стадиально оторвавшаяся от массы каста правителей веками, из поколения в поколение, извлекает конкурентные преимущества из своего лидирования. Немногие выходцы из низов, способные перейти этот порог, либо инкорпорируются в элиту, либо уничтожаются.

Осознание интересов – существеннейшая компонента механизма индивидуализации, то есть – формирования автономной личности. Правящая элита зорко следит за тем, чтобы быдло спокойно стояло в стойле. Перспектива столкнуться лицом к лицу с широкой массой, осознавшей свои интересы и освоившей государство, означает конец всевластию, схождение с исторической арены, утрату всего нажитого, наконец, перспективу ответственности за конкретные правонарушения.

Традиционная культура репрессирует интересы и это свидетельствует о нормальной работе механизмов самоорганизации, ибо традиционная культура доличностна, а интересы созидают личность, то есть – разрушают традиционный универсум. Традиционная культура принимает как неизбежное зло личностный статус правящей элиты, высказывает инвективы по поводу своекорыстия чиновников и рутинно обличает «неправду мира сего». Главная же забота традиционного мира – противостояние личностному перерождению широкой традиционалистской массы. Традиция противостоит социальному расслоению крестьянского мира, репрессирует социальную динамику, профанирует и демонизирует тип личности, склонный к вертикальной мобильности.

Традиционный человек уверен, что богатство без Нечистой силы не приходит: «Богатому черт люльку качает». Базовое условие социальной мобильности и имущественного роста – переход к мышлению в категориях интереса. Иными словами, как ты осознал свой интерес, так и продал душу Дьяволу. Тут к тебе и пошло богатство. Так мыслит традиционный человек, так понимает мир добродетельный раб.

Чем сильнее уровень репрессивности, тем более подавлена тенденция к осознанию интересов. Забитый человек не способен осознать свой интерес. Его сознание занято сиюминутными проблемами, заботами и напастями. Человек этот постоянно озабочен элементарным выживанием. Для того, чтобы идея интереса проклюнулась в сознании, необходимо многое, но, прежде всего – отойти от грани выживания, а это происходит по мере снижения общего уровня репрессивности.

Рядом с традицией, на ниве противостояния интересу трудятся обслуживающие правящую элиту идеологи власти. Профанирование интереса, противопоставление низменных, шкурных интересов высоким Идеалам, сакральному Должному, заклинания о том, что «наш» человек по своей природе чужд интересов, но предан чему-то невыразимо духовному, обличение «себялюбия» и прославление самоотдачи и самоотречения – постоянная работа идеологических институтов. Заметим, главные объекты растождествления в пантеоне российской традиции – мещанин, обыватель, буржуа – осознали свои интересы и научились их преследовать. Тем они и омерзительны идеологам традиции. Сословие пастырей зорко следит за тем, чтобы предпосылки личностности не проникали в массы пасомых. Здесь социальные интересы верхов и механизмы самовоспроизводства традиционного универсума совпадают.

Проблема элиты

Применительно к репрессивному обществу проблема эта состоит в том, что элита, то есть лица, принима-

ющие решения, должны обладать личностными характеристиками, которые не совместимы с высоким уровнем репрессии на стадии социализации. Субъектный слой репрессивного общества не может быть сформирован из объектов репрессии того уровня, который принят в данном обществе. Отсюда система сословных привилегий для боярства, особые условия воспитания наследственной элиты. Отсюда особая среда, специфический микроклимат, сословная гордость как осознание того обстоятельства, что потомственный элитарий защищен от телесных наказаний и оскорблений действием. Осознание дистанции между человеком элиты и беззащитным смердом, убеждение в том, что эта дистанция носит онтологический характер, свидетельствует о врожденных качественных различиях пастырей и пасомых. Убеждение в том, что тебе по факту рождения выпала функция пастыря.

При всем этом, привилегии элиты частичны и внутренне противоречивы. Нельзя жить в бесправном обществе с чувством защищенности. Элитный статус не давал нерушимых гарантий. Он мог быть проблематизован, пересмотрен, урезан или ликвидирован в любой момент. Это могло произойти как по решению высшей власти, так и в результате интриг, борьбы придворных клик, конфликтов с всесильными фаворитами и т.д. Все это заставляло постоянно интриговать, заискивать и лебезить перед сильными мира сего, расстилаться перед Правителем. Заставляло угадывать мысли и настроения больших людей и подлаживаться под эти настроения. Такая диспозиция не способствует формированию полноценной субъектности и разлагает элиту в интеллектуально-нравственном отношении. Социологический критерий элиты, трактующий эту группу общества как слой, контролирующий важнейшие ресурсы, сохранялся. Однако качественные характеристики слоя, такие как: элементарная порядочность, культура мышления, кругозор, способность к глубокому и трезвому анализу,

независимость суждений, способность к принятию ответственных решений и их реализации, умение отстоять свою позицию и т.д., в традиционном репрессивном обществе всегда страдают.

Здесь возникает парадоксальная ситуация. С одной стороны, высшая власть постоянно, а особенно в критических ситуациях, нуждается в волевых и независимых руководителях, способных ставить интересы дела выше соображений придворной интриги. С другой, такие люди органически противны атмосфере традиционного холуяжа и отторгаются элитной средою. Правители, которые сами порождены данной средой, в некоторый момент начинают видеть в компетентных и волевых руководителях угрозу своей власти, потенциальных претендентов на бонопартистский переворот, источник постоянных внутриэлитных конфликтов. В результате, при первой возможности правители освобождаются от сделавшего свое дело мавра. В отечественной истории хватает примеров, иллюстрирующих эту печальную закономерность. Вспомним о судьбах М.М. Сперанского, отправленного в отставку Александром I, или маршала Г.К. Жукова в послевоенном СССР. Впрочем, бывало и хуже. Талантливый и популярный военачальник, боярин Скопин-Шуйский отравлен неизвестными в эпоху царя Василия Шуйского. П.А. Столыпин убит при крайне подозрительных обстоятельствах, бросающих тень на Николая II.

Элита в репрессивном обществе всегда несет в себе проблему. Та элита, которую рождает эта культура, плоха по объективным характеристикам. Ее эффективность, компетентность, ответственность не удовлетворительны. Механизмы вертикальной мобильности репрессивного общества рекрутируют в элитный слой людей, не соответствующих задачам управления. Атмосфера, система профессиональных и человеческих отношений, формируемая в данной среде, тягостна, морально ущербна и контрпродуктивна.

Случается, что здесь рождаются энергичные и талантливые люди. Однако в силу природы порождающей среды моральные характеристики этих людей пугают. Они фундаментально безнравственны, страдают неуемной жаждой власти, исходят из того, что цель – а цель у них одна: достижение и сохранение высшей власти – оправдывает любые средства. Такие люди несут в себе опасность для Правителя. Если же появляются не только талантливые и работоспособные, но и подлинно моральные люди, элитная среда традиционно репрессивного общества отторгает их на уровне безусловной иммунной реакции.

У проблемы элиты есть и другое – общекультурное измерение, которое оказывается особенно важным в эпоху модернизации. В любом сложно устроенном, гетерогенном обществе работают механизмы социально-культурной дифференциации. Одним из результатов процесса становится формирование элитного уровня культуры. Здесь слово «элита» обретает не социологическое, а общекультурное, нравственное измерение. Элитный уровень культуры характеризуется разработанной картиной мира, широтой кругозора, погруженностью в достижения мировой культуры, личностным началом, нравственным этосом, благородством. Люди, предназначенные для сложных видов интеллектуальной деятельности и наделенные широкими возможностями формирования индивидуальной культурной среды, создают культуру, выступающую эталоном для остального общества. Общество как целое нуждается и в людях элиты, и в формируемой ими культурной среде. Нуждается и в узко прагматическом смысле, поскольку «в самом разгильдяйски-люмпенском обществе кто-то должен работать, причем не только на землеройный работах или лесоповале, но и у сложного оборудования»[1], и в смысле общекультурном.

Элита и элитная культура выступают в качестве эталона и образца. Для успешного развития каждого человека жизненно необходимо, чтобы ему в опыте были явлены не только примеры хамства и холуйства, лени, мафиозной этики, но бескорыстия, неподкупности, творческого горения и нравственного величия. Элита сохраняет стандарты аристократизма (речь, разумеется, не о родословной, а о внутренних свойствах личности). Она формирует моральные авторитеты и явствует миру истину об автономности нравственной позиции.

[1] *Стариков Е.Н.* Указ. соч. С. 224.

В стратегической перспективе высокий уровень репрессии ведет к деградации элиты. Одних уничтожают, других заставляют замолчать, третьих покупают, четвертые сами толпятся в прихожей тирана, предлагая свои услуги. Негативный отбор последовательно ведет к снижению качества элитного слоя. С точки зрения власти элита очищается от смутьянов, но объективно такое «очищение» оборачивается деградацией всего общества, снижением конкурентного потенциала, запускает движение по нисходящей ветви развития.

Насилие над элитой может обеспечить кратковременную мобилизацию общества, лишенного источников альтернативного авторитетного суждения, на цели, сформулированные диктатурой развития. Однако такая мобилизация оборачивается деградацией целого в стратегической перспективе. Здесь – одно из *неразрешимых противоречий репрессивной культуры и императива модернизации.*

Надо сказать, что полноценная элита и элитная культура имеют свойство восстанавливаться. Однако процесс восстановления элиты – длительный и болезненный. Для того, чтобы вырезать и изуродовать элиту достаточно двух десятилетий. А самовосстановление требует как минимум двух поколений, живущих в благоприятных условиях.

Обращаясь к проблеме «элита и власть», мы прикасаемся к одной из важнейших истин, последовательно утверждаемых всем ходом истории, но не менее последовательно отрицаемой российской государственнической и

политической традицией. Мы имеем в виду простейшую мысль: б*езнравственность* не только омерзительна и греховна, она – *неэффективна.* Честность – лучшая политика. Сплошь и рядом безнравственность оборачивается мелкими или средними тактическими успехами, за которыми следуют стратегические поражения.

Выдавив евреев из страны, Испания повысила уровень идеологической целостности общества и цивилизационной интегрированности. Однако с этого момента Испания проваливается в застой и идет к ничтожеству, а Голландия, в которую ушли массы евреев, переживает расцвет. Та же история повторилась с Францией, изгнавшей гугенотов, которые ушли в Пруссию.

Российская государственническая философия принципиально вненравственна. То, что на пользу власти, как ее понимают агенты этой власти и их идеологи, гарантированно благо и необходимо. Бог за нас. Любые грехи во благо России он спишет, лишь бы «цвела страна огромная». Россия была и остается страной Ксеркса. Бедняги не могут осознать, что безнравственная практика оборачивается снижением конкурентоспособности, застоем, распадом экономики, вымиранием населения.

Для того, чтобы принять сказанное выше, надо перестроить всю картину мира. Надо признать, что российская власть не богоравна и над нею не существует некая универсальная инстанция. Признать, что Бог не с Россией, а с истиной. Что мерзости и пакости во имя государства не только неморальны, греховны и преступны, но и губительны.

ГЛАВА VI
Феномен большой репрессии

Большая или генеральная репрессия как системообразующее событие

Как представляется, понятие Большой или генеральной репрессии не нуждается в расшифровке. Генеральная репрессия – чрезвычайное событие, характеризующееся уровнем насилия, резко превышающее устойчивые значения. Большая репрессия ограничена во времени. В ходе Большой репрессии выбивается существенный сегмент общества. Притом, что репрессия охватывает все слои, наблюдается закономерность: самый мощный удар падает на субъектный слой общества. Все слои и уровни элиты, производящие смыслы переживают радикальное «прореживание».

Большая репрессия – событие, конституирующее русский мир и возрождающее его после серьезных переформатирований. Революционные эпохи находят свое завершение в событии генеральной репрессии. После этого космос выстроен, и русский мир окончательно сложился. Важно помнить об эсхатологическом измерении большой русской репрессии. Формирование российской цивилизации завершается в начале эпохи Нового времени. Иван Грозный – начало XVII века. Конституирующее Московское царство событие произошло в 1453 году. Однако, что исключительно важно, вслед за этим на окраине Европы сформировалась средневековая христианская цивилизация. Обстоятельства возникновения и природа доминирующего сознания диктовали эсхатологический комплекс как базовое для традиционного российского сознания переживание истории.

Как мы знаем, эсхатологическое брожение – универсальная реакция традиционного мира на наступление Нового времени и распад Традиции[1]. Крестьянские во-

[1] Подробнее см.: *Яковенко И.Г.* Познание России: цивилизационный анализ. М., 2008.

йны, восстания, сектантские движения, консервативные революции резко упрощают мир, блокируют социально-культурную дифференциацию, актуализуют вчерашние и позавчерашние модели поведения. Общество останавливается, оказавшись не в силах переступить порог, отделяющий Новое время от предшествующих стадий развития. В России ко всему перечисленному прибавляется Большая репрессия, вершимая сакральной Властью в контексте эсхатологических упований. Она – генеральное средство заблокировать наступление Нового времени на территории России.

Телеология Большой репрессии состоит в том, она запускает процесс глубокой архаизации социально-культурной реальности. К сожалению, понятие «архаизация» слабо разработано, особенно в отечественной гуманитарной мысли. Для чуждого культурологических штудий читателя, архаизация может представляться пустой абстракцией. Ясно, что это что-то плохое, но что – не слишком понятно. Между тем, понятие заслуживает самого серьезного внимания. Архаизация есть актуализация смыслов, практик, моделей поведения, психологических механизмов и паттернов, моделей понимания, реакций и т.д., характерных для исторически предшествующих эпох, вплоть до палеолита, который есть лоно формирования архаики.

Природа архаического и феномен архаизации исследуются гуманитарными дисциплинами (антропологи, исследователи мифо-ритуального комплекса, цивилизационисты, специалисты в исторической психологии и т.д.). В отечественной литературе можно назвать монографию В. Хачатурян, посвященную проблеме архаизации к которой мы и отсылаем читателя[1].

Природа человека и, соответственно, природа исторического процесса таковы, что стадиально предшествующие модели бытия (и соответствующие им ментальные структуры) не умирают, а, так сказать, «отодвигаются».

[1] *Хачатурян В.М.* «Вторая жизнь» архаики: архаизующие тенденции в цивилизационном процессе. М., 2009.

На уровне отдельного человека они перемещаются на периферию индивидуального психического, а на уровне общества – на периферию социокультурной реальности: в маргинальные слои, в игровые, детские и юношеские практики, в субкультуру преступного сообщества, в секты и т.д. В особых ситуациях эти пласты исторической памяти могут в тех или иных формах актуализироваться. Распад государства, кризис исторически последующих форм социальности и культуры всегда активизирует исторически предшествующее, отодвинутое на периферию. Мощнейшим фактором актуализации архаики является эсхатологическое томление и истерия, которая охватывает традиционное общество на пороге стадиального перехода к Новому времени. Интересующая нас Большая репрессия создает сильнейший импульс архаизации общества, переживающего этот процесс.

Обратимся к процессам архаизации на уровне индивида, в сфере человеческой психики и ментальности. Здесь нас интересует несколько сюжетов. Опираясь на материалы русской революции 1917 г., Питирим Сорокин анализировал прорыв репрессированных ранее базовых инстинктов и импульсов. Процесс «раскультуривания» может достигать глубокого уровня, вплоть до каннибализма. Причем, подобного рода явления характерны для любого социального кризиса, начиная с глубокой древности[1].

Как известно, легче всего редуцируются те уровни психического и уровни культуры, которые утвердились недавно и слабо закреплены в культурном опыте и органике человека. Большая репрессия работает так же, как и любой глубокий кризис. Мало того, она разворачивается после революций и может рассматриваться как завершающий этап этого кризиса. Культурный регресс неприемлем и чудовищен для человека, сущностно принадлежащего большому обществу и цивилизации, прочно и однозначно вписанного в мир исторического бытия.

[1] *Сорокин П.* Человек. Цивилизация. Общество. М., 1992. С. 274 – 275.

Архаики и традиционалисты, насильственно и частично вписанные в государство, переживают ситуацию регресса совершенно по-иному.

Наше понимание этих процессов состоит в следующем: переход порога табуации болезненен. Сделать «это» страшно и мучительно. Но затем для того, кто «преступил» открывается новая психологическая и онтологическая реальность. В этой реальности человек, прошедший стадию раскультуривания, обнаруживает свою прелесть. Ему комфортно и привольно жить в новом для себя состоянии. Он не только освободился от вчерашних запретов, он *вернулся к себе,* актуализовал закрытые пласты собственной психики. Пращур, спрятанный на дне подсознания, распрямился и встал во весь рост; и это, оказывается, прекрасное чувство.

Не менее интересны процессы редукции сознания. Раскрывая панораму процессов актуализации архаических пластов психики, моделей поведения и видения мира, Хачатурян выделяет измененные состояния сознания, а также феномен «омассовления», превращение индивида в человека толпы.

Измененные состояния сознания – ИСС и их «заменители» (экстатические, трансовые состояния, одержимость) представляют собой неотъемлемую часть религиозно-культурной жизни архаических и традиционных обществ. Глубокие уровни погружения в ИСС, которые описываются как ощущение растворенности в безвременье, потери пространственного местонахождения, «слияние со всем миром» имеют инволюционный характер, неизбежно сопровождаются утратой индивидуальности и способности к рефлексии. Исследователи указывают на то, что помимо метафизических прозрений, ИСС улучшает отношения между людьми, благотворно влияет на эмоциональное состояние, то есть выполняет компенсаторную функцию. Зрелая цивилизация формирует нормальное или бодрствующее состояние сознания, которое оперирует культурными смыслами, характеризующееся субъект-объектным разделением мира, пребыванием человека в физическом времени и пространстве и т.д. Исследователи склоняются к тому, что практике ИСС «относительно близки исторически первые практики развития сознательного»[1]. Первобытный человек воспринимает мир как всеохватный. Его сознание лишь иногда поднимается из океана бессознательного и вновь погружается в него. Это касается не только глубокой архаики. Специалисты говорят о «плавающем сознании», характеризующемся трудноуловимыми выпадениями в ИСС из бодрствующего состояния. Прежде всего, это касается детей и стариков, но присуще и всем остальным людям. Рассмотрев проблему ИСС, Хачатурян делает вывод, что измененное состояние сознания «характеризуется максимально возможным (но далеко не полным) освобождением от культуры и субъектности, развитие которых составляет доминанту исторического процесса»[2].

Это очень важный вывод. Мы исходим из того, что степень стадиальной погруженности в мир цивилизации будет задавать меру объемной соотнесенности нормального, органичного для данного человека пребывания в бодрствующем и в измененном состояниях сознания. Человек, принадлежащий зрелой цивилизации, по преимуществу пребывает в бодрствующем состоянии, архаик и традиционалист – в разных модификациях ИСС.

Большая репрессия вожделенна и целительна для деспотической власти. Она конституирует и утверждает традиционно-архаическое целое не как главенствующую, но как единственно подлинную реальность. Фиксирует культурный космос, переживающий кровавый ритуал массового жертвоприношения, бесконечно поднимает статус сакральной власти. Но почему деспотам или претендентам на статус деспота удается запустить процесс Большой репрессии? Ведь это делается руками десятков тысяч людей, которые позже станут жертвами процесса самоуничтожения.

---

[1] *Хачатурян В.* Указ. соч. С. 57.
[2] *Хачатурян В.* Указ. соч. С. 60.

Последняя Большая репрессия прошла сравнительно (по историческим меркам) недавно и оставила множество свидетельств. Осмысление этих материалов позволяют полагать, что репрессия формирует эмоционально-психологический климат, который способствует выпадениям в ИСС, поощряет данную ментально-психологическую стратегию. Кроме того, репрессия способствует упоминавшемуся выше «омассовлению», превращению индивида в человека толпы. По справедливому замечанию Хачатурян, феномен омассовления можно рассматривать как вариант ИСС.

Наше понимание состоит в том, что архаики и традиционалисты, насильно вовлекаемые в мир модернизирующегося государства, который требует от них противостоящего их органике пребывания в бодрствующем состоянии, бессознательно, наощупь будут стремиться к любым изменениям социокультурной реальности в направлении, которое обеспечит доминирование вожделенного для них измененного состояния сознания. Большая репрессия формирует именно такую диспозицию. Она целительна для традиционалистов и архаиков, насильно втянутых в чуждую им реальность. Происходит не только большое упрощение, но возврат к психологическому состоянию, исторически предшествующему актуальному: к правильному и безусловному миру детства. К ясности и глубинной защищенности, которая, казалось, была необратимо утрачена. Деспотический режим, раскручивающий маховик репрессии, обретает мощнейшую подпитку снизу, которая позволяет преодолеть сопротивление элиты.

Современники событий, пытающиеся выразить дух этой страшной эпохи, рисуют мир, погруженный в сумеречное, призрачное, отчасти бредовое сознание. Это и есть образ вчера еще рационального мира, переживающего погружение в дорациональное и довербальное, палеолитическое сознание.

Большая репрессия на полную мощность запускает механизм Стокгольмского синдрома. Любовь и иррациональная преданность власти разгоняются до фантастических значений. Она же рождает иррациональный ужас и окончательно десубъективирует не только массового человека, но практически каждого. Только глубинно модернизированный человек, сохраняющий ясность ума в любой ситуации, способен противостоять иррациональному ужасу и вырабатывать некоторую рациональную стратегию в соответствии со своими принципами в этой трагической ситуации.

Великий откат психологически комфортен и целителен. Архаики – люди довербальные. Им не дано выражать свое отношение в связном дискурсе, но своим нутром, спинным мозгом они чувствуют – это та самая, наша, правильная жизнь, комфортное, органичное самоощущение, правильный мир.

Завершая данный исследовательский сюжет надо сказать, что условия разворачивания Большой репрессии снимаются вместе с вымиранием архаика и традиционалиста. Когда эти социкультурные категории превращаются в меньшинство, Большая репрессия становится невозможной.

Механизмы, запускающие Большую репрессию

Вторая половина двадцатого века подарила нам феномен посмертной мифологизации Сталина. Люди старших поколений помнят, как расколола советское общество хрущевская десталинизация. В 70-е годы XX века на фоне брежневского официоза, осторожно реабилитировавшего великого вождя, росла народная тяга к Сталину. Надо сказать, что в 70-е окончательно ушло поколение, помнившее жизнь «до того». Общество состояло из честных «совков», для которых имя Сталина звучало совсем по другому, нежели для носителей памяти об альтернативной реальности. Фотографии вождя на лобовых стеклах грузовиков фиксировали существенную тенденцию изменения низового (оно же народное) сознания. Возможно, истоки этой практики лежат в глуби-

нах спецслужб. Однако, вне зависимости от источника, масса простых людей по своей воле покупала ретушированную грошовую фотографию и заявляла свою политическую позицию.

Перестройка обрушила на советского человека такой массив исторических реалий, что сталинистам осталось группироваться в специальных заказниках – газетах «День» и «Советская Россия», издательстве «Молодая гвардия», мелких компартиях и других группировках. С первых дней легислатуры Путина ситуация меняется. При этом показательно то, с каким энтузиазмом масса людей пера бросились славить Вождя, а широкие массы приняли Сталина как символ России.

Образ Сталина многослоен. Это и великая империя, и русский как «старший брат», и языческая религия Победы[1], и предельный уровень патернализма, когда Вождь думает за всех, даже не делегировавших ему свою субъектность, но вручивших себя, ставших под его Высокую руку. Сталин – символ изоляционизма и антизападничества; с его именем связана ностальгия по мифически переживаемому статусу сверхдержавы, распоряжавшейся судьбами мира. Все это – традиционные для России сущности. Есть драматическая проблема исторических итогов XX века. Победа в войне – единственное безусловное достижение, накрепко спаянное в массовом сознании с именем Сталина – онтологизирует вождя народов как безусловную российскую ценность.

В проблеме Сталина есть интересующий нас аспект. Сталин воплощает *генеральную репрессию.* Соответственно, культурный статус Сталина свидетельствует о *запросе на генеральную репрессию*. Как говорит Архангельский: «миф Сталина так живуч, потому он воспроизводился в 70-е годы, что обобщается в народном высказывании

[1] Культ Победы – языческий государственный культ Рима. В сенатской курии Рима стоял алтарь Победы. В 382 году, сложивший с себя титул верховного понтифика (жреца языческих культов), император Грациан приказал вынести статую богини Виктории из римской курии.

«Сталина на вас не хватает»[1]. С этим надо согласиться. Остается понять – откуда запрос? Цикл *устойчивый порядок – резкая хаотизация – реставрация устойчивого порядка*, был описан выше. В случае с Вождем народов, мы имеем дело с особым случаем активизации этого цикла, *на пороге исторического снятия традиционного общества.*

Большая репрессия является генеральным решением проблемы хаотизации социокультурного космоса. Критическое уклонение от должного, распад целостности традиционного мира, социальное расслоение, разгул низменных страстей, падение трудовой морали, жажда наживы и прочие ужасы воспринимаются традиционным человеком как предвестники Апокалипсиса. В этой ситуации традиционная культура активизируется. На идейно-политическом плане активизация выливается в эсхатологическую утопию, на плане социально-политическом запускается механизм самоуничтожения.

Самая большая ошибка – видеть в революциях, гражданских войнах, революционном терроре слепую и бессмысленную силу. В истории не бывает бессмысленных масштабных процессов. При всей хаотичности процессов самоистребления статистические пропорции таковы, что уровень модернизации, образования, предприимчивости, личностности, принадлежности к субкультуре большого общества в среде сгинувших, существенно превышает среднестатические показатели. На выбивание миллионов людей накладывается изменение психологии всех выживших.

В результате резко упрощается социально-культурная ситуация. Общество отбрасывается к более простым, стадиально предшествующим моделям. Сложные формы культуры, сложные экономические и социальные практики замещаются простыми и примитивными.

[1] *Архангельский А.* Выступление на форуме // Старо-новые русские мифы: кризис знания или сознания? / Материалы российско-немецкого форума / Под ред. Ф. Бомсдорфа, Г. Бордюгова, Е. Гениевой. М., 2009. С. 98.

Картина мира упрощается, становится понятной традиционно ориентированному человеку, приближается в должному. Наконец, эпоха репрессий завершающая гражданские войны поселяет в душе традиционного человека вожделенный «Страх Божий». Мир становится понятным, комфортным, а традиционный человек переживает чувство защищенности. Общество, фундаментально (в силу стадиальных и качественных характеристик) не способное к жизни в системе моральных и правовых регулятивов, требует Большой репрессии, возвращающей ситуацию к устойчивому и привычному миру.

Так работают механизмы самоорганизации, блокирующие переход от традиционного к модернизированному обществу. Любопытно, что для многих эта механика представляется непостижимой. Упомянутый выше Архангельский пишет о «врожденной иррациональности русского, советского человека»; «основная черта Сталинского режима – это то, что ты можешь быть уничтожен завтра, послезавтра, у тебя нет совершенно никакой уверенности в том, что твоя жизнь принадлежит тебе»[1]. Автор совершенно прав, но далее он утверждает, что добровольный выбор такого положения вещей «свидетельствует о стремлении к иррациональности»[2]. Здесь мы сталкиваемся с универсализацией модальных характеристик, присущих культуре автора высказывания. Судя по всему, Архангельский – закоренелая, сложившаяся личность. Мало того, личность, сложившаяся в секулярную эпоху. Не будучи антропологом или историком культуры он не постигает природы добродетельного раба, охваченного эсхатологическим томлением.

Описанная им ситуация обладает высокой экзистенциальной ценностью для традиционного человека. Это же – предстояние судьбе, предстояние перед ликом ужасного и притягательного языческого бога, полное ужаса и невыразимого восторга. Здесь вспоминается Р. Отто: религия есть «misterium tremendum et fascinosum» (тайна ужаса и очарования)[1]. Состояние, отмеченное особой эмоциональной насыщенностью, задающее небывалую остроту переживаний бытия, отпущенного тебе. Россия – страна суицидальных игр, которые резко активизируются в эпоху эсхатологического томления[2]. Норма эпохи упрощающего самоистребления существенно отличается от нормы общества стабильного.

[1] *Архангельский А.* Указ. соч. С. 98.
[2] *Архангельский А.* Указ. соч. С. 99.

Понятно, что сегодня запрос на большую репрессию мифологизирован. Носители этой мифологии исторически переросли своих дедов. Поезд эсхатологического упрощения общества давно ушел. Призрак Сталина свидетельствует о фантомных реакциях сознания. Это уже не имеет отношения к реальности, но еще теплится в пластах традиционного миропонимания.

Большая репрессия в контексте стадиальных и качественных характеристик российской цивилизации

Проблема большой репрессии может быть рассмотрена и описана в другом понятийном ключе. Для того, чтобы прояснить нашу мысль, надо сформулировать важное положение общего порядка. Дело в том, что русская традиционная, то есть исходная, народная, базовая культура до-личностна и анти-личностна.

Следует различать до-личностность и анти-личностность. Первая представляет собой нормальную характеристику культуры, находящейся на определенной стадии исторического развития. Мы говорим о традиционном, пронизанном архаикой обществе до всякой модернизации, где личность не возникала по той причине, что весь социокультурный контекст не предполагал этого. Здесь личность была редкой флуктуацией, и культура

[1] *Отто Р.* Священное. Об иррациональном в идее божественного и его соотношении с рациональным. СПб, 2008.
[2] Применительно к отечественному материалу см.: *Яковенко И.Г.* Феномен конвейера: культурные механизмы массового террора // Он же. Познание России: цивилизационный анализ. М., 2008.

никак на нее не реагировала. Скажем, культура Московии XIV века носит доличностный характер. Где-нибудь в митрополичьем дворе, монашеской келье или палатах московских приказов могла проклюнуться автономная человеческая личность. Но этот экзотический феномен был обречен на онтологическое одиночество существования в доличностном контексте.

Другое дело анти-личностность. Она активизируется и оформляется по мере разворачивания модернизационных преобразований. Существует интересная теоретическая проблема – существовала ли антиличностность и раньше в структуре культуры, то есть – относится ли она к качественным характеристикам целого, имплицированным до поры до времени, или антличностность представляет собой механизм самосохранения устойчивой модальности традиционного мира, противостоящей переходу на следующую стадию исторического развития. На наш взгляд справедливо первое утверждение.

Русская культура антиличностна по своей природе. Эта потенция не проявлялась до тех пор, пока волей исторического императива в России не стали рождаться личности. Угроза *личностного перерождения российского целого актуализовала антиличностную доминанту* и сформировала многообразные механизмы подавления, шельмования, профанирования личностности. Они существуют на всех уровнях социокультурного организма: от элитного, до самого низового. Культура хамства, то есть – унижающая достоинство хамская агрессия и отказ человеку в приватном пространстве, антиличностный пафос казенного православия и советский коллективизм соседствует здесь с отторжением мещанина и комплексом вины перед народом.

Это положение являет собой самый большой скелет в шкафу российского интеллигента-западника. Проблема закрыта к осмыслению по ценностным основаниям. С одной стороны, противостоящая личностному началу традиционная культура есть культура народа. Народ – сакральная ценность в пантеоне интеллигенции. С другой – порождение западноевропейского духа, человек большого общества, интеллектуал не может не быть ориентирован на ценности личности. Такова онтология породившей его культуры. Описанный конфликт не имеет ни формально-логического, ни диалектического разрешения. Он может быть только игнорирован. Но молчать: не значит не понимать и не чувствовать. Повторимся, мы имеем дело с классическим скелетом в шкафу.

Упомянутых ценностных запретов нет у идеологов «черной сотни», так называемой «духовной оппозиции» и других фундаменталистов. Они постоянно апеллируют к народу, говорят о заемном, инородном характере либеральных ценностей, указывают на коллективистские, авторитарные, патерналистские тенденции самых широких масс. Ответы на эти инвективы, звучащие из либерального лагеря, теоретически несостоятельны.

Из сформулированных выше коллизий вытекает множество важных и выразительных частных моментов. Послушаем выступление Бориса Дубина: «Ахматова говорила, что христианство на Руси еще не проповедовано. Я думаю, что именно поэтому личность, идея личности в России пока не родилась. Замечательные люди есть, несомненно, и были, а идеи личности – нет. И это чрезвычайно важно, может быть в этом нерождении – вообще главное»[1]. Дубин говорит чистую правду. Россия, действительно, страна христиано-языческого синкрезиса. Идея личности ютится на пятачке носителей либерального сознания. И именно это обстоятельство является ключевым для исторических судеб России в XXI веке. Но здесь примечательна предельно осторожная, обставленная оговорками авторская интонация. Дубин – яркий и глубокий исследователь. Проблема в аудитории.

В отношении русского аристократа эпохи Екатерины II к народу отчуждение смешивалась с холодным пре-

[1] Старо-новые русские мифы: кризис знания или сознания? / Материалы российско-немецкого форума / Под ред. Ф. Бомсдорфа, Г. Бордюгова, Е. Гениевой. М., 2009. С. 105.

зрением. Их различала непреодолимая качественная и стадиальная дистанция. Человек Просвещения отодвигал от себя отрицающую его мир традиционную культуру.

Пришедший ему на смену российский интеллигент преисполнился болезненной любви и чувством вины перед народом. Истоки этих идейных комплексов – специальная, большая тема. Подчеркнем одно – вина осмысливалась, прежде всего, как нравственно-социальная: жизнь «барина» оплачена страданиями и нищетой народа. На самом же деле, истоки интеллигентской вины – в личностности интеллигента, в бегстве его из рая доличностной традиции. Интеллигентское любование народом творило кумир из патриархальной целостности, понимаемой как высшая, сакральная истина, противостоящая отпавшей от архаического целого индивидуальности.

Российский либерал презирал традиционалисткие массы молча, не говоря об этом вслух. И это естественно. Личность не может по-другому относиться к носителям антиличностной установки. Назойливые поминания неспособности российских либералов разговаривать с «народом» – отсюда. Коммуникация между обозначенными сущностями невозможна. Обращение к текстам классиков русского либерализма показывает – они обращались к тем, в ком хотя бы в какой-то мере проклюнулась личность[1]. С охлосом прекрасно разговаривают демагоги из большевистского, черносотенного или фашистского лагеря. Их объединяет общность базовых установок. Носитель традиции мгновенно схватывают – «наш», народный, правильный. Здесь же расходились фундаментальные принципы.

Постсоветский индивидуалист придумал слово «совок». Между «совком» и «новым русским» пролегает пропасть взаимного отчуждения. Новый русский ждет, когда же, наконец, вымрут эти совки, а традиционный

[1] См.: Российский либерализм: идеи и люди / 2-е изд. Под ред. А.А. Кара-Мурзы. М., 2007.

советский человек ждет, когда придет товарищ Сталин, уберет всю эту нечисть, «даст людям работу» и наполнит полки магазинов колбасой по два рубля восемьдесят копеек.

Соответственно, идеолог традиционной реакции ненавидит либерала как человека, предавшего вековые заветы традиционной антиличностности и ставшего на путь, ведущий к разрушению дорогого ему мира. А чиновник ненавидит либерала как единственную в позднетрадиционном обществе силу, способную создать преграды его всевластию. Способную обуздать коррупцию, сформировать гражданское общество, отправить традиционного чиновника на скамью подсудимых.

Большая репрессия – ultima ratio – последнее средство самосохранения, данное традиционной культуре. Она прибегает к нему один раз в момент, за которым начинается необратимое качественное преобразование традиционного целого. В результате этого преобразования доличностная культура будет разрушена и переместится на периферию общества, а автономная личность и мир ее ценностей займет лидирующие позиции.

Большая репрессия утверждает особое достоинство ритуальной жертвенности. Примат целого над частью, величие встречи с божественным роком утверждает базовую для доличностного человека относительную ценность его собственной жизни и безусловную ценность вечного, несотворимого и неуничтожимого Родового целого. Те же идеи двигают террористами и всеми, готовыми к самозакланию и энергичному уничтожению других на поле битвы, прославляющей Отечество[1].

В каком смысле надо понимать слова – AVE CAESAR MORITURI TE SALUTANT? Как пустой ритуал, мертвую заученную формулу? Вряд ли. Здесь выражается тип языческого сознания. Далекого от нас, чуждого, однако, веками существовавшего в истории человечества. Да,

[1] Там, где заходит речь о «славе Отечества», любые соображения о моральной оправданности, справедливости, законности отступают. Здесь главенствует до моральная, племенная установка.

каждого гладиатора могли убить. Так и должно быть. Сакральное целое обновляется кровью человеческих жертв. Произнося здравицу императору, гладиаторы фиксируют свою принадлежность этому целому. Меня убьют, но присущая мне духовная субстанция вольется в мистическое целое римского народа, приобщится величественного бессмертия. DULCE ET DEKORUM EST PRO PATRIA MORI[1].

И последнее. Большая репрессия прерывает запуск процесса трансформации традиционного общества, но, по историческим меркам, ненадолго. Историю не объедешь. Через полтора поколения происходит окончательный распад традиционного универсума. Логика всемирно-исторического процесса подводит отринувшее личность общество к порогу той же самой трансформации.

К вопросу о добродетельном рабе

В развернутой статье «Россия. Сталин. Сталинград» самый известный публицист сталинистского направления Владимир Бушин приводит выдержки из благодарственных писем, полученных им в 1993 году «в самую лихую пору антисоветчины и поношения Сталина», после завершения цикла статей восхваляющих вождя[2]. Корреспонденты Бушина – репрессированные или дети жертв репрессий. Писем с десяток. Понять это из пространства личностного сознания сложно. Перед нами архаическое, родовое сознание, стоящее на сакрализации целого и отторжении отдельного, автономного человека, понимаемого как часть, противопоставленная целому.

Десталинизация лишает этих людей онтологических оснований. Причем, полемика разворачивается в разных смысловых пространствах. Разговор о невинных жертвах лежит за рамками сознания адекватных адептов сталинщины. Это – разговор не про то. Не будучи антропологами или историками культуры, они не могут внятно выразить свои переживания. Существо дела в следующем: в ту пору в России творился великий ритуал умилостивления родовых богов. Ритуальная жертва существует вне контекста какой-либо вины или ответственности. Ритуальная жертва приносится для восстановления космического порядка и сохранения традиционно-архаического космоса. Если Сталин – языческий бог, то они – ритуальные жертвы, принесенные на алтарь Отечества, и велика их награда на небесах. Если же Сталин – пошлый тиран, то их собственная жертва, страдания близких, вся их жизнь и весь тот мир, в который они верили и которому отдали свою жизнь, лишены смысла.

[1] Сладостно и почетно умереть за отечество.

[2] *Бушин В.* Россия. Сталин. Сталинград // Завтра. 2009. Дек. № 51.

В конце концов, эти люди не виноваты в том, что они язычники. Такова *стадия исторического развития* подавляющего большинства российского общества по состоянию на октябрь 1917 года. Язычество – качественная характеристика сознания. Это определенная ментальность, нормы и базовые ценности, мыслительные процедуры и система связей между явлениями. Акт крещения и, тем более, акт вступления в ВКПб не делает язычника человеком осевого времени. Завтра он может стать фашистом; все это не имеет никакого значения. Дело не в самоидентификациях, дело в сущностных характеристиках ментальности.

Добродетельный раб – модальность человека разумного. Этот феномен нуждается в постижении. Отмахиваться от него по идеологическим основаниям близоруко. В противном случае мы ничего не поймем в России. Нас же не удивляет, что несчастья, обрушивающиеся на голову традиционного человека, укрепляют его в вере, а не делают атеистом или богоборцем. Нас не поражает, что массовые напасти сплачивают стадо Христово. Для корреспондентов Бушина Сталин – живой Бог, и репрессии переживаются этими людьми в описанной нами модели. «Нагим я вышел из чрева матери своей, нагим и возвращусь в чрево матери земли. Господь дал, Господь и

взял – как угодно Ему, так и сделалось, да будет имя Господне благословенно!»[1].

Слова о живом Боге не есть метафора. Подлинность Бога удостоверивается экзистенциально. Священный трепет, радость и ужас, сила коллективного переживания, особое, невыразимое чувство предстояния судьбе – все это было. И то были самые высокие, самые прекрасные мгновения их жизни. А потом все это отняли. Перед нами – нормальное языческое сознание. Сознание родовое, в котором Держава выступает экспликатом вечного, несотворимого и неуничтожимого Рода.

Христианство далеко не случайно боролось с рабовладением. Рабовладение в массовом порядке рождает добродетельного раба. Для добродетельного раба хозяин больше, чем человек. Он – живой бог. И жизнь твоя, и смерть твоя в его руках, и всякое его повеление свято. В языческом обществе такая диспозиция нормальна. В монотеистическом космосе – Бог один. Европейское крепостное право не равно рабовладению. Здесь власть хозяина имеет свои пределы, а крепостной – неотчуждаемые права. В России эти позиции смешались, и крепостной ничем не отличался от холопа, но то – Россия.

Завершая это краткое рассуждение, зафиксируем драматическую коллизию. Созданное кровавой эпохой племя добродетельных рабов сошло в могилу. Их место заняло сообщество рабов лукавых. Дожившие до наших дней могикане, указывая на шумную орду лукавых рабов, рутинно обличают очернителей «великой эпохи» и взывают к тени Отца народов. Перед Россией во весь рост стоит проблема свободного человека. Если российское общество не создаст свободного человека, оно уйдет в прошлое.

Большая репрессия как историческая травма и элемент национальной идентичности

Человек, репрессированный в чреде поколений, задан этим культурно и психологически. Что же касается

[1] Иов (1:13-22).

народов, переживших события, поставившие общество на грань гибели, такие как – массовый голод (Ирландия, Украина, Юг России), геноцид (евреи, армяне, тутси), или Большой террор в СССР – то они получают травму, которая становится существенным элементом национального мифа и превращается в значимую компоненту идентичности.

Мы не в состоянии оценить подлинные масштабы наследуемого даже не страха, но переживания исторической травмы как фундаментального события. Здесь впору говорить о генетической памяти. Когда журналист и бард Нателла Болтянская исполняет свою песню «Когда в ремонте гильотина»[1] адекватный российский слушатель – и таких слушателей миллионы – мгновенно включается в образный строй песни. Между тем от пароксизмов массового террора нас отделяет 60 лет. Последние десятилетия советский режим рутинно репрессировал диссидентов и грозил пальцем, слушающему Би-би-си и читающему самиздат среднему интеллигенту. Наша гипотеза состоит в том, что для среднего гражданина Швейцарской конфедерации, которая, безусловно, ближе и культурно, и географически к родине доктора Гильотена, восприятие песни Нателлы Болтянской потребует историко-культурного комментария, а результат будет носить интеллектуальный характер. Что же касается русского слушателя, то он схватывает ее сердцем и спинным мозгом.

Травма пароксизмов государственной репрессии, растянувшихся на добрую половину XX века и объединяемую в образе сталинского террора, *становится* значимым моментом национальной идентичности. Эта тема понимается с полуслова, объединяет людей общностью переживаний, предполагает естественное и единственно возможное позиционирование. Здесь надо оговориться. Мы описали не всеобщую реакцию на сталинский террор, но реакцию того слоя общества, который отвергает

[1] *Болтянская Нателла.* Альбом «Предупреждение», 2001 г.

неправовую репрессию. Это мощная, но все же, тенденция. Рядом с нею живет другая позиция и другие оценки (рассмотренные выше). Для данной группы общества террор советской эпохи не конституирует российскую идентичность, а событие террора получает совершенно иные ценностные и эмоциональные коннотации.

Если в России сталинский террор лишь притязает на статус значимой компоненты идентичности, то для армян или евреев геноцид, безусловно, входит в пространство идентичности. Процесс утверждения Голодомора как фундаментального события национальной истории переживает Украина. Парадокс геноцидов и уничтожений состоит в том, что целью этих акций является уничтожение народов, объективным же результатом оказывается созидание наций.

ГЛАВА VII
Социально-политическое измерение проблемы

Репрессия и традиционная власть

Традиционная власть – сущность синкретическая. В разных ситуациях она поворачивается разными смысловыми гранями. Она и предстоятель перед богами и стихиями, и заступник, и судья, и организатор государственной жизни, и сила, санкционирующая инновации. Причем, одно из важнейших измерений власти связано с репрессией. Иерархия первично оборачивается по отношению к ребенку субъектом репрессии. Родной отец, Отец небесный, барин, священник, муж – перед нами разные звенья и разные срезы иерархии, причем, все эти срезы атрибутивно субъекты репрессии. В репрессивной культуре отец наказывает обязательно. Господь тоже. Традиционное религиозное сознание осмысливает любые напасти – татар, голод, мор по модели: «По грехам нашим». Точно также осмысливаются личные, семейные несчастья и удары судьбы. Господь наказывает. Люди ждут милосердия, но принимают все негативное как наказание.

Наказание, конечно же заслуженное ибо, *незаслуженных наказаний* в репрессивных культурах *не бывает*. Все виноваты априорно. «Мало еще бьют нашего брата. Ох, мало». Там, где возникает проблема законности наказания, традиционно-репрессивная культура умерла. Либо мы имеем дело с потенциальным бунтовщиком, который не принимает устойчивый порядок вещей, либо мы становимся свидетелями процессов распада репрессивной культуры.

Можно остановиться на проблеме всеобщей виновности. Корни этого убеждения средневековo-христианские. Все виноваты по той причине, что нормативная модель культуры (должное, законы и нормы общества)

принципиально невыполнимы. Жизнь возможна только в обход нормативной модели.

Надо помнить и о том, что наказание, то есть репрессия, делается исключительно для блага наказуемого. В патриархальную эпоху, по завершении наказания, выпоротый должен был встать, надеть штаны и поблагодарить барина(начальника, капитана, исправника) за науку. Это не специфически российское явление, но общее для традиционно репрессивных культур. Ту же традицию фиксируют путешественники, посещавшие среднеазиатские ханства. Инспектирующий рынок местный бек сразу же, на месте повелевал своей страже выпороть провинившегося торговца, и, по завершении порки, наказанный благодарил властителя за науку. Заметим, что в разговорном языке простонародья в XIX веке физическая расправа и наука (в смысле обучения) сплошь и рядом синонимичны. Вспомним монолог купчихи Фетиньи Мироновны из пьесы Островского: «Я – женщина ученая, очень ученая. Я все учение видела от своего супруга покойного. Кочергой – бита, поленом – бита, об печку – бита, печкой – вот печкой не бита»[1].

В России Власть есть субъект неограниченной репрессии. Соответственно тот, кто является субъектом неограниченной репрессии, и есть настоящая Власть. Это не имеет отношения к формальным статусам. Русский человек сердцем чувствует, «кто в этой камере бугор». Ему кланяются и несут подношения, у него ищут суда, к нему апеллируют в сложных случаях. Где-то там – закон, суд, процедура, гарантии. Здесь же – все в руке субъекта репрессии.

Сакральная власть – власть неограниченная в праве репрессии. Она и только она решает кого, и в каком объеме репрессировать. Она над правом. Иначе она не сакральная и вообще не власть, а пошлое социальное установление. Формирование российской цивилизации начинается с Андрея Боголюбского. Последовательно

[1] Фильм «Женитьба Бальзаминова». Режиссер К. Воинов; 1964 г.

утверждая принцип самовластья, князь Андрей боролся как с вечевой традицией в городах, так и с политическим традициями элиты, в соответствии с которыми, князь правил в совете с верхушкой дружины и ближайшими родственниками. Народ как сила, противостоящая князю, проигрывает в самом начале процесса. Элита же упорно пытается противостоять смещению баланса и наращиванию автократического потенциала высшей власти. При этом один из самых острых сюжетов, вокруг которых шла борьба – неограниченное право на репрессию по отношению к элите. Борьба великого князя, а затем московского царя вокруг права принимать решения без совета «с бояры», была борьбой на уничтожение освященной веками традиции. Право налагать опалы на бояр самовластно, без санкции сословия была существенной частью этой борьбы. В некотором смысле то был ключевой пункт.

Правитель в принципе не может обойтись без элиты. Московские князья боролись с *традицией элитной субъектности*. Назначенные на высшие государственные должности вчерашние холопы, получая власть над людьми, обзаводились селами, дворцами, собственной дворней и на удивление быстро проникались традиционно элитной идеологией. Дети и внуки вчерашних холопов видели себя частью сообщества родовитых семей. Потому надо было ломать непокорных, тендирующих к независимости, апеллирующих к славной старине. Этой же задаче отвечало формирование хамски-холуйского стиля общения фиксирующего онтологическую дистанцию между властью и подвластным. Унизительные ритуалы величания властителя, самоуничижительные прозвища (Ивашка), практика лобызания властного сапога – все это работало на утверждение автократии.

Описываемая нами борьба растянулась на века. Исторические документы доносят отголоски противостояния носителя высшей власти и элиты. Все шло в дело. Татаро-монгольское иго учило бояр неведомому киевской эпо-

хе азиатскому раболепию. Так называемое «собирание России» оборачивалось для элиты уничтожением права отъезда, то есть смены сюзерена. Женитьба московского великого князя на племяннице последнего византийского императора оборачивалась претензией на царство, а значит – качественно новой диспозицией богоравного царя и служилого боярства. Со своей стороны, идеологическая обслуга высшей власти трудилась, не покладая рук: писалась легенда о шапке Мономаха, связывавшая византийских императоров с рюриковичами киевского периода. Создавалась концепция Москвы – Третьего Рима. Выстраивались легендарные родословные, возводящие московских царей к римскому императору Августу.

В этой борьбе боярство проиграло. В конечном счете, элита была сломлена и утратила волю к сопротивлению. Если князь Андрей убит близкими, а резиденция его разграблена, то Иван Грозный отъездом из Москвы добивается права неограниченной репрессии, а затем развязывает опричный террор, добивающий родовитое (а значит, амбициозное) московское боярство. Власть обретает абсолютно деспотический характер, а атомизированная элита скована страхом и озабочена вечным русским вопросом: «Когда же придут за мною?» Бегство из страны – поступок не ахти какого мужества. Но и на это отважился лишь один Курбский.

Природа государства такова, что устойчивый консенсус – а деспотический характер власти, обладающей ничем не ограниченным правом на репрессию, есть одна из самых устойчивых характеристик российской цивилизации – не может держаться только на насилии. Устойчивый консенсус с необходимостью включает в себя элемент компромисса, согласия социальных сил, принимающих навязанные условия игры. Соглашение состояло в том, что, отказываясь от любой политической субъектности и признавая право высшей власти на избирательную расправу над отдельными членами элитного слоя, российская элита получала аналогичное право де-

спотического правления собственными холопами. Упомянутый нами боярин Курбский много и пафосно писал Ивану Грозному о попранной традиции правления и правах элиты Московского царства. Однако, оказавшись в Литве, Курбский явил себя чисто азиатским деспотом по отношению к крестьянам, данным ему королем и великим князем Речи Посполитой: держал провинившихся и строптивых в зинданах, наказывал по-московски. Не привыкшие к московским порядкам подданные польской короны в ужасе взывали к высшей власти.

Боярская фронда при Рюриковичах, также как и претензии российской элиты во все другие эпохи, стратегически обречены по фундаментальной причине. Российская элита не ставит вопрос *о правах всех граждан;* она отстаивает *сословные привилегии*.

Деспотической вседозволенности царя и боярства соответствовала неограниченная ничем власть патриархального родовладыки. В патриархальной семье глава семейства был самовластным, ничем не ограниченным владыкой. Он руководил работой на семейной земле, по своей воле распределял доходы, женил и выдавал замуж детей, бесконтрольно, по своему усмотрению, наказывал любого члена семьи. В патриархальной культуре жило глубокое убеждение в том, что никто не вправе вмешиваться и перечить воле отца. В Сибири крестьяне еще в начале XX века полагали, что за убийство своего ребенка родители отвечают церковным покаянием. Такое явление как снохачество, то есть сожительство отца с женою своего сына на глазах всей семьи, отраженное в русском языке и фольклоре, зафиксированное этнографами во второй половине XIX века как живая практика, иллюстрирует меру деспотической вседозволенности[1].

Характерно то, что царская власть сохраняла патриархальную большую семью, справедливо усматри-

[1] См.: *Голикова С.В.* «Стариковское дело» и «бабья повинность»: уральские материалы XIX века о снохачестве // Адам и Ева. Альманах гендерной истории / Под ред. Л.П. Репиной. М., 2003. С. 36 – 54.

вая в ней базовый модуль деспотического универсума. Александр III законодательно запретил раздел раздираемой конфликтами большой семьи. Взрослые дети, стремившиеся выделиться и зажить своим отдельным хозяйством, должны были проходить школу повиновения вплоть до смерти отца. Право на бесконтрольную репрессию по отношению к подвластным охранялось верховной властью на всех уровнях. Человек, переживший опыт патриархальной семьи, других моделей жизни не помыслит.

Советский период отечественной истории демонстрирует сходную картину: простые подданные абсолютно бесправны, а высшая власть и элита находятся в нескончаемой позиционной борьбе. Власть стремится закрепить за собой право бесконтрольной репрессии по отношению к элите, а элита стремится переформатировать политическую ситуацию так, чтобы обрести гарантии от произвола, а в идеале полную безнаказанность. Эти процессы упаковывались в декларации, написанные на советском идеологическом языке, но суть дела от этого не менялась. В переводе на общепонятный язык «возвращение к ленинским нормам партийной жизни» и «торжество социалистической законности» означали, что зам министров и секретарей обкомов нельзя расстреливать без санкции партийно-государственной элиты как целого.

В последние десятилетия советской истории элита доминировала в описанной позиционной войне, и это оказалось одним из факторов деструкции советской системы. В неправовом, репрессивном обществе может быть либо ни чем не ограниченная репрессия, либо безнаказанность. Если при Сталине расстреливали и правых и виноватых, то при Брежневе людей, заслуживших по советским законам пятнадцать лет тюрьмы и конфискацию имущества, в лучшем случае отправляли на пенсию.

Наше наблюдение позволяет понять *природу репрессивного общества. Суть его* не в высоком уровне репрессии – высокий уровень лишь следствие – а *в неправовом характере процессов наложения, исполнения и отмены наказания*. Суть в том, что субъект репрессии руководствуется только собственным усмотрением. Он самовластен и ничем не ограничен в своей власти по отношению к нижестоящим. Некоторые границы этого произвола заложены в традиции, но здесь речь не о произволе по отношению к отдельному человеку или группе людей, а о патологии, представляющей опасность для всего общества[1].

В Европе историческая эволюция шла в направлении ограничений усмотрения и произвола правителя в сфере репрессий. Логикой процесса он превращался в технического исполнителя судопроизводства, гаранта его беспристрастной и точной работы.

В репрессивных культурах власть практически не ограничена в праве репрессии. Одно ограничение, впрочем, просматривается. Существует критический объем элитного слоя общества, уничтожение которого в течение короткого срока неизбежно ведет к дворцовому перевороту. Инстинкт самосохранения побеждает страх, и придворные убивают утратившего чувство реальности, обезумевшего тирана. В течение длительного срока можно «перебрать» практически всю элиту, уничтожая по очереди людей и назначая на их место своих ставленников. Но эту процедуру можно проделать лишь один раз. Попытка запустить второй цикл закончится уничтожением тирана его собственными выдвиженцами, прекрасно осознающими логику происходящего и особо чувствительными к тенденциям такого рода[2]. Наконец, с разворачиванием процессов модернизации в репрессивных

[1] В конце концов, душевно больная садистка Салтычиха была приговорена к пожизненному заключению без света и человеческого общения.

[2] Об этом свидетельствует, в частности, история нашей страны. У Сталина второй цикл не получился. Он на удивление вовремя умер и своевременность смерти вождя наводит на размышления.

обществах возникают формальные ограничения прав иерархии на репрессию, которые не меняют существа дела.

Повторим еще раз: Субъект репрессии есть абсолютный субъект, ничем не ограниченный. Объект репрессии – абсолютный объект, ничем не гарантированный. Практически это не совсем так. Отец или мать, убивающие собственного ребенка, преступники в глазах закона в любом государстве и жестко осуждаются традицией. Но ребенок *об этом не знает*. Он переживает наказывающих родителей как силу, способную лишить его жизни.

В этой теме есть и еще один драматический поворот. Мы не задумываемся о том, что в генетической памяти маленького ребенка хранится *феномен инфантоцида*. Как пишет В. Дольник, когда взрослый говорит ребенку «я тебя съем», ребенок всерьез пугается, потому что знает: взрослый может и съесть[1]. Кого-то это утверждение может удивить. Поясним нашу позицию. Мы исходим из *единства онто и филогенеза культуры*. Иными словами, ребенок в процессе своего развития проходит стадии развития человечества. Надо сказать, что исследователи, работающие с детским материалом, делают те же выводы, не формулируя принцип единства онто и филогенеза культуры в общем виде. К примеру, авторы монографии «Социальное бессознательное» пишут: «Переход от детства к взрослости имеет сходство с переходом от первобытности к цивилизации и в этом смысле индивидуальное развитие личности и поведение ребенка как бы повторяет развитие человечества»[2]. И людоедство, и инфантоцид широко практиковались в архаическую эпоху. Эти феномены не могут не присутствовать в генетической памяти ребенка. Более того, в критических ситуациях архаические практики актуализуются и превращаются в страшную реальность.

В 2006 году одна из радиостанций передавала воспоминания бывшей воспитанницы детского дома 20-х годов прошлого века. В детский дом поступили дети из

[1] *Дольник.* Указ. соч. С. 104.

[2] *Сикевич З.В., Крокинская О.К., Поссель Ю.А.* Социальное бессознательное. СПб, 2008. С. 33.

районов страшного голода в Поволжье. Дети, поступившие из Повольжья, были примечательны тем, что боялись кошек и не плакали. Любопытно, что сегодняшние студенты, опрошенные автором, так и не смогли ответить на вопрос – чем объясняются эти особенности поведения. Счастливые молодые люди не знают, что во время голода всех кошек съедают. И, тем более, они не могли сообразить – того, кто много плакал, съедали в первую очередь. Здесь нам приоткрываются глубинные корни репрессивной культуры. Она исходна и страшно устойчива. По крайней мере, в том случае, если эти модели поведения подкрепляются в раннем возрасте.

Сложившись как устойчивая данность, опирающаяся на неограниченную репрессию, власть обретает в сознании подвластных метафизическую глубину. Метафизика власти – один из устойчивых интеллигентских дискурсов. На наш взгляд, интеллигентская увлеченность этой темой связана с неограниченной репрессией как атрибутом традиционной власти. Тот, кто может лишить или не лишить меня (тебя, его) жизни – велик, ужасен и притягателен, сакрален, непостижим, неизречен, бесконечен и т.д. Источник витальной опасности есть инстанция метафизическая. Сила, дарующая или не дарующая жизнь, пребывает по ту сторону жизни.

Власть, ограниченная правом, процедурой, институтами гражданского общества не оснащена неограниченной репрессией. Тут тебе никакой метафизики, а значит и энтузиазма, притягательности, неисчерпаемой глубины. Власть на Западе кое-что может: может начать войну, может принимать решения, меняющие судьбы миллионов людей. Но масштаб не тот, нет постоянного трепета, нет подлинно метафизической глубины.

Политическое измерение неправовой репрессии

Репрессия и свобода

Традиционная репрессия несовместима со свободой. Реализация репрессивных действий сама по себе

требует несвободы объекта. Объект репрессии может ответить насилием на насилие или уклониться, попросту убежать. Репрессия может быть реализована только в том случае, если объект лишен таких возможностей; иными словами, свобода его ограничена. Чем выше уровень внеправовой репрессии, тем уже свобода. Это касается всех измерений свободы. Свобода политическая, духовная, религиозная, свобода перемещения, выезда за рубеж, свобода выбора места работы, свободный доступ к информации и т.д. – все эти измерения свободы находятся во взаимоисключающих соотношениях с неправовой репрессией. Сплошь и рядом высокий уровень репрессии для того и существует, чтобы заблокировать движение общества к свободе.

Репрессия и политическая структура общества

Оговоримся, в данном случае слово «политика» трактуется как мера прикосновенности к власти. В нашем случае эта мера измеряется суммой прав, обязанностей, привилегий и иммунитетов. Никаких других смысловых регистров не просматривается, ибо в репрессивном обществе политики в собственном смысле не существует.

Мир репрессии есть мир бессубъектной массы. Над этой массой возвышается иерархическая пирамида, в которой мера субъектности задана иерархическим статусом. И околоточный надзиратель, и капитан исправник, и губернатор субъектны в пределах подведомственности, в тех рамках, которые признаны властью предержащей и зафиксированы нормальной практикой. Попросту говоря, встретив подвыпившего тайного советника, околоточный проводит Его превосходительство до дома; что же касается пьяного ремесленника или уличной девки, то с ними разговор пойдет по-другому.

Вообще говоря, традиционное сознание признает субъектность «по чину» (вспомним реплику Городничего из комедии Н.В. Гоголя «Ревизор»: «Не по чину

берешь») и не принимает ситуации, в которой возникает субъектность «не по чину». Распутин возмущал сознание российского общества мерой субъектности при отсутствии официального статуса. Такой же праведный гнев вызывала у окружающих девка из прислуги, выбившаяся в любовницы пожилого барина и постепенно забирающая власть в свои руки.

Продвижение по вертикали власти сопровождается ростом объема положенной чину субъектности. Субъектность в пределах подведомственности и в отпущенных рамках предполагает право на репрессию по отношению к «пасомым» (объем и мера этой репрессии закреплены в писанном и неписанном законе) и некоторую, пропорциональную статусу, меру иммунитета. Участковый берет по чину товары в киосках, при случае бьет морду зарвавшемуся лавочнику, принимает бесплатные услуги местных «девочек». Но если он под горячую руку пристрелит «авторитета», который исправно платит всем, кому следует, и имеет высоких покровителей, у участкового могут быть серьезные проблемы.

Насилие, власть, легитимность.
Политико-правовое измерение проблемы

Традиционное насилие по своей природе отрицает право. Право вводит насилие в четкие рамки, оговаривает его границы, формирует механизмы и процедуры, гарантирующие обоснованность репрессии, ее соразмерность нарушению закона. В рамках права совершаемая от имени государства репрессия, обретает нравственную санкцию. Поскольку правила игры известны заранее, гражданин имеет шанс выстроить линию поведения, гарантирующую его от репрессии. Все это разрушает космос, в котором стоящая над законом власть сакральна и всесильна, а жизнь и благополучие подданного целиком зависит от ее усмотрения. Российское насилие атрибутивно власти, неисповедимой в своих поступках, и креативно. Оно созидает русский космос.

В нашей политической культуре сложилось особое отношение к насилию, которое осознается как решающий атрибут власти. При этом насилие не связано каким бы то ни было образом с легитимностью, законностью, обоснованностью. Насилие мыслится как сущность, несущая легитимность в себе самой. Власть легитимизуется насилием. Отсюда славословия «политической воле» и презрение к политикам, не нашедшим в себе сил в критический момент пролить кровь (Николай II, М.С. Горбачев). Идея состоит в том, что субъект, претендующий на статус властителя, или подтверждающий этот статус, должен быть готов в любую минуту прибегнуть к насилию, необходимому для удержания власти. А дальше тот, кто победил в схватке, и есть правитель. В этом принципе политического мышления легко узнаваема практика стадных млекопитающих. Так что российское политическое мышление имеет глубокие корни и восходит к доисторическим временам.

Насилие, то есть репрессия, видится как генеральная политическая и административная технология. Во внутренней политике репрессия занимает свое место, обеспечивая стабильность общественной жизни. В одни эпохи это место можно назвать существенным, в другие – приоритетным. Ослабление государства и снижение потенциала властной репрессии сразу же ведет к заметному росту хаоса. Об этом свидетельствует памятный нам опыт начала 90-х годов. А глубже – Гражданская война, Пугачевщина, эпоха Петра, «бунташная» середина XVII века, русская Смута.

Внешнеполитическое измерение

Сложившись внутри государства как механизм социального регулирования, репрессия выносится во внешнеполитическое пространство. Когда киевские князья ходили в степь и громили половецкие становища в ответ на набеги кочевников, то была репрессия, имевшая своей целью если не прекратить, то минимизировать набеги. Израильские удары по палестинским или ливанским

лагерям боевиков в ответ на обстрелы территории Израиля происходят в той же самой логике. Переселение в 1945–1946 годах немцев, живших на пространствах Восточной Европы – в Югославии, Польше, Чехословакии, на территориях отошедших к СССР – по существу носило характер репрессии, которая была ожидаемым следствием Второй мировой войны. Эта репрессия блокировала возможности возникновения территориальных претензий со стороны Германии и развязывания новой войны в будущем.

К репрессиям во внешнеполитическом пространстве прибегают государства и международные организации. Санкции ООН – форма репрессии, то есть силового принуждения некоторого субъекта мирового сообщества к пристойному поведению. Нас интересует внешнеполитическая активность репрессивных обществ. Обратимся к отечественному опыту.

Российская внешняя политика реализуется тем же административно-бюрократическим сознанием, что и внутренняя. Отсюда практика поведения в ситуациях внешнеполитических кризисов, периодически вызывающая оторопь у мирового сообщества. Иначе и быть не может, поскольку человеческая психика устроена так, что в кризисных ситуациях включаются самые базовые, наиболее глубоко лежащие стереотипы понимания и действия. Они побеждают поздние рациональные наслоения. Нас должны уважать, то есть бояться. Иначе мы не власть и не великая держава. В глубине души человек, воспитанный в репрессивной культуре убежден: любые суверенитеты, договоры, соглашения и прочая международно-правовая блажь – выдумки для легковерных. Миром правит голое насилие. Мы говорим о ментальности, о базовых инстинктах. Уровень образования носителя такой ментальности – образования европейского, базирующегося на иных ценностях – значения не имеет.

Политическое руководство России обладает редким умением стремительно совершать поступки, создающие

тяжелые долгосрочные проблемы (портить собственную репутацию, наживать врагов, создавать антироссийские коалиции и т.д.). Потом эти проблемы приходится разрешать годами и десятилетиями. Часто это требует огромных ресурсов, но каждый новый вывих российского «штурм унд дранга» рождает волну рационально необъяснимого энтузиазма. Вспомним общественные настроения в самом начале Первой мировой войны. Можно заглянуть глубже и вспомнить Восточный кризис 1853 года. Природа этого феномена сложна и многослойна. Здесь мы сталкиваемся и с имперски-эсхатологическим комплексом, и с неутолимой манихейской жаждой Последней битвы с мировым злом. Но не только это. Обнаруживается смысловой слой, принадлежащий нашей теме. Война, как акт справедливой, святой внешнеполитической репрессии по отношению к врагам России, рождает эйфорию. Ибо *наша Власть*, а с ней и величие России *объективируется в акте репрессии*, акте справедливого возмездия. Насилие должно принести успех, и уже принесло, или обязательно принесет его послезавтра. Показательно, что внешнеполитические конфузы, а то и провалы, связанные с использованием неоправданного внешнеполитического насилия, не меняют этой установки. Устойчивые стереотипы мышления предсуществуют в культуре и не верифицируются опытом. Неудачи и поражения спишут на камарилью, интриги внешних врагов, неблагоприятные условия, тупость генералов. Само преклонение перед насилием, потребность быть причастным к «нашему» победному внешнеполитическому насилию остаются неизменно.

Описанная феноменология задана непоколебимым базовым убеждением – все проблемы могут быть решены через насилие. Непосредственное наблюдение, социологические опросы, телефонные звонки в прямом эфире, газеты определенного направления, дискуссии в чатах – все эти срезы общественных настроений рисуют узнаваемую картину. Сбросить бомбу, ввести войска, пересажать олигархов, раздавить всех гадов, ввести смертную казнь, выслать всех «черножопых» и т.д. и т.д. – вот типичные рецепты. Понятно, мы сталкиваемся здесь с радикальными всплесками эмоций. В этих высказываниях важна их базовость. Они представляют собой первую реакцию, исходное движение души, самую низовую, традиционную систему понимания мира.

ГЛАВА VIII
Онтологическое сиротство и авторепрессия

Модельный персонаж репрессивной культуры

Всякая культура формирует модельный персонаж, естественный для данной конфигурации психологический тип, воплощающий систему норм и ценностей, носитель поощряемых жизненных стратегий и ожидаемых моделей мышления. Он узнаваем, представлен в литературе и искусстве, представляет собой объект отождествления. Одним словом, это – «наш» человек.

Обратимся к отечественному материалу. Параметры модельного персонажа российской культуры – большая специальная тема. Здесь обнаруживается несколько уровней описания, состоящих из противоречивых и несогласованных блоков. Ограничим себя теми аспектами проблемы, которые касаются нашей темы.

Как было показано выше, мироотречение продуцирует неукорененность в бытии. Сам этот мир богооставлен, то есть, лишен живительной благодати, у человека нет и не может быть в мире своего законного места. «Нам целый мир чужбина». Чувство онтологического сиротства – исключительно важная характеристика мироощущения. Отторжение «этого мира» как неправедного, лишенного благодати, отданного под власть сил зла задает страдательную позицию. Сознание человека, усвоившего такие установки, ищет и постоянно находит подтверждения тому, что мир этот ужасен, а бытие в нем – страдание.

Если человек знает, что он *должен страдать*, то он будет страдать. Это не составляет труда. Речь идет о процессах самоорганизации социокультурного целого в соответствии с некоторой базовой установкой. Надо устраивать свою жизнь и жизнь окружающих таким образом, что жизнь эта будет безрадостна, дискомфортна,

ничем, никогда, ни в какой точке не гарантирована, полна несправедливостей и смертельных опасностей. Надо тиранить окружающих и провоцировать других на насилие по отношению к самому себе, надо объяснять всем (и молодым людям в особенности), что жизнь наша так устроена, ничего в ней изменить нельзя, и ничего другого у них не получится и т.д.

Другая значимая характеристика – продуцируемое культурой чувство вины. Оговоримся с самого начала. Никакой онтологической, безусловной вины нет и быть не может. Понятие вины возникает только лишь в координатах конкретных норм и правил, которые устанавливает и поддерживает культура. Если донос на несогласного с генеральной линией Партии объявлен в качестве нормы, то честный носитель такой культуры, воздержавшийся от доноса на близкого человека, переживает чувство вины. Если же подобной нормы не существует, то и мысли о вине ни у кого не возникнет. Мы говорим о *продуцируемом культурой* чувстве вины.

Тут мы подходим к особому познавательно-оценочному конструкту «должное/сущее». Предельно упрощая, суть этого феномена состоит в том, что культура конструирует из себя самое сакрализуемый норматив «Должное», принципиально невыполнимый и не соответствующий природе вещей. Она объявляет его божественной истиной, единственно подлинной в высшем смысле и противополагает эмпирическому «сущему», трактуемому как низменная и не подлинная в высшем смысле эмпирия. Этот культурный феномен возникает в монотеистических обществах в эпоху Средневековья. На Западе он исчерпал себя по мере утверждения ценностей Нового времени. В России должное/сущее дожило до сегодняшнего дня, хотя и переживает кризис. Что же касается многих обществ исламского мира, то они переживают пароксизмы верности сакральному Должному, которые тем более драматичны, что историческая реальность очевидным образом не верифицирует этого

Должного. Данная проблематика подробно исследуется в публикациях автора[1].

Вернемся к нашей теме. Как же продуцируется чувство вины? Если объявить пороком естественные человеческие чувства – любовь к себе, стремление к удовольствиям, половую жизнь, тягу к счастью, заботу о себе и своих близких и т.д., и глубоко внедрить в сознание людей убеждение в греховности этих движений тела и души, то можно сформировать непреходящее чувство вины.

Себя надлежит стыдиться и сокрушаться по поводу собственных несовершенств. Самоотвержение – одна из величайших добродетелей. Себя самое надлежит всячески репрессировать. «Себялюбие» – ругательство, обозначающее серьезный нравственный порок. Настоящего мироотречника терзает стыд за тело и телесность в чистом виде. С одной стороны всякая нормальная женщина осознает собственную телесную привлекательность в глазах мужчин, озабочена мобилизацией этого ресурса и активно его использует. С другой, традиционная культура внушает ей, что тело – источник соблазнов, прямиком ведущих к погибели. В итоге складывается сложное амбивалентное отношение, в котором присутствует агрессия по отношению к телесному. Лучше бы его и не было.

Но это – всего лишь одна из граней проблемы. Неизбывное чувство вины: непреходящее, гнетущее, пригибающее долу, может иметь тысячи поводов. Вины за уклонение от Должного, за несоответствие возвышенному идеалу. Неизбывной вины перед богоравной Властью. Вины перед родителями, супругом, родственниками. А на самом деле, вины в том, что живешь и, тем самым, принимаешь этот мир. Вины за непрочитанные книги, несделанную работу, невыполненные обещания...

Но и этого мало. Мы живем в культуре, которая признает вину за других. В пределе, вину за всех, за грехи

[1] *Яковенко И.Г.* Небесный Иерусалим или Российская империя: Диалектика должного и сущего / Он же. Познание России: цивилизационный анализ. М., 2008. С. 135 – 244.

мира. Для автономизировавшегося, выпавшего из родового сознания человека эта установка логически и экзистенциально непостижима. Это что-то из области коллективной вины, метафизической коллективной ответственности и коллективного спасения.

Чувство вины – не только механизм инфантилизации человека и манипулирования им, но и механизм продуцирования неукорененности в бытии. Укорененный в бытии имеет свое место и соответствующее этому месту достоинство. Априорная и неизбывная вина противостоит всяческому достоинству.

Описанное нами – ни что иное, как *продуцируемая культурой авторепрессия*. Одновременно авторепрессия выступает предпосылкой репрессии извне. Идейно-психологический климат авторепессии порождает *согласие на репрессию* всех и каждого. Готовность к репрессии, оправдание репрессии, принятие репрессии как заслуженной, естественной, справедливой, единственно возможной сущности, без которой жизнь наша рассыпится, есть генеральное условие существования репрессивной культуры.

Вообще говоря, согласие на неправовую репрессию – одна из важнейших характеристик общества и культуры. Человеческие сообщества делятся на те, в которых «человек с ружьем» может позволить себе бить морду первому встречному и те, в которых эти действия несут в себе риск получить сдачи.

Богооставленность мира, неукорененность в бытии, неизбывное чувство вины инфантилизуют и сбивают людей в стадо. Иерархия в широком смысле, Власть земная и небесная оказывается единственным заступником в этом онтологически враждебном, погибельном мире. Страшные, безысходные обстоятельства предполагают устрашающие методы спасения.

Добавим к этому одно уточнение. Выше мы писали о запросе на репрессию. Запрос и согласие на репрессию – две стороны одной медали. *Запрос на репрессию* актуали-

зуется тогда, когда я сталкиваюсь с проблемой, источник которой – другие. Тогда же, когда дело касается меня и моих близких, реализуется *согласие на репрессию*.

Атмосфера личностного формирования

Носителем репрессивной культуры никто не рождается. Им, также как и носителем культуры поощрения, становятся. Не следует думать, что культура поощрения сводится к тому, что за каждый правильный поступок ребенок получает конфету или пол доллара. Поощрение, прежде всего, носит психологический характер, выражено словесно. Заметим, что исходно для ребенка эта форма контакта со взрослыми исключительно важна и первична. Жизнь в контексте разумных, адекватных поощрений – позитивных оценок, подбадриваний, похвалы за сделанное, указания на недоделку и похвалы после ее устранения – формирует уверенного в себе, лишенного комплексов, не знакомого с чувством безнадежности, гармоничного человека. Из этого никак не следует, что не надо указывать на неудачи и порицать пороки. Но правильное, позитивное поведение должно получать как минимум равную (а, на самом деле, несколько более педалируемую) оценку. Должно быть представлено в грамматических конструкциях, психологических «поглаживаниях».

Ребенок, твердо знающий, что его любят, в него верят и считают его хорошим, имеет шанс стать достойным и гармоничным человеком. На уровне абстрактных суждений приведенные выше положения вызовут возражения разве что у идеологов православно-патриархальных «ежовых рукавиц». Однако практика массового российского воспитания располагается в диапазоне от удручающей до безнадежной. И только привычка, только замыленность нашего взгляда мешает увидеть неприглядную реальность.

Ты – грязный, неумеха, опять все пролил и испачкал, никакой от тебя помощи, кроме вреда. Пришел рваный,

пальто испачкал, подрался, получил двойку. При определенном настрое список прегрешений бесконечен. Я уже не говорю о хамской интонации в общении с ребенком, о способности разговаривать с подругой и не слышать ребенка, который снова и снова обращается к маме. Все вместе это складывается в тягостную атмосферу. Унылый пилеж, бессмысленные нотации не воспринимаются сознанием ребенка, ибо воспринять их невозможно. Можно пропускать мимо ушей и выполнять роль в социальной игре – провинившийся ребенок, слушающий наставления родителей. То есть, стоять с постным видом и при необходимости произносить положенные реплики.

Рутинная ругань вне поощрения бесплодна в узко прагматическом смысле, но *продуктивна стратегически*, ибо формирует определенную картину мира, эмоционально-психологический фон, «я-концепцию», наконец, модель отношений с другими людьми и собственными детьми.

Знаменитое американское «я горжусь тобой» немыслимо на отечественных просторах также, как улыбка при встрече глазами с незнакомым человеком. Ребенок, который вырос в атмосфере поощрений и восхищения, легко узнаваем и выделается из окружения. Скорее всего, он вырос в семье, этнически или культурно выпадающей из российской целостности.

Кончается детство, ребенок начинает входить во взрослую жизнь. Тут-то самые близкие люди начинают настойчиво объяснять, что он – ни на что не способный неудачник. Ничего у тебя не получится. Стоящий мужик на тебя не посмотрит. Семьи у тебя не будет, и дети у тебя вырастут непутевые. Одним словом, все уже плохо, а будет еще хуже, поскольку у таких как ты, ничего путного получиться не может. Культура поощрения формирует другую личность и закладывает совершенно иной жизненный сценарий.

Есть такая шутка, копирующая реплику матери в спину ребенку, который идет купаться на речку: «Уто-

нешь – домой лучше не приходи» (в смысле: «Прибью»). Кара – универсальный воспитательный аргумент, а родители – карающая инстанция. В этой связи вспоминается угроза «Убью», достаточно часто звучащая из уст старших в простонародной среде.

В среде, ориентированной на европейские ценности, ребенок знает: в любой самой страшной ситуации, что бы он ни сделал, и чего бы с ним не приключилось, прежде всего, надо идти к родителям. И это – совсем иная картина. Родители – не карающая инстанция, а самые близкие люди. В нашем случае истерзанный разнообразным психологическим давлением подросток (бить ведь не обязательно; взрослый человек может раздавить ребенка морально-психологически) знает – им рассказать, да лучше повеситься.

Мы едва наметили контуры неоглядного пространства отечественной семейной педагогики. Истоки описанного разнообразны. В широком смысле это системное качество культуры. Тут и варварство, и гностицизм, и патриархальная модель мира. Зафиксируем, что репрессия как генеральная стратегия жизни занимает не последнее место в ряду факторов, задающих семейную атмосферу личностного формирования.

Онтологическое сиротство и репрессия дезонтологизации через утрату благорасположения/покровительства тотема

Как было показано выше, объект традиционной репрессии прибывает в состоянии онтологического сиротства. Мир, в котором он живет, не вполне подлинен и богооставлен. Иерархия, сакральная Власть снимает этот дискомфорт, простирая свою руку над головой несчастного подданного. Власть в данном случае выступает формой всеобщего, тотемом, сакральным отцом/Отцом небесным, который дарует онтологическое измерение, как самому подданному, так и миру, в котором он живет. Ближайшая наблюдаемая нами модель описанного –

фундаментальная несамостоятельность малого ребенка. Он нуждается в родителях далеко не только прагматически – чтобы одели, накормили, отвели в школу, защитили в сложной ситуации и т.д. В нормальной, благополучной ситуации с позиции ребенка все это происходит «само собой». Родители необходимы ему как космическая защита, как щит от ужаса бытия. Родительская любовь, благорасположение Старшего – фундаментальное условие счастливого детства и формирования полноценного человека.

В этой ситуации особая эмоциональная связь с Иерархией, сознание того, что Она знает о тебе лично, помнит о тебе, и заботится о тебе, бесконечно важна. Соответственно, утрата благорасположения Иерархии есть космическая катастрофа, ужасное наказание, отлучение от матери нашей Церкви, извержение/изгнание из рода. «Изверг» – страшное ругательство в словаре традиционного человека, смысл его сегодня в значительной мере утрачен. Между тем, изверг – исторгнутый из Плеромы во Тьму Внешнюю за чудовищные, святотатственные преступления, изгнанный из Рода. Кара отлучения от целого, которое составляет онтологическую полноту бытия, есть кара через вычеркивание из звания человека. Переживший это традиционный человек умирает. Может быть, он вовсе и не умирает, а начинает другую жизнь в ином месте и иной реальности, но традиционная культура об этом не знает, и знать не хочет. В глазах традиционного человека Иерархия, сакральная Власть есть безусловный экспликат целого.

Утрата благорасположения власти – сильнейшая репрессия. Но, подчеркнем, для человека традиционного общества и только для человека традиционного общества. Скажем, паллиат может находиться в контрах с властью и гордиться этим[1]. А личность, в общем индифферентна к тому, знает ли власть о ее существовании, и как

[1] Относительно паллиата справедливо следующее суждение: при этом он природняется к некоторой идеальной власти, которая была или пребудет в эсхатологическом будущем.

она к ней относится. (Речь не о прагматических аспектах – блага, преференции, защита и т.д.; речь о невещественном, о мистической связи). Личность несет всеобщее в себе и самодостаточна онтологически.

Вот как комментирует А. Давыдов роковой для Акакия Акакиевича Башмачкина разговор с большим начальником, который возмутился обращением Акакии Акакиевича к нему с пустяками и изволил гневаться. «Это не просто человек гневался, это Бог гневался. Это олицетворенная всеобщая сущность – тотем топнул на него ногой. Это лишил Акакия Акакиевича своей поддержки творец всего того, что связывало переписчика с этим миром»[1].

Вспомните, как остро переживает маленький ребенок ситуацию, когда вы сердитесь на него. Взрослый знает: все проходит, но для ребенка утрата благорасположения Отца – удар, а так как ребенок не знает о будущем и живет здесь и теперь, удар страшный. Благорасположение родителей надо восстановить срочно, иначе мир рушится.

Здесь сразу же вспоминается отъезд из Москвы Ивана Грозного. Шантаж традиционного общества лишением благодати Власти земной прошел удачно. Осиротевшая земля вручила Ивану чрезвычайные полномочия. Прошло всего сто лет и тот же шантаж традиционного общества лишением благодати власти небесной со стороны патриарха Никона не сработал. Выяснилось, что правоверный московит без небесной власти, при твердой власти земной, прекрасно проживает.

Нечто похожее переживали традиционные советские люди в дни смерти вождей и генсеков. Благодать властного омофора иссякла. Что-то будет? Автор хорошо помнит эсхатологическую истерию по смерти Сталина. Но и позже смерть Брежнева несла в себе нечто сверх рационально объяснимого беспокойства, заданного природой советской системы, не приспособленной

[1] *Давыдов А.* Душа Гоголя. М., 2008. С. 121.

к передаче высшей власти. При этом характерно, что рядом с традиционной реакцией разворачивалось совершенно иное отношение к происходящему модернизированного слоя советского общества.

Из устного народного творчества эпохи. Одиннадцатая пятилетка (1980 г.). Средний возраст членов Политбюро обещал неизбежные похороны. Пятилетка получила обозначение ППП (Пятилетка Пышных Похорон). После смерти М.А. Суслова (1982 г.), который умер первым, по Москве пошел лозунг «Поддерживаем и одобряем инициативу товарища Суслова!». После смерти Ю.В. Андропова (1984 г.) секретарь директора Института искусствознания рассказал автору анекдот: Колонный зал в траурном убранстве. Тихая очередь на входе. Сотрудники службы безопасности спрашивают у входящих: «Ваш билет?» – люди предъявляют. Один из входящих отвечает: «У меня абонемент».

Заметим, в знаменитом сталинском Уголовном кодексе наряду с высшей мерой социальной защиты, четвертаками и червонцами, содержалась такая ужасная кара, как «лишение советского гражданства». Из пространства сегодняшнего сознания это может показаться смешным. Между тем, расстреливаемые, кричавшие: «Да здравствует товарищ Сталин», в последних словах, произнесенных в их жизни, фиксировали свою принадлежность целому. По видимому, это было для них исключительно важно. Лучше самая жестокая репрессия, но я остаюсь одним из «наших». Я не извергнут из целого.

Выражение «Сирота казанская» возникает после завоевания Казани. Татарские мурзы, ставшие подданными московского царя, просились на московскую службу и искали поблажек, жалуясь на свою сиротскую участь. Но почему сиротскую? С гибелью Казанского царства они лишились законного правителя, то есть – осиротели. А что может быть страшнее участи сироты? В про-

зе И.С. Шмелева, или Ф. Абрамова – писателей разных эпох, глубоко погруженных в народную культуру – встречается устойчивое простонародное выражение «Сирота я слабая, безначальная». Человек без начала над собой – сирота, и этим все сказано. Нам остается заметить, что здесь фиксируется традиция, восходящая к Ростово-Суздальской Руси, которая не имеет ничего общего с традицией Господина Великого Новгорода или Киева X–XI вв. Здесь власть поставляли и смещали экономически и граждански самодостаточные субъекты, чуждые онтологического сиротства.

Репрессия как значимая часть идентичности

В одной из давних передач радиостанции «Свобода» автору запомнилась примечательное высказывание российского еврея, иммигрировавшего в Израиль. Попав в новую для себя среду, зрелый, сложившийся в СССР человек, обнаружил нечто значимое, что мешало ему воспринимать израильское общество как свое. Интервьюируемый говорил примерно следующее: «Разве это евреи? Еврей – это физически слабый, забитый, знающий свое место человек. А здесь – уверенные в себе, высокие, крепкие парни и курчавые девушки с автоматами «Узи» на плече; хозяева жизни. Нет, это что-то совсем другое».

Читатели старшего поколения, которым довелось жить в СССР, легко поймут, о чем идет речь. Антисемитизм веками сопутствует еврею. Бытовой антисемитизм и негласное подтравливание на уровне государства были фоном существования советских евреев, по крайней мере, с 1947 года. Давление внешней среды консолидировало и задавало климат еврейской среды. То был фундаментальный фактор бытия; из которого вырастал национальный характер, эмоциональный строй личности, строй межличностных отношений. Одним словом, это было нечто исключительно важное, конституировавшее российское еврейство как целое и российского еврея как отдельную личность.

Израильский проект для того и создавался, чтобы изжить и преодолеть описанное, и израильтянам это удалось. Но, попав в новую для себя среду, наш герой обнаружил, что мир без второсортности и приниженности еврея чужд его природе. Его личность, существенные характеристики психологии, сознания, актуальной культуры не просто предполагают, но требуют среды, в которой вырос наш герой. Не второсортный еврей чужд ему экзистенциально. Он может нравиться или не нравиться, ему даже можно завидовать, но это что-то другое, лежащее за гранью сопереживания и природнения.

В контексте нашего исследования евреи, как приниженная, статусно второсортная группа традиционного российского общества, высвечивают особенность репрессивного сознания. Человек, выросший в мире высокой репрессии, понимает и переживает себя-в-мире таким образом, что репрессия входит важным и неустранимым моментом в эту картину. Нормальный мир устроен через репрессию. Так устроен и сам носитель репрессивной идентичности. Репрессия вошла в природу его личности. Мир, в котором репрессия снижена, введена в некоторые рамки, маргинализована – мир неправильный, лежащий за гранью экзистенциально постижимого.

Мы убеждены в том, что в традиционном российском сознании репрессия относится к значимым моментам идентичности. В последние 50 лет наблюдается некоторое снижение значимости этой компоненты, но говорить о ее снятии не приходится. Идентичность относится к базовым сущностям, сохраняющим самотождественность социокультурного целого. Кроме того, идентичность представляет собой системное целое, элементы которого взаимоувязаны и «подпирают» друг друга. Переформатирование идентичности – процесс революционный, исключительно сложный и энергоемкий.

Мазохистские практики.
Компенсаторные механизмы

Жизнь в мире, пронизанном неправовым насилием, многообразно дискомфортна. Выше мы писали о том, что наряду с дискомфортом эта ситуация рождает массу позитивных переживаний и ценна для адекватного объекта репрессии. Однако наряду со всем этим присутствует и устойчивый дискомфорт. Отсюда амбивалентное отношение и к власти, и к «нашей» реальности. Сладкое замирание сердца при виде живого бога, сложная, перемешанная с острым импульсом бежать прочь, тяга приблизиться к Владыке. Пусть не слишком близко. Приблизиться так, чтобы он меня еще не различал в толпе, но я уже оказался в поле сияния, в пространстве сакральной энергетики.

Отношение к власти глубоко амбивалентно. Такова языческая архаика. Тяга, море позитивных эмоций, плюс страх и широчайшее пространство дискомфорта. Перед нами сложная и противоречивая эмоционально-смысловая амальгама, которая находит свое выражение в специфических формах поведения носителя российской культуры.

Власть можно *по видимости не любить*. Но это – особая специфически детская форма претензии к Богу. Это – выражение конфликта между внешним, объективным по отношению к тебе миром, и миром внутренним с его желаниями, эмоциями, аффектами. Власть – сущность объективирующая то, что заданно внешними детерминантами. Власть это воплощенное «надо». *А я не хочу*.

«Во гады. Что хотят, то и делают. Все плохо. Несправедливость. Воруют, бьют морду, сами в роскоши купаются, а нас в нищете держат. Бедный я бедный. А что поделаешь. Плетью обуха не перешибешь. Но бедный я, несчастный». Всякий, знакомый с российской реальностью, легко узнает этот монолог. Ругать власть и плакаться на нашу долю – культурная норма, живущая

в традиционном слое общества. Перед нами компенсирующее рутинное выражение эмоций несостоявшегося человека, не способного к самостоятельному бытию.

Самое существенное здесь – н*асильственный характер вписания* такого человека *в реальность государства и цивилизации*. В заданной конфигурации индивидуальных характеристик это вызывает острый протест. Протест до/частично государственного индивида против чуждого ему космоса.

Переживания дискомфорта от жизни в объективно уродливых, неприглядных реалиях заданных *базовой российской диспозицией*. Суть этой диспозиции состоит в том, что д*оличностные,* частично субъектные *подданные,* полностью ведомые, предстоят *сконцентрировавшей всю полноту субъектности* касте *хозяев жизни* (политическому классу, номенклатуре, царю и слугам государевым), осуществляющим всю полноту руководства и управления целым в своекорыстных интересах.

Важно осознать, что управление объектной массой *с необходимостью* будет кастовым, своекорыстным, эгоистическим, а реальность, вырастающая из такой диспозиции, колеблется в диапазоне от страшно-бесчеловечной до удручающе убогой. Такова природа человека, такова природа общественных отношений. Об этом много сказано философами, психологами, обществоведами. Об этом же свидетельствует шесть тысяч лет истории человечества.

Из описанного дискомфорта существует один-единственный выход: превращение всего общества в совокупность субъектов, размывание и уничтожение правящей касты и установление демократических отношений. Но для этого подданный должен совершить качественный скачек. Убить в себе раба и стать гражданином. Практически это означает – принять государство и цивилизацию, то есть снять внутренний конфликт между «надо» и собственной органикой. Однако, объект нашего исследования не хочет и не может меняться. Его

политическая философия состоит в ожидании доброго царя, который будет «заботиться о народе» и трепать бояр. Иными словами, сакральная власть, которая, по понятию, блага и справедлива, должна, наконец, стать актуально благой и справедливой. Если это не так, все плохо. Но не в космосе, где что-то не так (то есть в базовых основаниях культуры, об этом традиционны субъект думать не может). Плохо в нашей власти, она уклоняется от должного. И это – дискомфортно.

Здесь требуется отступление. В перспективе обыденного разговора слова «раб», «холуй» или «варвар» воспринимаются как ругательства, пронизанные определенной этической окраской. Холуй – личностная характеристика, ценностная диспозиция человека. Однако эти персонажи человеческой комедии имеют историко-культурное или стадиальное прочтение. С этих позиций раб или холуй – не ругательства, но обозначения определенного исторического типа. Это всего лишь – паллиативная, промежуточная форма человека, частично вписанного в государство и цивилизацию, человека доличностного, ведомого, изуродованного развращающим насилием.

Объективная необходимость в касте правителей, которая, в условиях жизни в обществе, состоящем из безгласного стада, не может ни быть своекорыстной, хамской и презирающей «подъясачных», исчезает только тогда, когда быдло маргинализуется, а бого- и начальственно- боязненный народ превращается в сообщество граждан. Понятно, что каста правителей будет всеми силами препятствовать такой трансформации. Инкриминировать ей такое поведение все равно, что осуждать «кровожадного» волка. Эту часть пути поздние верноподданные должны пройти сами.

Что мешает позднему рабу стать гражданином? Он уже тяготится своим положением, он уже слишком много узнал для того, чтобы оставаться добродетельным рабом. Но существует сила пуповины, связывающая его

с миром традиции, и разорвать эту пуповину страшно. Будучи промежуточной конструкцией в логическом отношении, паллиат (частично вписанный в государство и цивилизацию человек) являет собой самостоятельный исторический тип и, как любая устойчивая культурная целостность, задан на бесконечное воспроизводство.

Переход в статус человека цивилизации и полноценного гражданина разрушает мир Фирса и Акакия Акакиевича. Культура закладывает в психику человека иррациональный страх перед качественным переходом. Надо жить здесь! Оставаться в «нашем», таком привычном и узнаваемом. Пусть здесь немного пахнет дерьмом, мы принюхались, зато это свое, исконное. Так сохраняется базовая российская диспозиция: государство, как ярмо традиционной власти, накладываемое на частично государственного подъясачного.

Среди значимых характеристик Власти присутствует скорая и эффективная расправа с явными, вызывающими нарушителями порядка. Если власть не демонстрирует этого, она профанизуется и рождает острый протест в сознании маленького человека. Он может *усомниться во власти,* и начать провоцировать ее на расправу. Если же власть на расправу не идет, так это вообще не власть, а вызов космическому порядку вещей.

Тест власти на свирепую расправу близок к механизму богохульства. Когда же меня гром разразит? Если гром не грянет, растет ожесточение строптивого раба, он не унимается. Получил – успокоился. Возвращается равновесие. Мир вернулся к нормальным очертаниям. Эту механику можно наблюдать на детях, либо в патриархальной семье, где баба «надирается», то есть провоцирует старшего, получает по морде, и умиротворенно затихает. Все правильно. Этот механизм давно описан психологами. В случае с ребенком провоцирующее взрослого поведение объясняется потребностью привлечь к себе внимание. Такое поведение свидетельствует

о том, что привлечь это внимание по-другому ребенок не может, не умеет.

Иногда возникает ощущение, что ужасы и издевательства представляют собой месть позднего тирана рабам за то, *что они терпят.* За то, что они своим терпением превратили энергичного, честолюбивого человека в чудовище. Когда же кто-нибудь из них поднимется и убьет меня? Это – ожидание того же грома небесного. Род богохульственного эксперимента, но из позиции носителя власти.

Раб и тиран – взаимосвязанная и взаимопорождаемая пара персонажей, воспроизводимая традиционной культурой. И первый и второй вызывают у свободного человека отторжение. Однако, как представляется автору этих строк, раб омерзительнее и вина его выше. Именно раб соблазняет, востребует и создает тирана. Это не снимает моральной ответственности с крепостников. История многократно ставила эксперимент: уничтожение тиранов, вплоть до поголовного, при условии, сохранения рабов (разумеется, речь не о социальном статусе, но культурном типе, об онтологии) ничего не меняет. Буквально завтра, как феникс из пепла, рождаются новые тираны, расцветает холуйство, мир заново погружается в оскорбляющее человеческое достоинство скотское бытие. Уничтожению подлежит раб.

Объект растождествления

Не менее показателен объект растождествления традиционно-репрессивной культуры. В полном соответствии с законами самоорганизации он воплощает в себе ценности и тенденции, ведущие к деструкции описанного выше традиционалистского комплекса. В русском языке существуют три устойчивых понятия – буржуа, мещанин, обыватель. Они имеют общие элементы смысла. В контексте нашей темы существенно то, что анти-персонажи объединяет отсутствие описанных выше модельных установок и специфически российских комплексов.

Чем плох буржуа? Буржуазность понимается как альтернатива отвержения мира и отвергается по этому основанию. Боярин служит государю и потому вынужденно погружается во зло «мира сего», ибо нет другого способа сохранить православное царство и веру христианскую. Крестьянин и ремесленник должны кормить себя и свою семью. Работая «на прожиток» они вынуждено преобразуют природу и воспроизводят «сей мир». Буржуа же служит самому себе. Он прикосновенен ко злу «мира сего» по собственному выбору и воспроизводит его ради удовлетворения собственных похотей.

В той же логике формируется отторжение мещанина и обывателя. Углубленный анализ показывает, что суть мещанина в генеральной жизненной интенции. Мещанин живет для себя, своих близких, своей семьи и озабочен обустройством своего универсума. Иными словами, *мещанин принял мир и, по возможности, устраивается в нем удобно и комфортно.* Он даже может не гнаться за большими деньгами, хотя любит и ценит достаток. Важно то, что мещанин принял «мир сей», отказался от вечной борьбы с природой вещей, дезертировал с фронта противостояния истории и цивилизации.

Мещанин – ругательство в словаре русского интеллигента, фиксирующее безнадежное извращение человеческой природы. Мещанин – традиционный объект обличения советской литературы. Чтение этой литературы показывает одну особенность трактовки темы: мещанин не поддается исправлению[1]. От него можно лишь с презрением отвернуться, предоставив времени продемонстрировать крах мещанского мира. И это существенно: человек не прошедший инициации в гностическую культуру и социализовавашийся в альтернативной системе ценностей становится неуязвимым для морока мироотвергающего горения.

[1] «Перековка», исправление человека, превращение вчерашнего «несознательного» в «нашего», приобщение его к целостности советского народа – существенный элемент мифологии и сквозной сюжет советской литературы.

В СССР существовали специальные идеологические ругательства, описывающие нравственные пороки – «вещизм» и «приобретательство». Приобретательство, как и вещизм, зримо связывает человека с вещным, телесным миром. Зараженный приобретательством – антипневматик. Важно отметить, что костившая мещанина словесность далеко не исчерпывалась идеологическим конформизмом и циничной конъюнктурой. В советском обществе находились совершенно искренние враги приобретательства.

Все эти персонажи бескрылы, приземлены, пошлы, и самодовольны. Первые характеристики, очевидно, отсылают к гностическому идеалу пневматика. Бескрылый (он же приземленный) целиком и полностью принадлежит этому миру, не способен и не испытывает потребности воспарить над землей. С пошлостью все просто. Пошляк – тот, кто смеется над святынями, профанирует сакральные ценности. Жизненная позиция обывателя профанирует сакральные ценности ревнителя российской духовности.

Мещанское или буржуазное самодовольство заслуживает комментария. В понятии «самодовольство» российская традиция описывает комплекс самоощущений, присущий человеку, лишенному переживания онтологического сиротства. Антипод правоверного носителя русской культуры *укоренен в бытии* и *лишен* изъязвляющего *чувства неизбывной вины*. Он – *самоценен* и *самодостаточен*. Сознание самоценности собственного бытия, неотчуждаемость статуса человека, законно существующего в человеческом мире, порождает неотъемлемый минимум самоуважения и собственное достоинство. Это-то и обозначают как тупое мещанское самодовольство.

Отношение к антиподу воинственно агрессивно. Острые чувства, которые вызывает носитель цивилизационной альтернативы, существующий в теле «нашего» общества, заданы сложным амбивалентным комплексом переживаний, которые продуцирует этот

персонаж. Дело в том, что дискомфорт, неуверенность в себе и мире, страдания и самоуничижение заданы нашему человеку культурой. Такая диспозиция впитана с молоком матери. Но это срабатывает ровно до тех пор, пока носитель культуры не столкнется с личностно выраженной альтернативой, ибо он не только правоверный носитель традиции, но еще и человек. В нем живут задавленные, но не истребленные до конца импульсы, устремления, желания. Оказывается, можно жить, не подавляя собственной природы.

Итак, мир для обывателя не богооставлен. Он осознает этот дольний мир как онтологически полноценный, необходимый и одновременно достаточный для человеческого бытия. Обыватель укоренен в этом мире, наполняет его смыслами, содержанием, целями, отдается жизни в мире со всей отпущенной ему энергией, обустраивает его, делает чище, удобнее, достойнее. Наконец, обыватель лишен авторепрессии. Ему чуждо и непонятно неизбывное чувство вины.

На языке традиции описанное нами называется соблазном и искушением. Уверенность в себе, способность к удобно обустроенному быту, открытость радостям жизни и т.д. перечеркивают реальность, выстроенную на традиционных ценностях, обессмысливают ее. В том, что такие люди существуют и преуспевают, содержится страшный вызов нашим Богам. Так жить нельзя. На головы нарушителей великих заповедей должны обрушиться кары небесные. Если же этого не происходит и не произойдет в ближайшем будущем, возникает самая страшная для традиционного сознания опасность: оно может усомниться в абсолютности своих сакральных истин. Такая ситуация рождает сильнейшие эмоции. В критические эпохи формирует массовые движения, сплачивает воедино людей, горящих религиозным рвением разрушить богомерзкий, отринувший аскезу мир западного потребителя. Здесь истоки большевизма, иранского фундаментализма, Аль-Каиды.

Сознание обывателя не расколото. Он не разрываем между высоким, но нереализуемым Должным и низменным сущим, между духом и материей, между эсхатологической устремленностью в дальнюю даль и естественным стремлением хоть как-то обустроить сегодняшнюю жизнь. Он не только не разделяет всех этих представлений, но не понимает о чем речь, то есть – чужд экзистенциально главному и сокровенному. Целый мир проблем, комплексов, недоговоренностей, входящих в ткань сознания правоверного носителя традиции, ему недоступен. Мещанин целостен и в этом – содержится вызов основаниям бытия.

Автономность обывателя в онтологическом аспекте оборачивается психологической интегрированностью личности и высоким уровнем адекватности социальной реальности. Как самодостаточный, автономный субъект он не нуждается в окормлении целым и вообще индифферентен к смыслам, страстям и пафосам целого. Если это необходимо, он может успешно мимикрировать, но на самом деле ему наплевать на целое. Наконец, как самодостаточный и адекватный реальности субъект, он начисто лишен инфантильности, знает все ходы и выходы, умеет устроиться, решить любую проблему. Живет сыто, удобно и комфортно, в гармонии с самим собой и миром. Если и страдает, то от того, что не достаточно преуспел в жизни. Что можно сказать о таком человеке? Мерзавец. Если же оставаться в пространстве нормативной лексики, перед нами эталонный объект растождествления для традиционного человека.

Объект и субъект репрессии:
Личностное измерение

Репрессивная культура репрессирует всех. Перед репрессией все равны. Но одни оказываются равнее. Каждому объекту репрессивного действия противопоставлен субъект репрессии.

Субъект

Начнем с того, что этот субъект, в свою очередь, репрессируется по другому, в другом отношении, в рамках иных механизмов, был жестко репрессирован ранее, не гарантирован от репрессии завтра и т.д. Но в данном случае он выступает как субъект. Субъект репрессии включен в процесс воспроизводства внеправовой репрессивности, принимает такой порядок вещей, извлекает из своего статуса блага и преимущества, оправдывает и поддерживает данный порядок вещей. Здесь надо подчеркнуть, что ситуация репрессивной культуры порождает массу больших, малых и мельчайших преимуществ, благ, выгод, проистекающих из статуса субъекта репрессии. Эти позиции осознаются обществом, имеют высокую ценность, к ним стремятся.

Лестница восхождения от объекта к субъекту репрессии

В общем случае (то есть за вычетом физически неполноценных, париев и т.д.) каждый человек в традиционно репрессивном обществе имеет шанс пройти путь от объекта к субъекту репрессии. Салага, который тащит на собственной спине старослужащего, может утешать себя тем, что скоро старослужащие пойдут на «дембель», а там он станет старослужащим и тогда уже новые салаги будут таскать его из столовой на своем горбу. Эту эволюцию хорошо видно на предоставленных самим себе детях. Младшие, обижаемые старшими детьми, подрастая, возвращают свои обиды новым младшим, воспроизводя пирамиду репрессии патриархального старшинства. Забитая девочка выйдет замуж, попадет в дом мужа, где будет не сладко и с мужем, и со свекровью. Но однажды она станет свекровью. И тогда у нее есть шанс отыграться за все обиды и унижения. Лестница восхождения по пути от жертвы к тирану воспринимается как космический закон, как воплощение справедливости. Меня тиранили, но теперь/завтра, послезавтра тиранить буду я.

Помимо возрастного роста и обретения патриархальных статусов (главы семьи, отца), дающих право на репрессию, существует вертикальная мобильность. Энергичные, предприимчивые, властные по природе люди обретают социальные статусы, которые делают их субъектами освященной законом или традицией репрессии. Они тоже прошли лествицу, став субъектами репрессии в силу тех или иных обстоятельств и личностных качеств.

Блага и привилегии субъекта

Преимущества субъекта репрессии многоплановы: психологические, статусные, имущественные. Субъект репрессии обладает внеправовой, неограниченной жесткими нормами властью, использование которой зависит от его усмотрения. Такое положение рождает массу возможностей.

В психологическом плане субъекта репрессии окружает страх, любовь и уважение, амбивалентная тяга-боязнь, переживаемая подвластными. Он состоялся, стал настоящим, полноценным человеком и это рождает чувство глубокого удовлетворения. Традиционно ориентированный российский «начальник» глубоко убежден в том, что мир делится на пастырей и пасомых. И только пастыри являются людьми в собственном смысле слова[1]. Приобщаясь к сообществу Властителей (то есть, субъектов репрессии) наш герой становится настоящим человеком. Это сообщество – особый круг, замкнутая среда, со своим образом жизни, интересами, формами отдыха, внутриэлитными браками и т.д. Как и везде, здесь свои сложности, опасности и проблемы, но только этот мир – мир Власти – является настоящим, стоящим, тем, ради чего можно жить и бороться. Публицистика эпохи Перестройки упирала на спецбуфеты и обкомовские распределители. То был взгляд на сакральную власть с позиции несчастного, замордованного подданного. Главное же – сама причастность к Власти, принадлежность к властному слою.

[1] Совершенно не обязательно громко декларировать эти вещи – достаточно понимать. Среда посвященных, инициированных Властью – особый, сокрытый мир. О нем не пристало говорить с профанами.

Принадлежность к Власти оборачивается благами и привилегиями. Они обширны и очевидны, нет смысла их перечислять. Отметим только одну – неподсудность. Скорее всего, человек власти «отмажет» себя и своих близких и вытащит их из любой истории, которая для простого смертного может кончиться катастрофой. Для нас же интересна та грань образа российского «начальника», в которой он выступает как субъект репрессии.

Поскольку российская репрессия зависит от начальственного усмотрения (масштаб, мера обоснованности, применение или не применение репрессии), субъект репрессии обретает практически неограниченную власть над подданным в пределе подведомственности. Возможно, кому-то из читателей слова о неограниченной власти покажутся преувеличением. Рассмотрим житейский пример: секретарю Горкома партии приглянулась молодая жена заведующего плодоовощной базой. Что делать несчастному мужу? Писать жалобу в Обком? Той же ночью его увезут по скорой в психбольницу. А на следующий день на базе начнется ревизия, и эта ревизия выявит приписки и хищения, которые тянут на полноценный «червонец». Выяснится, что дача завбазой была построена из материалов, запрещенных к продаже в розницу (в СССР существовали такие запреты), и стоит денег, соответствующих заработной плате героя за пятьдесят восемь лет беспорочной службы. Кроме того, «отмазанный» от армии старший сын заведующего числится студентом второго курса областного педвуза, но не посещает занятия. Следственные органы выявят все эти безобразия, а парня призовут и пошлют служить на флот. Оставшись среди голых стен после конфискации имущества, молодая жена разведется с несчастным, после чего в порядке милости ее возьмут на работу буфет-

чицей в Горком. Так что директору базы останется омыть свою жену слезами и возвести на ложе любвеобильного главы городской партийной организации. Такова природа социальной ткани традиционно-репрессивных общества. Отсюда поборы, взятки, подношения, выполнение законных и незаконных просьб и пожеланий. И сверх всего этого непередаваемое, упоительное для некоторой категории людей чувство полной власти над другими людьми.

Здесь вспоминается в высшей степени характерная трактовка понятия «уважения», принятая в традиционной среде. Этическую категорию «уважения», предполагающую отношение, связанное с признанием достоинств, высоких качеств кого-либо, признание ценности, значимости, традиция жестко увязывает с чувством страха. Боятся, значит уважают. А если тебя/нас не боятся, кто же тебя/нас уважать будет? В сентенции: «Боятся, значит уважают» – нам явлена лежащая вне этики позиция. Мы сталкиваемся здесь с особым, архаическим прочтением сакрального, противопоставленного профанному, ценностно выделенного. В этой системе координат страх конституирует любые суждения этического плана. В архаическом сознании сакральное вызывает трепет. Оно амбивалентно и опасно. При всех обстоятельствах с ним надо быть настороже. Но какое все это имеет отношение к этике? Этическое возникает в следующую историческую эпоху, после распада архаического сознания.

В российском традиционном космосе страх окружающих – самый дорогой и самый значимый атрибут субъекта репрессии. Отметим, что такие символические реалии как нагайка, сабля у пояса, или секира в руках охраны знаменуют скорую на расправу и безусловную власть над животами подданных.

Объект репрессии

Многое о маленьком человеке, находящемся под прессом постоянного давления, рассеяно в нашем тексте. Избегая повторов, ограничимся суммирующим суждением.

Объект репрессии живет в пространстве неограниченной репрессии и во многом задан этим фундаментальным обстоятельством. Его психология, культурные навыки, мировоззрение – отсюда. Он с детства осваивает технологии выживания, топологию этого пространства, способы консолидации с другими подъяремными. Учится обходить законы и предписания власти предержащей, делать подношения, давать взятки, прибедняться, придуриваться. Умеет переживать удары судьбы и ценить специфические маленькие радости. Если вместо общих работ на лесоповале тебе удалось пристроиться на кухне, или санитаром в больничке – это большая жизненная удача. Ты определенно родился под счастливой звездой. Недаром про бабку говорили, что она колдунья: наворожила, старая, сладкую жизнь.

Объект традиционной репрессии лукав, показно законопослушен, внеморален, предан идее сакральной власти, решает любые проблемы в горизонте личных связей. Страдая от репрессии, часто несет в себе надсмотрщика, который вылезает наружу при первой возможности. Но это не обязательно. Объект репрессии бывает и тихим, забитым, человеком, не способным на гадости по отношению к другим людям. В этой среде попадаются люди отзывчивые и сострадательные, готовые помочь попавшему в беду. Взаимопомощь и солидарность попираемых и безгласных – лучшее из того, что порождает традиционная среда.

В такой среде редко встретишь людей радостных и беззаботных. Часто для них характерна исходная мрачность, повышенная тревожность, срывы слабо мотивированной агрессии по отношению к тому, кто попался под руку. Здесь не слишком ценят плотские радости, не знают утонченных наслаждений, но привержены спиртному. Выпивка разрастается до размеров главной, универсальной радости жизни, генерального способа

коммуникации, события по преимуществу, предмета бесконечных разговоров, шуток, обсуждений и воспоминаний.

Объект репрессии знает, что плетью обуха не перешибешь, а потому сторонится смутьянов, не «качает права» сам и не советует делать это близким. В широком смысле, он фаталист. Традиционный человек умеет утереться после начальственной зуботычины и пойти дальше. Возможно, вечером он напьется, будет грозиться кому-то и кричать на жену; но это будет вечером. Описываемая нами жизнь для него – привычная рутина. Никакой другой он не знает, а если рассказать ему – не поверит. Сказки все это. Так было и так будет. Мир лежит во зле, и мыкать нам горе до гробовой доски.

Глава IX
Феноменология репрессии

Обращение к этой проблеме требует описания *социальных субъектов репрессии*.

Субъекты репрессии

Конечным субъектом репрессии выступает социокультурная целостность. Однако от имени этого целого репрессию реализуют разные субъекты. Субъектом репрессии может выступать *государство, идеологические институты, радикальные политические организации* и институты и, наконец, *традиционная культура*. Последняя реализует низовую репрессию.

Когда религиозные фанатики громят Серапис и убивают Аспазию, когда монахи громят храм в Дельфах, субъект репрессии – *идеологические институты*. Когда Советское государство высылает чеченцев в Среднюю Азию или испанское государство изгоняет морисков из страны, субъект репрессии – *государство*. Когда германские штурмовики громят еврейские магазины или отечественные скинхеды убивают таджиков, субъектом репрессии выступают *политические организации*. Когда в Одессе или Киеве происходит еврейский погром, мы имеем дело с *низовой репрессией*, субъектом которой выступает *традиционная культура*.

В общем случае государство стремится ограничить активность всех иных субъектов на поле репрессии, оставляя им пространство быта, межличностных отношений, сферу повседневности. Рост низовой репрессии, активности идеологических и политических институтов на поле репрессии свидетельствует о кризисах государства.

Существует специфическая стратегия, в рамках которой государство устраняется от наиболее скандальных форм репрессии, делегируя ее реализацию идеологическим институтам, радикальным общественным

организациям (типа «Союза Михаила Архангела») или парамилитарным формированиям. Это всегда свидетельствует о глубоком кризисе государства и переходном периоде с неопределенным итогом. Часто такая политика плохо кончается. Использование парамилитарных формирований в Югославии для выполнения самой грязной работы не спасло Милошевича и Караджича от Гаагского трибунала.

Существует диалектическая связь низовой и государственной репрессии. Эти сущности взаимосвязаны и взаимообусловлены. При этом государственная репрессия более подвижна, пластична, рациональна, оказывается ведущей силой в процессах трансформации пространства допустимых форм репрессии.

Можно заметить, что агрессивные идеологические институты осуществляют не только направленную вовне репрессию. Прежде всего, в ходе формирования этих идеологических институтов, складывается практика репрессии, направленной на своих членов. Только после того, как сформировано жесткое внутренне пространство, идеологические институты берут на себя инициативу переустройства общества.

В этой связи вспоминается, что первый памятник письменного права в Киевской Руси – Номоканон, состоявший из постановлений церковных соборов и новел византийских императоров, регулировал жизнь церкви и церковных людей. «Правда Мономаховичей» появляется позже. Церковь до сих пор налагает дисциплинарные взыскания, в том числе и достаточно жесткие, на своих людей. В ВКПб/КПСС существовали свои институты внутреннего контроля и наказания. Самой страшной карой было исключение из партии. Как минимум, это означало крах карьеры.

Помянем, ради полноты картины, оставив за рамками подробного рассмотрения, криминальную репрессию. Когда преступное сообщество очищает свои ряды от осведомителей, сотрудничающих с правоохранительными

органами, или разбирается с «крысятником» в тюремной камере, мы имеем дело с криминальной репрессией, обращенной вовнутрь. Когда в 90-е годы «братки» пытками выбивали деньги из бизнесменов – перед нами криминальная репрессия обращенная вовне. Наконец, можно выделить низовую репрессию в тюрьме, армии, любых закрытых структурах.

Низовая репрессия представлена как в освященных традицией, ритуализованных формах, так и в спонтанно-креативном варианте. Дегтемазы, традиционные формы наказания неверной жены, традиция самосуда, обычаи кровной мести с которой веками боролось государство – все это устоявшиеся, традиционализированные формы низовой репрессии.

Сегодня многие слабо представляют себе самосуд в рамках традиционного крестьянского права. Там были свои традиции. Так, в русской деревне конокрада водили с хомутом на шее, при этом каждый мог бить водимого. Казаки чаще всего забивали конокрада до смерти, а немцы-колонисты рубили конокрадам руки.

Спонтанная репрессия совершается в связи с конкретной коллизией, за ней стоит решение некоторой группы носителей традиционного сознания, которые опираются на общие принципы обычного права. В качестве примера можно привести описанный в литературе эпизод: человек, изобличенный в воровстве у соседа пшеницы, по решению схода должен был поставить «обществу» ведро водки. В общем случае государство стремится ограничить обычное право, а с ним и низовые формы репрессии, беря на себя расследование дел и наказание виновных.

Объекты репрессии

Типология объектов *государственной* репрессии поражает своим многообразием. В общем случае это груп-

пы общества, выделенные по самым разнообразным признакам – идеологическим, расовым, этническим, конфессиональным, имущественным, культурным, сословно-классовым. Репрессируемые общности могут объединяться по месту происхождения (родившиеся и выросшие на территории буржуазных государств), или проживания (на оккупированной территории), пребывания в некоторой ситуации (в плену) и так далее. Репрессии могут подвергаться люди, оказавшиеся неудобными свидетелями некоторых событий, родственники, друзья и знакомые знаковых врагов Власти, эсперантисты, активисты скаутского движения, краеведы. Признак, по которому власть выделяет объект репрессии, прихотливо подвижен, задан массой конкретных обстоятельств и, сплошь и рядом, не прогнозируем. Ну, кто мог в 1998 году предсказать, что граждане Грузии, проживающие в РФ, окажутся нежелательными иностранцами?

Типология объектов *традиционной* низовой репрессии более устойчива и менее прихотлива. Низовая репрессия выбирает своих жертв по известным принципам. В общем случае это – Иные (этически, конфессионально, культурно), нарушители норм традиционной культуры и «вредоносы». Последняя категория нуждается в расшифровке. Вредоносы – персонажи, которых традиционное сознание трактует как несущих опасность. Например, колдуны. В некоторых случаях к этим людям могут обращаться за помощью, но в критической ситуации традиционный мир склонен отыгрываться на вредоносах. Часто этнически иные осмысливаются как вредоносы. Так, скинхеды и близкие к ним движения увязывают всех цыган и выходцев из республик Средней Азии с наркоторговлей, а жителей Кавказа – с организованной преступностью.

В чем выражается репрессия, какие формы принимает?

Отечественная репрессия бесконечно разнообразна. Она тотальна, превентивна, принизывает собой все

срезы бытия. Российская реальность устроена таким образом, что в общем случае каждый человек постоянно находится под гнетом репрессии.

Русская репрессия с одной стороны – постоянное, неустранимое давление. Давление вязкой бытовой среды, неустроенной жизни, хамства, барственного пренебрежения со стороны любого начальства, перманентной агрессии, которая вырывается наружу в каждой произвольной точке в любой момент, специфически российской смысловожизненной неопределенности, онтологического сиротства, гнетущего чувства вины, вызванного несоответствием принципиально невыполнимому Должному. Давление, вызванное необходимостью жить в рамках взаимно противоречивых и невыполнимых законов, подзаконных актов и установок Власти. Давление бесправности и беспросветности, ибо в этом пространстве не существует позитивной перспективы.

С другой стороны это – постоянное насилие.

Репрессия как системная характеристика пронизывает собой все измерения социокультурного универсума, высвечиваясь в массе частных проявлений. В качестве примера можно привести *карательный уклон судопроизводства*. В современной России статистика насчитывает 0,5 % оправдательных приговоров. Для сравнения укажем, что в европейских странах оправдательные приговоры колеблются в диапазоне 20–40 % от общего объема. Заметим, что карательный уклон судопроизводства создает проблемы для самой власти. Страсбургский суд завален жалобами российских граждан. Неправосудная система стоит на пути формирования эффективной рыночной экономики. Гражданин не имеет шансов выиграть процесс, если он судится с государством или муниципальными органами. Все это рождает значительные внешнеполитические издержки, формирует негативный имидж государства, снижает инвестиционную привлекательность России.

Можно вспомнить о том, что карательный уклон советской судебной системы был одной из проблем,

напряженно обсуждавшихся в эпоху Перестройки. То обстоятельство, что общество, декларировавшее решительный разрыв с прошлым, возвращается к устойчивой неправосудной практике, говорит о многом. Эту эволюцию нельзя исчерпывающе объяснить своекорыстными интересами бюрократии. Карательный уклон вырастает из онтологии отечественной культуры. Он естественнее, привычнее, ожидаемее. Стоит расслабиться, и система сама, в рамках простейшей самоорганизации, возвращается к устойчивым параметрам. Это обстоятельство не подлежит коррекции. Надежный результат возможен только в случае деструкции системного целого.

Не менее колоритна атмосфера *низовой репрессии.* Формы ее также бесконечно разнообразны. Немотивированная агрессивность, пьяные драки, ритуальные драки (на меже, на свадьбе, подростков), травля слабого и чужого, убийство соседского куренка, забежавшего на чужой огород и многое, многое другое. Здесь же лежит безбрежный океан внутрисемейного насилия, зачастую очень жестокий мир подростков. Отношения между женщинами, когда в обувь сопернице подсыпают толченое стекло и насылают порчу, колдуют, клевещут – все это реалии традиционного мира.

Скажем несколько слов о традиционализованных формах низовой агрессии. Ритуальные, из года в год повторяющиеся драки стенка на стенку на меже парней из соседних населенных пунктов, скорее всего, восходит к эпохе догосударственного бытия. Это – конфликты на границах, разделявших земли, занятые родовой или соседской общиной (распаханные земли, покосы, заводи, речные ловли). Такие драки устанавливали баланс сил и подтверждали/не подтверждали устоявшиеся границы. Задирания парней из соседней деревни и драки на улицах восходят чуть ли не к состязательным битвам самцов за самку. Интересна традиция обязательной драки на свадьбе. На наш взгляд, разумное объяснение состоит в том, что свадьба как большой космосозидающий ритуал

моделирует универсум. Русская культура стоит на том, что нет мира без драки. Так осмысливается и включается в космос традиционной культуры агрессия по отношению к чужому (такому же, как мы, но «не нашему», соседу).

Подробное описание феноменологии отечественной репрессии заслуживает самостоятельного развернутого исследования. Отметим только, что стратегия и тактика репрессий меняется от эпохи к эпохе. Разительно меняется номенклатура наказаний и давлений. Вообще говоря, на отечественных просторах применение репрессий – живой, в высшей степени, творческий процесс. Кто двадцать лет назад думал о закрытии газет и телевизионных каналов в результате «спора хозяйствующих субъектов», о снятии с выборов политических партий или кандидатов в депутаты, о судебных исках чиновников к журналистам, о судебном преследовании неугодных предпринимателей и т.д.? Кто двадцать лет назад знал, что такое «налоговое администрирование», и как с его помощью можно разорять предпринимателя? А кого сегодня волнует исключение из КПСС, или разгромная передовица в газете «Правда»? Новое время рождает новые репрессии.

Пространство отечественной репрессии сложнообозримо, подвижно, постоянно пополняется новыми формами. По всему этому ограничимся зарисовками отдельных, попавших в поле нашего зрения форм.

Сфера повседневности

Гуманитарная мысль XX века много работала над прояснением места и роли повседневности в жизни каждого человека. Э. Гуссерль раскрывает обыденность как универсум сущего. Исследуя «структуры повседневности», Ф. Бродель выявляет фундаментальную роль повседневного в историческом бытии. Повседневность исследовали социологи А. Шютц, Т. Лукман, П. Бергер. Здесь повседневность выступает «в качестве естествен-

ной реальности», мира здравого смысла, в котором человек выстраивает все свои действия. В России к названной проблематике обращались М.М. Бахтин, Ю.М. Лотман, другие исследователи. Наши соотечественники плодотворно работают над исследованием культуры повседневности. Исследования феномена повседневности формируют понимание того, что повседневность представляет собой верховную реальностью, составляющую фундамент отношений человека с окружающим миром.

В свете этого легко понять, что в культурах репрессивных сфера повседневности (ключевой фактор бытия всякого человека) оказывается полем мощной, всеобъемлющей и всепроникающей репрессии. Прежде всего, здесь надо выделить *регламентацию жизни* как универсальный механизм репрессии повседневности.

Регламентация жизни как форма репрессии

Человек по своей природе нуждается в некоторой свободе. Потребность в свободе предполагающей самые невинные реализации – заснуть после обеда в кресле, а не на диване, что, возможно, было бы рациональнее, пойти направо, а не налево во время прогулки, остаться наедине, располагать своим личным временем по своему усмотрению и т.д. – естественна, непреодолима и неистребима. Помимо описанных форм, человеческая свобода реализуется в необозримом пространстве самопроявлений человеческой сущности: выбирать убеждения, верования, образ жизни, род занятий, друзей и знакомых, любимого человека, место проживания и т.д.

Как мы знаем, свобода не безгранична. Существуют этические и юридические границы человеческой свободы. Всю историю человечества можно рассматривать как процесс осознания, утверждения, пересмотра этих границ. Как государство, так и традиционная культура, либо общественное мнение в урбанизированной культуре, регламентируют жизнь человека. Вне границ и регламентации социальные формы не возможны.

Иными словами исторически поведение каждого человека регламентируется формальными и неформальными структурами. Мера этой регламентации варьируется от культуры к культуре, от эпохи к эпохе и зависит от многих факторов. В общем случае сформированный исторической эволюцией человек принимает определенный уровень регламентации как естественный порядок вещей. Существует согласие общества на некоторую меру регламентации. При всем этом, любое повышение уровня заданности и зарегулированности, ограничение свободы встречает исходное противодействие, которое коренится в природе человека.

Регламентация человеческой жизни создает могучее по своему воздействию и широчайшее пространство репрессии. Это суждение верифицируется универсальной закономерностью – во все времена, наказания и репрессия неотделимы от ограничения свободы и жесткой регламентации. Малолетний ребенок, поставленный в угол, переживает утрату свободы бегать по комнатам как тяжелое и обидное наказание. Тюрьма, лагерь, колония-поселение, статус условно осужденного предполагают разные уровни регламентации. Причем, чем строже форма наказания, тем жестче уровень регламентации. Жизнь каторжанина не сахар, но его сосед, прикованный за преступление в местах заключения к тачке, мечтает о статусе простого каторжанина. Об этом писал Ф.М. Достоевский. Свободный человек всегда регламентирован в меньшей мере. Каждый акт регламентации, любое ограничение свободы по отношению к устойчивому опривыченному уровню воспринимается и переживается как репрессия. Любое расширение пространства свободы, снятие регламентации – как благодеяние. Чем шире регламентация, чем более она всеобъемлюща, чем глубже правящая иерархия внедряется в приватное пространство, тем мощнее репрессия.

Всегда и при всех обстоятельствах подчиненные, низко статусные группы общества регламентированы более

жестко. Им запрещено то, что разрешено – не важно, де факто, или де юре – привилегированным сословиям. Так, сословное разделение советского общества жестко регламентировало средства передвижения. Носители высшего иерархического статуса ездили на «членовозе» (ЗИЛ-117), следующего – на «Чайке», начальников районного уровня возили в черной «Волге». Обывателю оставались «Жигули» и коммунальный транспорт. Обыватель не мог купить статусный автомобиль; привилегия использования статусных авто принадлежала элите. Обыватель не мог иметь и личного шофера. Эта привилегия также принадлежала исключительно элите. Продолжим транспортную тематику. «В империи инков через реки и пропасти, как правило, были перекинуты два подвесных моста – один для Инки и его "номенклатуры", другой – для всех прочих»[1].

Чрезмерная, сковывающая регламентация относится к базовым, универсальным формам репрессии. В данном случае можно рассмотреть цели. Цели регламентирующей репрессии – манипулирование человеком, разрыв социальных связей и атомизация общества, подавление человеческой субъектности, формирование ведомого, в идеале – создание абсолютного объекта.

Первое – достаточно очевидно. Человек, принимающий регламентирующее ограничение, не соответствующее его собственному суждению о необходимом уровне регламентации, выступает объектом манипуляции.

Второе требует объяснений. Социальные связи реализуются во времени и пространстве. Для того, чтобы устанавливать и поддерживать эти связи человек должен располагать необходимой свободой – общения, поведения, принятия решений и т.д. Репрессирующая человека регламентация выстраивается таким образом, чтобы минимизировать пространство этой свободы, а в идеале – свести к нулю. Когда родители запрещают подростку выходить во двор после восьми часов вечера, где к этому времени регулярно собирается «плохая» компания, они регламентируют поведение ребенка с целью разрушить нежелательные социальные связи. Власть действует точно таким же образом.

[1] *Стариков Е.Н.* Указ. соч. С. 95.

Третье также заслуживает комментария. Принимая новую для себя регламентацию, человек демонстрирует свое согласие на господство над ним, реализует подчиненную позицию и это – первый шаг. Далее он вступает в медленный, но неотвратимый процесс личностной трансформации. Жестко исполняемый регламент входит в сознание, психический строй личности. Происходит опривычивание жизни по правилу. Проходит время и человек выполняет это предписание автоматически, без оглядки на иерархию. В случае нарушения, например по забывчивости, он переживает чувство дискомфорта. Маленький ребенок сам по себе далеко не склонен мыть руки и чистить зубы по утру. Однако постоянные усилия родителей, внедряющие эту регламентацию, приводят однажды к тому, что он сам начинает делать это безо всяких понуканий. Здесь мы сталкиваемся с универсальным механизмом. Любые нормы, внедряемые через жесткую регламентацию, усваиваются таким образом. Наконец, поколение, рожденное в обществе, жестко исполняющем некоторый регламент, воспринимает его как естественный порядок вещей. А если и нарушает, то воспринимает нарушения именно как *нарушения регламента*.

Нормы могут быть сформулированы так, что человек лишается пространства субъектности. Если правила регулируют вся и все, а любые значимые для человека решения принимаются за подданного иерархией, то пространство свободы просто исчезает, а вместе с ним минимизируется человеческая субъектность. Подданному остается выбирать, подписываться ли ему на газету «Труд» или «Правда», болеть за «Спартак» или «Динамо», смотреть выступление Брежнева на XXV Съезде КПСС по первому или по второму каналу.

Эпоха оставила нам анекдот. Обыватель включает телевизор и видит: по первому каналу выступление Брежнева на очередном Съезде. Переключает на второй канал – тот же Брежнев. На третий – тоже. Переключает на четвертый – майор Пронин говорит ему с экрана: «Я тебе попереключаю!».

Но и это – далеко не предел. Пространство выбора и реализации человеческой субъектности может быть сведено практически к нулю. В Египте Среднего царства (конец III – середина II тысячелетия до н.э.) свободные прежде общинники превращаются в «царских людей», которых загоняют в охраняемые лагеря, подчиненные «Ведомству поставщиков людей». Если работник убежал, в лагерь заключается его семья[1]. В Перу «пурех» в определенное время был обязан жениться. Причем невесту для него выбирал назначенный Инкой государственный инспектор[2]. В иезуитских «редукциях» Парагвая ночью церковный колокол «возвещал мужчинам и женщинам час, когда они могли отдаваться радостям любви»[3]. Как видим, нет предела совершенству. Надо сказать, что российский опыт не уступал мировым стандартам. В регламентах «военных поселений» встречаем такой пассаж: «Вдовам, которые еще в таких летах и в таком положении, что могут впоследствии выйти замуж за военных поселян, провианта не выдавать до вступления в брак». А тех, кто уже не может выйти замуж, выселять «как бесполезных для поселений, ради сокращения казенных расходов»[4].

Жестко регламентированная жизнь формирует *ведомого* человека. Будем помнить, если регламентация реализована, значит, общество в целом и объект регламентирующей репрессии *соглашаются* на регламент. Такое согласие достигается далеко не автоматически и не всегда получается сразу. Кроме того, оно может быть пересмотрено подданными. Так в «бунташном» XVII веке крестьянские и городские массы помнили эпоху Смуты, а государство медленно и с большими трудами оправлялось от разорения. В этой ситуации уровень регламентации был сравнительно низким. Однако по мере восстановления устойчивости и карательной мощи государства, власть последовательно «зажимала» подданных, внедрялась в крестьянский и городской быт, закрепощала сословия. Для широких масс государственных крестьян предел регламентации полноправных подданных (не преступников, не репрессированных по тем или иным основаниям) был достигнут в «военных поселениях». Заметим, этот уровень регламентации встретил хотя и безуспешное, но массовое сопротивление. В 1831 году произошел бунт военных поселенцев, который был жестоко подавлен.

[1] *Стучевский И.А.* Зависимое население Древнего Египта. М., 1966. С. 121.

[2] *Стингл М.* Государство инков: Слава и смерть “Сыновей Солнца”. М., 1986. С. 134.

[3] *Поль Лафарг.* Иезуитская республика. СПб, 1904. С. 37.

[4] www.internet-school.ru/ Enc.ash?item=5816

Если же жесткая регламентация реализуется в чреде нескольких поколений, формируется *идеальный объект*: полностью ведомый, лишенный каких-либо субъектных импульсов, убежденный в том, что такой порядок вещей задан космическим законом бытия, а иначе быть не может.

Чрезмерная регламентация – исключительно гибкий и эффективный механизм закабаления человека. Она позволяет делать это дело постепенно, шаг за шагом. Законы, подзаконные акты, правоприменительная практика могут последовательно ограничивать права граждан, записанные в конституции некоторого государства. Если общество принимает эти ограничения, можно через некоторое время сделать следующий шаг по пути регламентирующего сковывания гражданина и подавления общества. Экстраординарные события дают удобный повод для временных нарушений базовых принципов. Однако мы хорошо знаем, что этот род норм закрепля-

ется навсегда. Только зрелое гражданское общество, отслеживающее каждый шаг правительства, может противостоять такой стратегии и последовательно отстаивать дух и букву общественного договора, конституирующего государство.

Сковывающая регламентация – любимая иерархией форма репрессии. Она позволяет охватить подданного целиком, обложить со всех сторон, не оставить продыху. В конечном счете, удушающая регламентация формирует структуры повседневности, задает повседневные практики, которые выступают в качестве абсолютной реальности бытия массового человека. Идея свобод и привилегий, восходящая к западноевропейскому средневековью, и принадлежащая Новому времени идеология неотъемлемых прав человека задает предел регламентирующей активности деспотической власти.

Репрессивное измерение бытовой повседневности

Бытовая повседневность может быть легкой, удобной, рационально организованной, а может быть тягостной, требующей массу времени и сил, вопиюще неоптимальной и т.д. Такие реалии недавнего отечественного бытия, как очереди, коммуналки, дефицит, требующий постоянных усилий, тяжелый и неоптимальный быт представляют собой специфические формы репрессии. Эта позиция может породить возражения: любые наказания, давление, хамское отношение к подданным понятно, но как подверстать к репрессиям дефицит, ужасный быт, хаос, консервируемую бедность, отсутствие социальных лифтов и т.д.?

Законы саморганизации традиционного целого задают такой порядок вещей, согласно которому массовый человек должен находиться на грани выживания. Речь идет и о грани психологического срыва, и о грани биологического выживания. Такая диспозиция является условием существования определенного класса культур. Непомерно тягостная, безрадостная, высасывающая все

соки сфера повседневности представляет собой особую форму репрессии, которая обеспечивает искомое состояние. Выход за рамки этого пространства ведет к дестабилизации описываемых целостностей. Как они сложились, в чем причина их устойчивого воспроизводства – другой вопрос. Важно, что репрессия оказывается фактором воспроизводства базовых условий существования.

Отметим, что существование на грани выживания есть константа для мира живой природы. Акцентирующая репрессию культура просто воспроизводит одну из универсалий животного мира. В мире млекопитающих краткая пора изобилия, если такое случается, обязательно сменяется голодом, массовыми болезнями, острой борьбой за существование. Человек, как наследник обезьяны, биологически задан на этот тип жизни как естественный и устойчивый.

Культуры, которые пошли по пути прогресса, отходят от устойчивых биологических регулятивов. Традиция же гнобит своего носителя, сохраняя устойчивые биологические константы. Мы видим, во что выливается снятие этих мрачных констант. Уже третье поколение в обществах потребления сталкивается с массовым ожирением, снижением рождаемости, ухудшением медицинских характеристик новорожденных. Снижается трудовая мораль, растет тяга к созерцательной жизни, снижается суммарная энергетика общества. Воля к жизни последовательно отступает, растет потребление наркотиков, ширится сектор маргиналов, все громче заявляют о себе гомосексуалы и т.д. Перед нами проблема, ожидающая как адекватного осмысления, так и своего решения. Однако это лежит за рамками нашей работы. Вернемся к проблеме быта.

Бытовая культура, формы повседневности

С этих позиций традиционный быт – крестьянский, мещанский, рабочий – предстает как одно из про-

странств традиционной репрессии, ибо быт этот тягостен, требует постоянного напряжения, тотально дискомфортен, неудобен, не оптимален, связан с изматывающим перерасходом сил. В традиционном обществе комфортным был быт высоко статусных, состоятельных лиц перекладывавших бремя на дворню и прислугу.

Идея оптимизации быта, поиск технических решений, порождающих удобства, облегчающих труд в этой сфере – одна из важнейших социокультурных революций XX века. Для того, кто помнит коммунальную кухню 50-х годов прошлого века (а тот, кому не довелось познать эти реалии может составить себе некоторое представление по фильмам Юрия Германа): мрачное, серо-зеленое пространство, грязное, с жирной копотью на стенах, допотопной газовой плитой, на которой рядом с кастрюлями грелись огромные баки для вываривания белья – осознает фантастическую дистанцию между этим миром и типичной квартирой в пятиэтажке середины 60-х со стиральной машиной в ванной, холодильником, кухонной мебелью, радиоприемником и аккуратным столиком на кухне. Из домашнего филиала ада кухня превращалась в комфортное, обустроенное пространство, где разворачивались бесконечные разговоры. Размывание пространства репрессии происходило по разным азимутам, шло как бы незаметно, само собой, но этот процесс порождал глубокие последствия.

Да и за рамками домашнего быта жизнь советского человека была предельно не устроена. Очереди в поликлинике, Жэке, паспортном столе, обязательная сетка-авоська в сумке и баночка для сметаны (которая продавалась нерасфасованной), проблемы с ремонтом обуви, тотальный дефицит, постоянная необходимость искать и доставать что-то, рецепты изготовления фальшивой икры из селедки с плавленым сыром и свеклою, хамство любого человека «при должности» по отношению *к частному лицу*: от контролера в автобусе до работников того же Жэка и т.д. и т.д. Все эти реалии, покрываемые

словом «убожество», составляли бесконечно унылый, тягостный фон жизни, держали в постоянном напряжении, создавали безрадостное, тоскливое мироощущение. Общий дискомфорт бытия массового человека задавался массой факторов. Среди прочего, здесь срабатывала и органика социалистической экономики, и ничтожность частного человека перед лицом сакральной власти. Применительно к теме нашего исследования существенно то, что результат являл собой развернутую постоянную репрессию, которая была не просто фоном, но значимым фактором жизни.

Отметим, что впервые об освобождении женщины от тягот семейного быта заговорили в Советском Союзе в 30-е годы. Такие реалии эпохи, как фабрика-кухня или массовый общепит мыслились как способ обретения свободы. Однако при ближайшем рассмотрении обнаруживается, что эти пропагандистские усилия и структурные перемены преследовали другие цели. Советская власть создавала условия для того, чтобы женщина могла оставить семью и пойти работать. Система детских садов и яслей, дешевый общественный транспорт, ликвидация безграмотности, всеобщая диспансеризация детей, обязательное всеобщее образование, группы продленного дня в школах, пятидневки в детских садах, усилия Агитпропа, малая зарплата мужа – все это обеспечивало возможность трудоустройства женщины. Неэффективная социалистическая экономика хронически нуждалась в рабочей силе. Женщину надлежало вырвать из семейного круга, и эта задача была решена. Однако жизнь от этого не стала менее тягостной, сфера быта – менее убогой.

Вырождение репрессивной бытовой повседневности

Реальное размывание давящего быта начинается с разворачиванием массового жилищного строительства. К середине 50-х годов власть осознала, что страна подошла к порогу, за которым требовались новые социальные механизмы побуждения к общественно-полезной

деятельности. Люди отказывались ждать светлого будущего. Требовались хотя бы скромные, но результаты здесь и сейчас. До середины 50-х страна обходилась дореволюционным жилым фондом. Подавляющая масса горожан жила в коммуналках. Переход пусть к скромной, но потребительской парадигме требовал жизненного пространства, в рамках которого можно было развернуть приватный мир с его предметностью, образом жизни, новыми, не свойственными традиции, формами повседневности.

С начала 60-х начинается размывание тотально-репрессивной повседневности. Процесс этот шел страшно медленно, крошечными шажками. Очереди, дефицит, чиновное хамство, переполненные автобусы оставались на своем месте. Однако по мере разворачивания жилищного строительства, средний советский человек получал возможность сформировать приватное пространство в соответствии со своими представлениями о красивом, удобном, престижном. Менялся зрительный образ социокультурного универсума. Предметный мир становился все более эстетически оформленным. Глазу человека открывались не только тоскливые просторы и унылые бараки, но среда, образ которой рождал сумму позитивных переживаний. Напрямую эти изменения, казалось бы, не связаны с репрессией. Однако они размывают универсальное чувство дискомфорта бытия, подрывают гностическое переживание мира, создают пространство для закрепления альтернативы репрессии – омерзительной для идеолога мироотвержения гедонистической установки. Эстетизация приватного мира и оптимизация быта задавали новое качество жизни.

Качество это было страшно притягательным и несло в себе разрушение репрессивного космоса. Идеологи отечественной традиции сразу учуяли опасность. Именно тогда рождаются идеологические ругательства «вещизм» и «потребительство». В шестидесятые позднесоветский Агитпроп вовсю костерит бескрылого мещанина – несчастного перерожденца, для которого мир вещей и плотских радостей заслонил духовные горизонты коммунистического завтра, а десятилетний ребенок из пьесы Володина срывает висящую на стене шашку деда и рубит роскошную обстановку своих родителей, предавших идеалы большевистской революции.

Отметим, деградация репрессивного быта и формирование приватного пространства, ориентированного на позитивные достижительные ценности, на вознаграждение, происходит параллельно с отступлением властной репрессии. Эти сущности исключают друг друга.

Репрессия плотских радостей

Говоря о репрессии плотского начала, мы обращаемся к сложно уловимым сущностям. Притом, что репрессия плотских радостей осуществляется постоянно, она настолько органично вплетена в ткань культуры, стала частью природы российского целого, что формы и процесс этой репрессии утратили характер наблюдаемого. Это – воздух, которым мы дышим. В целом репрессии плотского начала носят установочный, ценностный характер. Репрессия плотского относится к широким конвенциям, разделяемым традиционным обществом. Перед нами нечто само собой разумеющееся, рождающее реплику – а как же иначе?

Русская культура воспроизводит такую ценностную конфигурацию, в которой плотские радости предстают как нечто несерьезное, неприличное, не заслуживающее внимания, греховное, не достойное серьезного человека и т.д. В результате формируются устойчивые бытовые практики, в которых плотское репрессировано. Сама эта сфера табуируется, переносится в пространство профанно-сниженного, не имеющего нормативного языка описания, культурного статуса и т.д.

Истоки описываемой ценностной установки носят комплексный характер. Описываемый комплекс сложился давным-давно, носит устойчивый характер, отлился в

формы образа жизни, вошел в идентичность. О репрессии плотского начала в отечественной культуре проще всего судить по результату, который объективирован, феноменологически развернут и поддается наблюдению.

Репрессивные культуры – культуры *аскетические*. В основании их нормативной модели и в практике широких масс лежит вынужденное или добровольное самоограничение. Элита, живущая за высокими стенами, может предаваться самому безудержному потреблению и вопиющим излишествам. Это – не более, чем свидетельство неистребимости человеческой природы и оборотная сторона массовой аскетики. Причем, скучный разврат и элементарное сверхпотребнение элиты, сами по себе, также свидетельствуют о доминировании аскетического в описываемом нами мире. Здесь нет и не может быть богатой и утонченной культуры удовольствий и радостей жизни.

Репрессивные культуры формируют человека, который по своей природе не ориентирован на радости жизни. Не умеет им предаваться, не ценит тонкостей и нюансов этого пространства человеческого бытия. В культурно-семантическом отношении данное пространство не разработано. Мир удовольствий крайне примитивный, узкий, что называется варварский. Потребности двигаться вглубь этого пространства у типичного носителя такой культуры не возникает. Настоящий человек репрессивной культуры не принимает и брезгливо отвергает всю эту реальность, обходится узким и примитивным набором удовольствий. Ракам бордолез совершенно искренне предпочтет жаренную картошечку с портвешком.

В отечественной культуре пространство телесных, а вернее телесно-душевных радостей на удивление небогато и слабо разработано, лишено высокой значимости. Рассмотрим основные сферы этого культурного пространства.

Еда

Представлена бедно. Профессионалы приведут массу рецептов национальной кухни, что не удивительно, если учесть что Россия – великая империя, вобравшая в себя культуры (а значит и пищевые традиции) многих народов. Однако актуальный набор праздничных блюд скуден. Но дело даже не в этом. Достаточно посмотреть на то, как раскладывает еду, предвкушает радости трапезы и садится за стол житель Кавказа или Юга России, чтобы почувствовать разницу. Тут и живая связь с ритуальным измерением трапезы, и радость общения за столом, и коннотации образа Рая, которые в традиционно-архаическом сознании связаны с пищевым изобилием, и радость от поедания вкусной пищи. Вкусная еда сама по себе праздник. Даже в купе поезда дальнего следования. Есть ее одному – не дело. Ее надо разделить с соседом по купе. Особое празднично–эйфорическое отношение к еде на наш взгляд присуще многим традиционным обществам. В России этого не просматривается.

Еда ежедневная – обычная рутина без особых эмоций. Еда праздничная, как правило, сплавлена с выпивкой и воспринимается в модальности «закуси». Праздничный стол в России также погружен в традиционные смыслы, о которых мы писали выше, может быть не так отчетливо. Еды должно быть много, но пища в ее качественном аспекте представлена к нашей культуре минимально. Трудно представить себе мужчину, компетентно обсуждающего сравнительные достоинства тех или иных блюд, рецепты, технологии приготовления. Между тем, в европейском контексте такой персонаж вполне возможен.

Гурманство могло быть локальной субкультурой внутри купечества или аристократии. В советскую эпоху встречались большие начальники – ценители поварского искусства. Как заметил один из собеседников автора, в прошлом врач-эпидемиолог, высший клир РПЦ, начиная с епископов, страдает «ожирением второй сте-

пени». Но все это – субкультуры пастырей общества. Фундаментальная особенность этих субкультур состоит в том, что они выпадают, часто скандально, из декларируемой нормы, противоречат ей. Что же касается задаваемой декларируемыми ценностями культуры пасомых, то она ставит еду на очень скромное место.

Секс

Высказывать суждение на этот счет сложно по той причине, что сфера сексуально-эротического выдавлена из нормативного пространства. Объемы потаенного, культурный статус этих сущностей, степень погруженности массового человека в мир потаенного, меру разработки данного пространства устанавливать достаточно сложно.

Начнем с того, что в русском языке нет понятий, описывающих табуированную сферу сексуально-эротических реалий. Русский человек может либо прибегать к медицинской терминологии, либо к ненормативной лексике, которая крайне бедна и убога. Обозначенная нами сфера просто не отражена в языке.

Впрочем, при пристальном взгляде обнаруживается и некоторая разработка обозначенного пространства. К примеру, классификация мужских достоинств – щекотун, подсердечник, запридух и убивец – любопытна и не лишена образности. Но это – локальные варианты диалекта. В устойчивое лексическое пространство эти понятия и другие, дифференцирующие данную сферу, не вошли. Язык не испытывает потребности.

Половая близость профанирована. Истоки этого очевидны. Если в языческом сознании половые стихии выступали космосозидающей силой и понимались как сакральные, то православие задало другую ценностную и смысловую перспективу. Так что близость допустима, но не составляет предмета гордости. Это вам не Испания. Неотразимый мужчина не лежит в пантеоне народной культуры. «Бабник» – скорее ругательство, чем восхищение. А симметричная характеристика женщины вообще лежит за рамками нормативной лексики.

Обращаясь к сфере сексуально-эротического мы обнаружим: «заветные» сказки, анекдоты, гадания, народную магию, непристойный фольклор, матерную ругань, объектную позицию женщины. Анализ этих текстов раскрывает на удивление бедный набор эротических техник. Изложение в профанирующей интонации, за рамками нормативной лексики. Речь идет о заведомо несерьезном, смешном, грязном и профанном деле.

Для того, чтобы представить себе ранг интересующего нас, стоит обратиться к живому русскому языку и сопоставить парадигму синонимов полового акта и акта потребления спиртного. Слово «выпить» замещается массой синонимов: «вздрогнуть», «шпокнуть», «чекалдыкнуть». Половой акт – «трахнуть» и др. Поскольку этот ряд синонимов выпадает из пространства нормативной лексики, приводить его затруднительно. Важно следующее: парадигма выпивки в разы превышает парадигму полового акта в объемном отношении. Можно заметить и такое явление – отдельные синонимы полового акта перемещаются в пространство выпивки. Оно мощнее, значимее, а потому засасывает в себя материал из соседней телесной и душевной радости.

Спиртное

Выпивка – совсем другое дело. Здесь мы встречаем то самое празднично-эйфорическое отношение, приподнятость, безусловную значимость, которая характерна для культуры трапезы многих народов. Для массового россиянина выпивка – тема нескончаемого обсуждения. Готовность включиться в этот дискурс максимальна. Шутки, прибаутки, самые разнообразные апелляции к акту потребления спиртного («Что-то стали ноги зябнуть. Не поря ли нам дерябнуть») прочитываются мгновенно

и гарантированно рождают веселое оживление. Юмористы, карикатуристы, актеры и кинорежиссеры могут бесконечно обращаться к образам спиртного, выпивки, пьяниц, самым разнообразным коллизиям из этого проистекающих и знают, что встретят благожелательную аудиторию.

Пьяный – «наш человек», исходно вызывающий сочувствие. Объяснение «по пьяному делу» снимает массу обвинений. Если дело не дошло до откровенного криминала, обижаться на пьяного грех. Настоящая русская женщина не пойдет жаловаться на пьяного русского мужика. А мужчина и подавно. Здесь начальственно-государственное отношение к потреблению алкоголя, пьяницам, административной и судебной ответственности по этим делам разительно расходится с массовыми настроениями. Жены, измученные мужьями-алкоголиками, проклинают и пьяниц и выпивку, но это – неизбежный фон главной национальной радости.

Выпивка – настоящая, вечно актуальная, непреходящая радость. Существенно и то, как пьют на Руси. Включенное наблюдение показывает, что в общем случае, адекватный традиции персонаж пьет «горькую» и пьет в быстром темпе. Временные перерывы между актами опрокидывания стакана минимальны. Наконец, пьет под закуску не чересчур обильную. Это существенно. Речь идет не о том, чтобы есть, выпивая, но пить, закусывая. Смысл такой стратегии простой: надо в ограниченный промежуток времени ввести в кровь критический объем алкоголя. Так пьют с тем, чтобы «отрубиться». Это не легкий кайф, не разговоры и тосты кавказцев, не беседа интеллектуалов с бокалом «малаги» в руке. Главная цель такой выпивки – выключить себя из этого бытия.

Здесь вспоминается анекдот пятидесятилетней давности: Два алкаша безуспешно пытаются своровать стакан из автоматов для продажи газированной воды. Увидев лежащего в канаве пьяного, один герой говорит

другому: «Видишь, человек уже отдыхает, а мы стаканы ищем».

Сложно интерпретировать эти наблюдения. Очевидно одно. Выпивка признана нашей культурой, по-настоящему укоренена (в отличии, скажем, от «травки» или наркотиков), легитимна. Это та радость, которую позволяет своим носителям культура. Видимо, она не только встроена в ее структуру, но выполняет важные, жизненно необходимые функции, позволяет российскому космосу бесконечно воспроизводиться.

Что из универсальных телесных радостей осталось вне нашего внимания? Пожалуй, баня. Она традиционна, и может притязать на статус общенационального. Во второй половине XX века баня в городах стала замещаться сауной. Баня – ритуализованная форма бытового действия. Отдельные квартиры разрывают связь регулярной потребности и ритуала. Помыться можно дома. Баня превращается в чистый ритуал с друзьями, выпивкой и закуской, но не слишком распространенный. Массаж к бане примыкает, но это вещь барская и экзотическая. Все остальное локально и не может притязать на статус общекультурного.

Репрессия неопределенности

Один из существенных признаков репрессивного общества состоит в том, что здесь не существует твердых правил игры, выполняя которые обыватель может застраховать себя от репрессии. Самый смирный и богобоязненный крестьянин жил под постоянным гнетом нежданной и неспровоцированной репрессии. Это могла быть ерунда, вроде зуботычины, которую полагалось молча снести. Но были вещи посерьезнее. Круговая порука требовала уплаты податей за несостоятельного соседа. В случае убийства «государевого человека» на территории общины, «обществу» надлежало выдать убий-

цу. Сельский сход назначал человека, который должен был взять на себя грех душегубства и пойти на каторгу.

Поговорка «От сумы да от тюрьмы не зарекайся» возникла не на голом месте. Такая ситуация несет в себе специфическую *репрессию неопределенности*. Репрессия, как кара небесная, падает на твою голову спонтанно, независимо от собственного поведения. Это прочтение реальности приближало власть земную к неисповедимой Власти Небесной и создавало особый психологический климат. Человек предстоял вратам судьбы. Каждый миг его относительно спокойной жизни мог оказаться последним.

Репрессия неопределенности подавляет человека, актуализует комплекс априорной вины (Кто Богу не грешен?), лишает воли к сопротивлению, делает жизнь окончательно непрогнозируемой. Она помещает несчастного подданного в инфантильную, ведомую позицию. Поэтому борьба за твердые правила игры, за введение власти в рамки закона составляет магистральный сюжет становления правовой демократии. И, соответственно, внеправовая традиционная власть утверждает и воспроизводит репрессию неопределенности как один из важнейших механизмов подчинения.

История свидетельствует, чем жестче политический режим и чем больше властного насилия, тем шире представлена репрессия неопределенности. История СССР хорошо иллюстрирует эту закономерность. Классическая сталинская эпоха демонстрирует всплеск репрессии неопределенности. Периодические проработочные компании в науке и искусстве, рядом с периодическим обретением новых внутренних врагов – затаившихся бухаринцев и троцкистов, бывших и в частности «буржуазных спецов», буржуазных националистов, безродных космополитов, низкопоклонников перед Западом и т.д., были устойчивой характеристикой этого периода. И советский чиновник любого уровня, и интеллигент, и рядовой обыватель могли оказаться носителями ритуальной скверны. Очередная волна в любой момент могла накрыть каждого. Со смертью Сталина движимая инстинктом самосохранения элита установила более четкие правила игры, практически ликвидировав репрессии неопределенности для себя и сведя ее до минимально возможных значений в неправовом идеократическом обществе для других.

Добавим, что репрессия неопределенности сущностно связана с эсхатологическим комплексом. Чем выше уровень эсхатологических упований, тем сильнее представлена здесь репрессия неопределенности. В атмосфере массовой эсхатологической истерии и разворачиваются массовые репрессии. Как показывают исследования, массовая репрессия соответствует метасценарию эсхатологического пресуществления мира, отвечает психологии сущностно средневекового человека, предстоящего наступлению Вечности[1]. Репрессия неопределенности полнее всего разворачивается именно в эту эпоху. Изживание эсхатологических переживаний делает потребность в надежном, прогнозируемом порядке вещей остро актуальной, а такой порядок – жизненно необходимым. Сталинский пик репрессии неопределенности задавался и освещался коммунистической эсхатологией. Смерть этой эсхатологии снимала и комплекс априорной вины, и трепет перед вратами, ведущими в Прекрасное завтра, и оправдание крови. Вечность отступала, возвращалось историческое время, а оно диктует свои законы.

Основополагающий механизм р*епрессии неопределенности – система невыполнимых норм.*

Презумпция правоты иерархии, система законов и подзаконных актов, которые в принципе нельзя выполнить, и избирательное использование права создают си-

[1] Подробнее см.: *Яковенко И.Г.* Феномен конвейера: Культурные механизмы массового террора // Он же. Познание России: цивилизационный анализ. М., 2008. С. 429 – 496.

туацию неопределенности. В ней заинтересована как иерархия любых уровней, так и коррумпированная власть.

С точки зрения высшей власти эта ситуация создает чувство всеобщей вины, а значит – высокую управляемость. А для чиновника здесь обретается золотое дно поборов, взяток, ограблений, рейдерских отъемов собственности и т.д.

Система взаимопротиворечивых, принципиально *невыполнимых норм* воспроизводится устойчиво и непреклонно. Снятие системы принципиально невыполнимых норм будет означать как конец традиционной российской власти, так и конец бюрократии. Иными словами, здесь мы сталкиваемся с *системообразующей характеристикой* российского целого.

Отложенная или потенциальная репрессия

Интересное и достаточно специфическое явление. Суть его в том, что субъект репрессии фиксирует за объектом репрессии нарушение законов, норм и правил, доказанную вину, приостанавливая на неопределенный срок наказание за выявленные прегрешения. Дальнейший ход событий будет целиком зависеть от усмотрения субъекта репрессии. А это усмотрение будет зависеть от поведения объекта потенциальной репрессии. По существу отложенная репрессия есть форма шантажа. Причем, чем существеннее провинность объекта, тем более безвыходно его положение. Субъект репрессии обретает надежные гарантии лояльности и возможность манипулирования объектом отложенной репрессии.

Потенциальная репрессия широчайшим образом представлена на отечественных просторах: от цеха в забытом Богом провинциальном городишке до правительственных коридоров. Подчиненный с грешком (зафиксированным и запротоколированным), на который милостиво закрыло глаза начальство, выполнит любое указание, не будет «качать права», совершит многое из того, на что не пошел бы в другой ситуации, ибо хорошо

знает, чем он рискует. На следующих этажах социальной лестницы руководителями среднего уровня оказываются люди, послужной список которых содержит зафиксированное хозяйственное преступление среднего масштаба – взятку, растрату, хищение, фальшивый диплом о высшем образовании, нецелевое использование средств и т.д. На самом верху масштабы хищений исчисляются сотнями миллионов. Преступления эти фиксируются, например, Ревизионной палатой и лежат в нужном месте. В требуемый момент Генеральная прокуратура возбудит по любому из них уголовное дело. Или не возбудит. Все зависит от поведения объекта отложенной репрессии.

Внесудебная расправа

Обращаясь к этой теме, прежде всего надо рассматривать убийства. Вообще говоря, это случается чаще, чем кажется. В глубинке, на местах людей убивают неизвестные нападавшие, люди исчезают без следа. Ограничим себя знаковыми фигурами – политиками, общественными деятелями, журналистами, адвокатами, гибель которых становится событием и запоминается.

Истории новой России начинается с убийства богослова и проповедника Александра Меня (сентябрь 1990 г). А далее – в нарастающем темпе разворачивается цепь событий: журналист Дмитрий Холодов (октябрь 1994 г.), журналист Владислав Листьев (март 1995 г.), генерал Рохлин (июль 1998 г.), политик Галина Старовойтова (ноябрь 1998 г.), депутат Сергей Юшенков (апрель 2003 г.), журналист и политик Юрий Щекочихин (июль 2003 г.), лидер Ичкерии Зелимхан Яндарбиев (февраль 2004 г.), журналист Анна Политковская (октябрь 2006 г.), отставной офицер ФСБ Литвиненко (ноябрь 2006 г.), адвокат Станислав Маркелов (январь 2009 г.), правозащитница Наталья Эстимирова (июль 2009 г.). Обстоятельства гибели разные – взрывы в автомобилях, убийства в подъезде, сомнительные смерть в больнице, доказанное отравление, похищение и т.д. Это – самые

громкие имена. Полный список куда шире. Мы не говорим о заметных бизнесменах, о жертвах маргиналов радикального спектра, таких как петербургский ученый, правозащитник Николай Гиренко (июнь 2004 г.). Мы оставляем за кадром зону военных действий, особые регионы (Кавказ), где счет исчезновений людей идет либо на сотни, либо на тысячи. Как бы мы не оценивали и не объясняли себе эти феномены, очевидно одно: мы имеем дело с устойчиво практикуемой формой репрессии.

У нас нет оснований утверждать что-либо определенное относительно субъекта внесудебных расправ. Более того, складывается впечатление, что в списке представлены жертвы разных субъектов. Какой вывод можно сделать из этого списка? Внесудебные убийства – один из устойчивых, неустранимых механизмов социально-политического функционирования российского общества.

Сделав один шаг вглубь времен, мы обнаружим подозрительные самоубийство Маяковского, Есенина, гибель Михоэлса. За рубежами СССР уничтожались враги системы – Троцкий, Бандера и т.д. Это – классический советский период. Брежневская эпоха дает нам с одной стороны убийство Юрия Домбровского, смертельно избитого в ста метрах от ЦДЛ за публикацию во Франции романа «Факультет ненужных вещей». С другой – гибель в авиакатастрофе Ю. Гагарина, при достаточно сомнительных обстоятельствах. Не менее сомнительная история, бросающая тень на тогдашнее руководство СССР, связана с гибелью Петра Машерова (первый секретарь ЦК компартии Беларуссии). Зато на заре Советов, в январе 1918 года, после разгона Всероссийского учредительного собрания депутат Шингарев и лидер кадетов Кокошкин были убиты в тюремной больнице матросами и красногвардейцами прилюдно, так что обстоятельства этого дела история сохранила.

Предреволюционная эпоха дает убийство Столыпина. Далее череда эксцессов уходит вглубь времен, от подозрительной смерти талантливого военачальника боярина Скопина-Шуйского до гибели Шемяки, съевшего в Новгороде отравленного куренка, приготовленного поваром, сотрудничающим со спецслужбами Московии. Впрочем, надо заметить, что в ранние времена (до Петра) высшая власть не была связана законом или судом, так что выделение внесудебной расправы лишается смысла.

Подчеркнем еще раз – мы приводим примеры, наиболее очевидные, лежащие на поверхности, в которых фигурируют знаковые фигуры. Список можно расширять и расширять. Поскольку субъекты внесудебных расправ склонны представлять свои действия как несчастный случай, самоубийство, нападение хулиганов и т.д., не все внесудебные расправы могут быть квалифицированы доказательно. Споры по отдельным эпизодам этого списка не снимают проблемы *явления*.

Вернемся к внесудебным расправам последних десятилетий. Как мы знаем, заказчиков убийств не находят никогда. Оппозиционно ориентированная общественность обвиняет во всем власть предержащую. Наше понимание явления состоит в том, что проблема глубже. На власти лежит своя доля ответственности, но проблема в качественных или стадиальных характеристиках культуры.

Рассмотрим два общества. В одном обществе людоедство – абсолютно невозможное, чудовищное деяние, вычеркивающие преступника из числа нормальных людей. В другом – отношение к этому феномену можно описать так: «Конечно, это мерзость и дикость, дай мне волю я бы этого мерзавца задушил собственными руками. Но что ж поделаешь, если по-другому нельзя. Ну, никак нельзя. Признай мы этот факт – рухнет политическая стабильность, посыпятся регионы. А внешнеполитические издержки? Нет, политические риски слишком велики. Да и нельзя было разрулить ситуацию по-другому. Такая уж наша реальность».

В первом случае кто бы не был пойман на людоедстве – президент страны, отец родной, римский папа –

он обречен. В лучшем случае, ему дадут пистолет и оставят на две минуты в пустой комнате. В худшем он будет арестован, изобличен и осужден. Во втором описываемая практика будет иметь место. Чаще или реже – зависит от политического режима, социально-политической ситуации и других обстоятельств.

Кстати, о людоедстве. В лагерной «фене» есть такое слово – «корова». Оно обозначает третьего или четвертого заключенного, которого брали с собою в побег «из зоны», в расчете на то, чтобы съесть несчастного, когда кончатся продукты. Удивительное рядом. Оно ближе к нам, чем это может показаться при поверхностном взгляде на вещи.

Может быть высказано суждение, согласно которому внесудебные расправы, в тех или иных пропорциях, присутствуют в практике любого общества. Обращаясь к этой теме, мы касаемся неустранимой дистанции между нормативной моделью и практикой, существующей во все времена. В принципе, с этим можно согласиться. В некоторых случаях власти самых демократических и правовых государств идут на нарушение буквы закона. С этой точки зрения возникает проблема исследования объемов обозначенного нами явления. Подобное исследование требует корректной компаративистики. Выскажем предположение, что по итогам такого исследования Россия окажется в группе лидеров.

Судебная расправа

Не только законы логики, но и нормы русского языка требуют, рассмотрев внесудебные расправы, перейти к расправам судебным. Судебная расправа связана с неправедным судом, который выносит обвинительный приговор по надуманному или сфальсифицированному делу. Когда некоторому человеку подбрасывают наркотики или оружие, а затем осуждают – мы сталкиваемся с тривиальной судебной расправой. Мотивы и субъекты этого деяния могут быть самыми разными: от бизнес

конкуренции до утихомиривания неудобного активиста общественных движений. Судебная расправа позволяет сломать репутацию, отнять бизнес, уволить со службы добросовестного чиновника, выдавить журналиста или бизнесмена за границу и т.д.

Поскольку законы и подзаконные акты сформированы таким образом, что почти любой активно действующий человек может быть обвинен в чем-либо, суд не является независимым от исполнительной власти, а в судебной системе главенствует обвинительный уклон – техническая реализация судебной расправы не составляет проблемы. В редких случаях, когда судить не за что, можно пойти на откровенную фальсификацию.

Несколько слов об упоминавшемся выше карательном уклоне отечественного судопроизводства. Некоторые комментаторы склонны рассматривать его как почти загадочную особенность нашей судебной системы. То ли дело в ментальности, то ли в особой психологии судейского корпуса. На наш взгляд, все гораздо проще. Решение об осуждении того или иного человека принимают инстанции, открывающие следствие, заключающие (или не заключающие) подследственного под стражу и передающие дело в суд. Мы не имеем в виду Следственный комитет или Прокуратуру. Они могут выступать инициаторами, а могут быть исполнителями решений других властных структур. Важно, что решение это было принято и согласовано «где надо» и «с кем надо». Об этом свидетельствует поступление дела в суд. Суды же выступают в качестве инстанции, оформляющей приговором решение, принятое «наверху». В этом состоит не формальная, записанная в правовой норме, но действительная функция отечественного суда.

Если же суд отправляет дело на доследование, то это – указание на плохую работу предыдущего звена судебной системы. Судья отказывается брать на себя ответственность и покрывать огрехи следствия. Частые оправдательные приговоры судов присяжных последнего десятилетия

указывают нам и на качество следствия (оно таково, что нормальные люди, не обремененные сословной дисциплиной, отказываются признавать обвиняемых виновными), и оттеняют обычную практику наших судов.

Знаковые примеры судебных расправ общеизвестны. Однако, за рамками двух–трех десятков фамилий, которые всплывают в памяти, скрывается материк судебных расправ, происходящих с маленьким человеком, попавшим в жернова отечественного судопроизводства. Судебных расправ с самыми разными людьми в «глубинке»: журналистами, активистами общественных организаций, правдолюбами и т.д.

Судебная расправа – устойчивая и эффективная форма репрессии. Не следует полагать, что эта практика сложилась в постсоветскую эпоху. В позднем СССР судебная расправа практиковалась достаточно успешно. Здесь сразу вспоминается суд над «тунеядцем» И. Бродским, процессы над энергичными хозяйственниками, эффективно, не нарушая буквы закона, работавшими внутри советского комплекса, но создававшими опасный с точки зрения бюрократии прецедент, судебные преследования упорствующих в вере сектантов и т.д. Что же касается классической советской эпохи, то судебные расправы были одним из элементов неоглядной системы государственного террора.

Находить примеры судебных расправ в дореволюционную эпоху – в период между Великими реформами и 1917 годом – затруднительно. Суд присяжных и независимая судебная система ставили предел возможностям судебной расправы. Оправдательный вердикт присяжных по делу террористки Веры Засулич задавал совершенно иной тренд. Власти, не располагавшие карманным правосудием, были вынуждены использовать механизм административной ссылки или создавать военные трибуналы во время революции. Причем, относить практику этих судов к судебным расправам не приходится. Они судили жестко, но за реальные преступления.

Сверх всего этого, надо особо помянуть «дело Бейлиса» (Киев 1913 г.). Попытка осуждения Менахима Менделя Бейлиса по делу о ритуальном убийстве 12-летнего мальчика Андрея Ющинского разворачивалась по классической схеме судебной расправы. В марте 1911 года труп мальчика с большим количеством колотых ран был найден на окраине Киева. В день похорон Ющинского в Киеве были распространены антисемитские прокламации с призывом кровной мести евреям за смерть замученного ими мальчика. Статьи в черносотенной прессе и запросы крайне правых депутатов Государственной думы сориентировали министра юстиции Щегловитова. Сотрудники следственных органов (следователь Фененко, пристав Красовский), отказывавшиеся от «ритуальной версии» убийства, последовательно отстраняются от следствия и увольняются. Дело ведут «нужные» люди. Из арестованного Бейлиса выбивают признательные показания. Неугодные судьи заменяются угодливыми.

Однако сфабрикованное обвинение рассыпается на глазах. Общественный комитет по защите Бейлиса, созданный в 1911 году, провел частное расследование дела. Известный киевский сыщик Красовский доказал полную непричастность к делу Бейлиса и установил настоящих убийц Ющинского – трех профессиональных воров и содержательницу притона Веру Чеберяк, с сыном которой дружил убитый мальчик. Дело Бейлиса получило огромный резонанс и раскололо российское общество, также как дело Дрейфуса раскололо общество Франции. Против «кровавого навета» выступили писатели, общественные деятели. От сфабрикованного баснословного обвинения открещивались даже вменяемые правые (Шульгин). Голоса присяжных разложились поровну, и Бейлис был признан невиновным.

С одной стороны, дело Бейлиса фиксирует моральный климат предреволюционного российского общества. С другой, показывает, что дело судебной расправы

требует полного уничтожения независимой общественности, свободы печати, окончательного вытаптывания политического пространства. Судебная расправа требует парализующего чувства страха. Если же страх этот иссяк, рассыпался и перестал определять собой поведение людей, дело судебной расправы проиграно.

Политические силы, пришедшие на смену Щегловитову, учли эти обстоятельства и сделали все необходимые выводы: «Понятие диктатуры означает не что иное, как ничем не ограниченную, никакими законами не стесненную, непосредственно на насилие опирающуюся власть»[1]. И далее: «Диктатура пролетариата есть неограниченная законом и опирающаяся на насилие господство над буржуазией, пользующееся сочувствием и поддержкой трудящихся и эксплуатируемых масс»[2]. После того, как слова В. Ульянова-Ленина стали делами Советской власти, успешная организация судебной расправы перестает быть внутриполитической проблемой и переходит в техническую плоскость.

Голод как репрессия

Обращаясь к отечественной реальности нельзя не помянуть репрессию голодом.

Представленный как стихийное бедствие, рукотворный голод может выступать способом уничтожения широких социальных категорий, подлежащих изъятию из бытия без казней, репрессий и других действий, чреватых внешне и внутреннеполитическими издержками.

Голод является одним из самых эффективных усмирителей непокорных регионов. Пережившие голод и похоронившие своих близких надолго утрачивают вкус к антиправительственным выступлениям.

Голод является эффективным способом полного подчинения людей в условиях тюрьмы или лагеря. Здесь

[1] *Ленин В.И.* Полное собрание сочинений. В 55 т. Изд. 5-е. М. 1967. Т. 41. С. 383.

[2] *Ленин В.И.* Государство и революция // Он же. Полное собрание сочинений. М., 1974. Т. 34. С. 43.

надо остановиться на одной проблеме отечественной истории советского периода. Защитники «эффективного менеджера» и созданной им политической системы часто прибегают к жульническому приему – они приводят официальную статистику смертных приговоров, вынесенных по политическим статьям сталинского УК, которая включает менее 2 млн. человек. Эта величина трактуется как скромная, вполне допустимая для такой большой страны, как СССР, переживавшей сложную эпоху революционных преобразований.

Суть жульничества в том, что расстреливаемые составляли малую часть тех, кто был обречен на гибель. Люди, получившие серьезные «срока» и попадавшие в лагерь на так называемые «общие работы», попадали в специальные условия, гарантировавшие гибель осужденного в течение полутора-двух лет. Тяжелая физическая работа и паек, покрывавший от четверти до трети минимума калорий, необходимого для выживания взрослого человека, вели к истощению и гибели заключенного. В XX веке русский язык обогатился словом «доходяга», описывавшем умирающего от истощения, вконец опустившегося заключенного. Поскольку политические сидели без права переписки, семья погибшего «зека» годами не знала о его участи, что соответствовало интересам власти.

В рамках этой стратегии голод выполнял две функции: он выступал элементом механизма физического уничтожения широких социальных категорий, не приговоренных к высшей мере наказания. Одновременно, голод оказывался наиболее эффективным механизмом деградации личности и полного подчинения человека. Услышанный заключенным приказ мгновенно проваливался «сквозь» человеческую личность, вне какой бы то ни было рефлексии, и сразу же автоматически исполнялся.

Настоящий голод разобщает людей, разрывает любые связи, противостоит солидарностям. Умри ты сегод-

ня, а я завтра. Голодный скорее утрачивает человеческий облик. Поставленные на грань голодной смерти едят собак и кошек, мертвых, чужих и собственных детей. Нам, не пережившим этого ужаса, не понять человека, свалившегося за грань, отделяющую историю и цивилизацию от борьбы за выживание любой ценой. Наш долг – помнить.

Радости и человеческие ценности репрессированного человека

Стоит сказать о том, что репрессивный космос рождает свое собственное пространство радостей. Они далеки от идеала сладкого мещанского счастья, но это тоже радости, то есть позитивные, экзистенциально значимые переживания, во многом составляющие содержание жизни. Жизнь в контексте практически невыполнимых правил (должное и нормы Власти предержащей), а значит, в контексте возможности наказания не только угнетает, но заполняет жизнь, расцвечивает ее, наполняет значимым содержанием, объединяет людей общностью судьбы. Радости избежания очередной репрессии, переживание неудачи, когда репрессия тебя настигла, обсуждение перипетий, переживаемых близкими и дальними, в их соотнесенности с универсальной репрессией – это особенная жизнь. Там есть место и радостям, и праздникам, но они проживаются и переживаются под сенью «Ярого ока»[1], в контексте страха Божия, осознания временности, преходящего характера и зыбкости любых радостей и универсального статуса печалей.

Общность судьбы, взаимопонимание, душевный контакт с товарищами по несчастью, взаимопомощь, солидарность подданных, попираемых сапогом властной иерархии; сочувствие и милосердие. Все это – значимые переживания, чувства, ценности, составляющие эмоциональную и смысловую ткань бытия маленького человека. Здесь мы касаемся безусловных, высоко значимых

[1] Известный иконописный сюжет «Христос – Ярое око».

моментов. Помимо всего перечисленного, имеющего отношение к специфике репрессивного общества, существуют универсальные ситуации и переживания, данные любому проживающему жизнь человеку. Это то пространство, где репрессированный остается человеком, реализуется в своей человеческой сущности, обретает нравственное измерение. Бытие человека в поле доминирующей репрессии самоценно, как всякое человеческое бытие.

Признавая и понимая сказанное, мы должны зафиксировать: находясь в пространстве многообразной репрессии можно оставаться человеком, прожить полноценную, осмысленную жизнь. Можно достигнуть вершин творческого и нравственного величия. Но из этого никак не следует, что жизнь под сапогом – единственно возможный путь человеческого становления, и других пространств полноценной самореализации не существует.

ГЛАВА X
Кризис и изживание репрессии

Исторические рамки репрессивной культуры

Как и все под луной, репрессивная культура конечна. Она ограничена во времени и пространстве. Пространственные границы репрессивных культур – специальная, большая тема. Поговорим о рамках, заданных всемирно-историческим процессом.

Как мы уже говорили, репрессивная культура исторически первична. Однако история человечества свидетельствует: с некоторого момента появляются общества, в которых акцент на репрессию последовательно снижается. Процесс снижения уровня репрессии идет вглубь и вширь. Начинается то, что называют «смягчение нравов». Этот процесс охватывает все более широкие слои общества, обнимает самые разные стороны человеческого бытия, в том числе частную жизнь, воспитание детей т.д., ранее жестко контролируемые патриархальной традицией. Причем общества, включившиеся в процессы смягчения нравов, оказываются лидерами исторической динамики. Они расширяются пространственно, растут численно, становятся лидерами. В то время как зоны, в которых отстаивают практики и идеалы репрессии, последовательно сужаются, маргинализуются, утрачивают историческую перспективу.

Идея «смягчения нравов» складывается в эпоху Просвещения. Далее ее подхватывает идеология Прогресса. Нравы смягчаются по пути от варварства к цивилизации и далее, при движении от Средневековья к Новому времени. Как правило, процесс этот мыслится в качестве самоочевидного. Но почему, собственно, историческое развитие человека создает предпосылки для снижения уровня репрессии? Искать ответы на поставленный вопрос в пространстве морализирования привычно, но непродуктивно. Нам видится другой ответ:

общество, снижающее уровень репрессии, оказывается оптимальнее и эффективнее, повышает свою конкурентоспособность и не только успешно противостоит репрессивным обществам, но и побеждает их в борьбе за ресурсы.

Природа исторического, то есть качественного развития человека и культуры, ее внутренние источники, логика этого процесса относятся к сложнейшим проблемам гуманитарного знания. Названные проблемы имеют не только научное, но и философское измерение. Иными словами, здесь мы сталкиваемся с множеством разнообразных трактовок.

Историческое развитие человечества фиксируется рядом объективируемых параметров, таких как: рост численности населения земного шара, рост энерговооружения человека, увеличение информационных потоков, вовлечение человечеством в оборот все больших объемов материи и т.д. В ряду этих констант, которые не подвергаются сомнению, лежит одна, значимая для нас – автономизация человеческой личности. Культурологическая теория позволяет указать еще одну значимую константу – распад исходного синкретического комплекса[1]. Автономизацию человека можно приветствовать с либеральных позиций, либо отвергать с позиций религиозно-традиционалистских, но ее нельзя отрицать.

По мере роста населения земного шара нарастала конкуренция между человеческими сообществами. Рождались качественно новые проблемы и задачи, ответов на которые в рамках освоенного и накопленного опыта не было. Процесс революционной смены парадигм исторического бытия происходил неоднократно. Революцией был переход от присваивающей к производящей экономике, переход от первобытного общества к государству и цивилизации и т.д. На исходе Средневековья человечество оказалось перед очередным историческим вызовом. Решение новых задач требовало потенций,

[1] Подробнее см: *Пелипенко А.А., Яковенко И.Г.* Культура как система. М., 1998.

способностей, качеств, которые отсутствовали в традиционном обществе. Это касалось и социальных институтов, и отдельной человеческой личности.

Выработка и воплощение качественно новых решений в жизнь формировали новую творческую (управленческую, политическую, культурную) элиту. То были люди Нового времени. По своей природе они существенно отличались от людей традиционного общества. Различались ментальность, психология, образ жизни, система ценностей. Среди этих отличий для нас значимо одно – негативное отношение к превентивному насилию. Постепенно выяснялось, что новые люди в своей массе менее склонны к репрессии, нежели остальное общество. И сами мало репрессированы, и других не были склонны «прессовать» априорно. Мало того, в своей массе они были активными противниками неоправданного, неправового насилия. К этому были фундаментальные основания.

Репрессия противостоит распаду синкрезиса и автономизации человеческой личности. Перманентная репрессия – один из самых мощных блокираторов распада традиционного общества. Личностные характеристики формируются в благоприятной, спокойной атмосфере, когда жизнь и достоинство человека защищены от насилия, отсутствует перманентное давление; окружающие уверены в себе и доброжелательны. Причем, такая благодать должна распространяться не только на узкий слой элиты, но, по возможности, охватывать собою все общество.

Сознание человека Нового времени мыслит не привилегиями, но универсальными категориями. Новому человеку было мало того, что лично он был освобожден от унизительных наказаний. Жизнь в обществе, где его сверстника порют на заднем дворе, оскорбляла его нравственное чувство, лишала покоя, проблематизировала его собственную защищенность от неправовых посягательств. Новая элита формировала новые общественные

настроения, и эти настроения требовали смягчения нравов. Новые люди осознавали традиционную репрессию (неправовую, несоразмерную с проступком, зависящую от усмотрения иерарха) как угрозу тому миру, который они утверждали. Введение репрессии в рамки закона было делом самосохранения этих людей, а также одной из граней утверждения феномена Нового времени.

Описываемый нами процесс был непростым и внутренне противоречивым. Смягчение нравов могло происходить на фоне ужесточения карательных санкций. Людей не сжигали на костре как в средние века, но пойманный и изобличенный вор или луддит шел на виселицу. Однако это могло произойти только по решению суда. Здесь включается ход мысли, не свойственный нашему соотечественнику. Репрессии предшествовал акт свободной воли. Далее, этот поступок был рассмотрен в суде с соблюдением законной процедуры. Право подсудимого на справедливый суд было соблюдено. Кара назначена в соответствии с законом. Иными словами, мы имеем дело не с чьим бы то ни было усмотрением, не с превентивной репрессией, а с законным, и, стало быть, морально оправданным воздаянием за содеянное. Можно обсуждать соразмерность наказания и воздаяния, но, оставаясь на почве реальности, надо признать, что такой порядок вещей являет собой единственную жизнеспособную альтернативу традиционной репрессии.

Изживание традиционной репрессии было одной стороной процесса. Снижая уровень репрессии, вводя ее в рамки закона и процедуры, выводя человека из пространства постоянного и мучительного давления надо было найти другие механизмы побуждения к общественно ценной деятельности. В описываемых нами культурах растет ориентация на вознаграждение.

В принципе, идея вознаграждения за эффективный труд заложена в рыночной экономике. Качественное и количественное разворачивание рынка (а это как раз и происходит в Новое время) последовательно возвы-

шает принцип адекватного вознаграждения, делает его центральным мотивационным механизмом: «Экономь сегодня с тем, чтобы пожать втрое завтра. Трудись хорошо, и твои доходы вырастут. Придумай нечто новое в коммерческой сфере и получи сверхприбыль. Неважно, кем ты родился – сыном крестьянина или аристократа. Важно, кто ты есть, чего ты стоишь, что ты нажил своим трудом».

Вознаграждение, выраженное в финансовых категориях, обретает массу измерений – религиозное, предметно-чувственное, символическое. Становится социальным маркером, основанием стратификации, базовым механизмом социальной динамики. Однажды заново рождается феномен рекламы, которая сыграла огромную роль в формировании общества потребления[1]. В такой идейно-ценностной атмосфере формируется культ удачника и складывается образ селфмейдмена. Такие люди как Рокфеллер или Генри Форд становятся символами новой эпохи. Бережливость, напряженный труд во имя будущего, предельная самоотдача, знаменитая протестантская этика – все это работало на формирование общества вознаграждения.

Вознаграждение и инновация

История неопровержимо свидетельствует: историческая динамика возможна только тогда, когда каждый сколько-нибудь активный член общества озабочен проблемой оптимизации (в пределах своего кругозора). Проблема оптимизации всех сфер жизни – производственной, бытовой, социальной – задача повышения эффективности любой деятельности должна спуститься на молекулярный уровень, стать достоянием каждого. Оглушительный крах советского эксперимента – лишь одно из подтверждений невозможности динамизировать общество при условии побуждения сверху, когда

[1] Реклама была уже у финикийцев. Греко-римская античность знала не только коммерческую, но и политическую рекламу. Об этом свидетельствуют раскопки Геркуланума и Помпеи.

сущностно традиционалисткая масса трудится под руководством инновационно ориентированной элиты. Как сказал однажды Померанц, диктатуры развития фатально перерождаются в диктатуры застоя.

Речь идет о формировании особого *инновативного комплекса*, предполагающего создание социально ценных инноваций и вознаграждение за инновацию. Существенно, что это вознаграждение не только финансовое, но и статусное. В обществах, ориентированных на инновацию, работают специальные механизмы, задающие особый статус инновации как рода деятельности и статус субъекта инновации. Вот что пишет внимательный советский дипломат, побывавший в США в середине 90-х годов: «Телевидение ненавязчиво, но упорно приучает к предпринимательству и особенно к изобретательству. Каждый американец даже не должен, а просто обязан что-то изобрести. Изобретательство ценится, приносит славу, почет, деньги, уважение в обществе, и этот тезис доказывается на многочисленных примерах»[1]. Америка – флагман динамики. Тем интереснее это наблюдение.

Завершая исследовательский сюжет, выскажем несколько суждений общего порядка. Историческая стратегия формирования общества, центрированного на вознаграждении, имеет свои границы. Общества вознаграждения имеют и достоинства, и недостатки.

История XIX–XX веков показала, что общества, центрированные на вознаграждении, развиваются в соответствии с некоторой внутренней логикой. В таких культурах наблюдается тенденция к формированию облегченной картины мира, из которой изымается трагедия бытия. Боль и страдания существуют в сюжетах телехроники или в трагическом прошлом, но не здесь и теперь: «Don't worry be happy».

Героиня давней американской кинокомедии, приехавшая в маленький городок, чтобы вступить в наслед-

[1] *Канаев Н.М.* Дорогами ЮНЕСКО. Воспоминания дипломата. М., 2006. С. 335.

ство (тетка оставила ей домик), обращается к соседям: «От чего умерла старая карга? Надеюсь, ничего страшного». Здесь обыгрывается устойчивая речевая формула: «Надеюсь, ничего страшного», сопровождающая вопросы о болезнях родственников и друзей. Надеяться на лучшее не запрещено, но за этой присказкой стоит запрет на обсуждение психологически некомфортной для слушателя реальности.

В итоге формируется облегченная картина мира, отчасти напоминающая советские мультфильмы для детей дошкольного возраста, где злой волк и коварная лисица убегают посрамленные, и все кончается хорошо. Элиминирование негативных переживаний, сторон жизни, связанных с болью и страданиями, с горизонта массового человека нарушает целостную и сбалансированную картину бытия. Так Бодрияр пишет о вытеснении смерти в обществе потребления. Иными словами, если репрессивные культуры «болеют» репрессией, то общества, центрированные на вознаграждении, демонстрируют противоположную тенденцию. Однако любой дисбаланс в широком смысле опасен, поскольку нарушает адекватность картины мира.

Существуют экологические детерминативы, ограничивающие культуру потребления, и это соображение составляет главную надежду идеологов традиционализма. Изменения, накапливающиеся в обществах, давно ставших на путь вознаграждения, заставляют говорить о психологических или эволюционных границах на пути развития через количественный и качественный рост потребляющей активности. Снижение трудовой мотивации, массовое ожирение, падение рождаемости, угасание энергетики общества, затухание волевого импульса, рост смыслово-жизненных проблем – все это заслуживает самого серьезного рассмотрения. Однако все перечисленные проблемы требуют специального полидисциплинарного исследования предполагающего, наряду с общенаучным, также и философское измерение данной

проблематики. Такая работа заведомо лежит за рамками наших задач.

Периодически перед человечеством встают неразрешимые проблемы, и до сих пор ему удавалось находить решения. Причем эти решения носили качественный характер и радикально изменяли панораму исторического бытия человечества и самого человека. Историческая конкуренция аскетически-репрессивной стратегии и стратегии, построенной на вознаграждении как базовом механизме, относится к настоящему человечества. И в этом настоящем аскетически-репрессивная стратегия очевидным образом проигрывает. Качественно новая ситуация сложится после завершения противостояния мира исторической динамики и мира традиции. Гадать о параметрах этого мира – занятие бессмысленное.

Некоторые аспекты процесса модернизации

Как мы писали выше, на начальных этапах модернизации в странах второго эшелона уровень репрессии может существенно возрастать. Однако логика процесса ведет к последовательному снижению репрессии. Тому есть ряд оснований. Обозначим некоторые.

В традиционно репрессивном обществе репрессия выступает как базовая реакция на хаотизацию социокультурного космоса. Однако *репрессия упорядочивает* простые и *примитивные структуры*. Сложные формы труда и сложные общественные организмы не могут быть эффективно управляемы с помощью высокого уровня репрессии. Рабы на лесоповале могут работать, понуждаемые насилием. Насколько эффективен их труд в принципе – специальный вопрос. Упоминавшийся в самом начале нашего исследования Гелбрейт замечает, что прагматики в руководстве фашистской Германии понимали общую неэффективность рабского труда и выступали сторонниками перехода от принудительного труда в системе концлагерей к оплате наемных работников, привлеченных из завоеванных стран, или тех же военно-

пленных. Однако им противостояли убежденные нацисты, считавшие верность идейным принципам доктрины выше пошлой экономической эффективности.

Но если забыть об экономической эффективности, то и тогда останется проблема организации производства. Лесоповал или разработка месторождений титаносодержащих руд организуются с помощью высокой репрессии, а нанотехнологии требуют принципиально иного социально-культурного, экономического, информационного контекста. Производство ватников можно наладить в тюремной «зоне». Проектирование и производство автомобилей Мерседес требует иного человеческого материала, помещенного в другой контекст. Для решения этой задачи нужен работник, живущий в собственном доме, с интернетом, отдыхающий летом в Хорватии и оплачивающий обучение сына в престижном университете. В этой ситуации самая главная репрессия – потеря работы. То есть – утрата включенности в систему вознаграждений за праведный и эффективный труд. Традиционная репрессия угнетает высококвалифицированного работника, хаотизирует сложные системы, критически снижает эффективность сложных форм труда. Итак, с завершением ранних этапов индустриализации, возможности репрессивного стимулирования развития схлопываются. Последние полвека отечественной истории хорошо иллюстрируют описанную закономерность.

Далее, репрессия онтологически противостоит творческому началу. Она формирует послушание, исполнительность, то есть, ориентацию на санкционированный начальством прецедент. Далеко не каждый носитель традиции может сформулировать эту мысль, но в глубине души он исходит из того, что создание беспрецедентного есть вызов существующему порядку вещей, богоборческое непослушание. Не зря в диктатурах развития именно сакральная (то есть – богоравная) власть выступает в модальности источника инноваций. Что же

касается исторической динамики, то она базируется на творческом начале человека, взыскует его постоянно, в идеале предполагает творческий импульс в каждом работнике. Причем с каждым последующим этапом потребность в творческом начале возрастает.

В этом отношении показательно неприятие джаза классической советской эпохой. В джазе музыка творится здесь и теперь в реальном масштабе времени. Генеральная парадигма советского проекта состояла в том, что подданные выполняют совокупность предписанных действий. Джаз противостоял онтологии мира пастырей и пасомых. Общество, ориентированное на развитие творческого начала, рождает и ценит искусство импровизации как экспликат системных характеристик базового типа личности. Культура фрактальна и изоморфна.

Как показала Новая и Новейшая история, стратегия вознаграждения является самым эффективным механизмом модернизации. Только она формирует бесконечное пространство стимулов к общественно полезной деятельности массового человека. Эта реальность просто отрицает неправовую репрессию. Или общество потребления, или высокая неправовая репрессия. Сочетать эти сущности невозможно.

Обобщая, можно утверждать – задачи динамизации общества отрицают репрессию в стратегической перспективе. Эпоха индустриализации обозначает исторические рамки диктатур развития. На следующих исторических этапах движение вперед требует других социальных регуляторов и стимулов, побуждающих к общественно полезной деятельности.

Репрессия и императив модернизации

Историческая динамика размывает репрессивную доминанту отечественной культуры. Происходит это достаточно давно, хотя и идет крайне медленно. Так или

иначе, в обществе возникают островки гедонистического. Складывается автономный слой людей, стремящихся жить удобно и красиво, что рождает в традиционно-репрессивном секторе метафизический протест. Начало XX века ознаменовалось взрывообразным ростом тенденции автономного бытия, связанной с формированием зрелого капитализма. Особняки стиля Модерн строил для себя по преимуществу частный человек. Не боярин, не приближенный к власти и получивший состояние из ее рук возжелал удобства и красоты. Патриархальный народ смел эту тенденцию. Эсхатологическое горение и аскетизм стали знаменем эпохи. После того, как все устоялось, сложилось традиционное общество, где достаток и роскошь раздавались по чину сталинского уклада. Все вернулось на круги своя.

С середины 50-х начинается эрозия традиционно-статусного общества. Формируется советский потребитель, который, во-первых, демонстрирует тенденцию стать массовым, что противостоит традиции, и, во-вторых, мера потребительской активности начинает отрываться от прикосновенности к власти. Зубопротезисты, ювелиры, владельцы нелегальных авторемонтных мастерских отдыхают в престижных санаториях на Пицунде, ходят на просмотры вожделенных западных кинофильмов в Дом Кино, одеваются в магазинах «Березка». Все это вызывает возмущение честного советского человека, но с историей не поспоришь. Удобства и скромные, но, все же, доступные блага цивилизации размывают суровое бытие; репрессия медленно отступает на самом важном для себя пространстве повседневности, ростки консьюмеризма пробиваются через асфальт советского проекта.

Крах «совка», рыночная экономика и очередное наступление гедонистического мира составляют содержание нашей эпохи. Новый облик крупных российских городов, тысячи дорогих особняков вокруг Москвы, Питера и других миллионников, массовая практика проведения отпусков на Средиземноморье свидетельствуют о типологическом соответствии ситуации начала XX века. Коренное отличие – несопоставимый уровень массовости.

В двухтысячные годы, не только в столицах, но и *в* остальных *миллионниках* РФ сложилось *полноценное общество потребления*. К этому можно относиться поразному. Можно вспоминать о существенном слое общества, оказавшемся за рамками потребления. Можно указывать на то, что источником всей этой благодати стала благоприятная конъюнктура цен на энергоносители. Однако нельзя не признать беспрецедентный характер описываемого события в отечественной истории и мощнейшую общественную поддержку наступивших перемен. Слой общества, который публицисты презрительно окрестили «офисным планктоном», принял ценности потребительского мира, освоил модели поведения, осознал этот мир своим. А это – миллионы молодых, наиболее квалифицированных людей. Заметим, что формирование общества потребления ответило на сильнейший социальный запрос. Отсюда – энергия легитимации путинского режима.

Человек, твердо ставший на путь потребления, плохо вписывается в мир превентивной, неправовой репрессии. Одна из этих сущностей должна будет уйти.

Механизмы самоподдержания репрессивного целого на этапе исторического снятия

Отечественная культура противостоит любым процессам, размывающим и деструктирующим репрессивное целое. Между тем, история рождает неразрешимый конфликт между репрессией и императивом модернизации, которая противостоит репрессии. Если на начальных этапах модернизационных рывков уровень репрессии возрастает (вспомним эпохи Петра I или Сталина), то на следующих этапах реализуется тенденция к

снижению этого уровня. Названные процессы рождают идеологические баталии, характеризующиеся острым противостоянием носителей патриархального сознания, которые, в конечном счете, проигрывают. Впрочем, проигрывают только на уровне идеологии, ибо на уровне социальной практики репрессия сохраняется. Процессы снижения уровня репрессии идут крайне медленно. Репрессия жертвует отдельными, наиболее одиозными формами – типа наказания шпицрутенами в армии, наказания кнутом в местах заключения, вырывания ноздрей и клеймления – но сохраняет другие, которые замещают отринутые по соображениям гуманности. Уровень репрессий колеблется: периоды относительного снижения уровня репрессии сменяются возвратами к массовым репрессиям и их ужесточению. Сплошь и рядом изъятие репрессивных форм воздействия из нормативной модели мира оказывается фикцией. В реальности репрессия сохраняется и процветает. Наконец, размывание репрессии в одних зонах ведет к активизации репрессии в других. Рассмотрим эти сюжеты подробнее.

Отмена одних форм репрессии и замещение их другими

Субъектом репрессии выступают как общество, так и государство. Репрессии, реализуемые на уровне социальной среды, не нормативизованы и опираются на традицию; государственная репрессия регулируется законом и устойчивой практикой. Эти сферы репрессивности относительно автономны и в то же время взаимозависимы. Масштаб насилия, творимого от имени государства, опирается на массовые представления о допустимом насилии. Снижение уровня государственной репрессии ведет к постепенному снижению уровня репрессии в социальной среде[1]. Ниже речь пойдет о государственном насилии.

[1] Кроме того, государство вмешивается в регулируемую обычаем социальную практику: запрещает самосуд, кровную месть, обычай осквернения могил «заложных покойников» (колдунов), осуждает жестокость в семейном быту и т.д.

Обращение к материалу показывает, что отмены наиболее одиозных форм насилия носят во многом декларативный характер. Социальная практика настоятельно требует функционального замещения отринутых форм, и их замещают за счет более широкого и жесткого использования оставшихся. Так, введенное Петром I наказание шпицрутенами было отменено в 1863 году с заменой плетьми. Наказание кнутом, зафиксированное еще в Соборном уложении 1649 года, доживает до эпохи Николая I. Кнут отменен в 1845 году с заменой кнута *увеличенным числом* ударов плетьми. Полной отмене предшествовало секретное постановление 1829 года, ограничивавшее практику применения кнута. Секретный характер этого постановления показателен. Подданным надлежало оставаться в спасительном страхе.

В местах заключения (на каторге) практиковались свои наказания. Широко практиковавшееся Петром наказание кнутом и вырезание ноздрей злостных преступников отменено в 1817 году. А «поставление знаков», то есть – клеймление, дожило до 1863 года. Впрочем, не надо думать, что отмена средневековых изуверств сделала русскую каторгу второй половины XIX века «белой и пушистой». На смену отмененным пришла другая номенклатура наказаний. А именно – плети, приковывание заключенного к тачке, кандалы. Эта практика отменена уже в XX веке, в 1903 году. В 1904 телесные наказания отменяются в армии и флоте.

В целом, смягчение телесных наказаний идет отдельными, мелкими шагами и растягивается буквально на века. Екатерина II отменяет физические наказания Жалованной грамотой дворянству в 1785 году. В 1796 эта привилегия распространяется на священнослужителей. Император Павел освободил от телесных наказаний лиц старше 70 лет в 1799 году. В отличие от своей матери, Павел был царем всесословным. С императора Павла начинается процесс ограничения, а в перспективе и отмены, крепостного права; вспомним «Указ о барщине».

Можно порадоваться за тех, кому в 1799 году стукнуло 70 лет, но в каком же страшном мире жили наши предки!

Солженицын замечает, что после отмены смертной казни в мае 1947 года с заменой высшей меры наказания максимальным сроком заключения в 25 лет, практика правоприменения стала более жесткой. Там, где раньше можно было рассчитывать на десять или пятнадцать лет, давали «четвертак».

История попыток отмены смертной казни в России, вообще говоря, поучительна. Все началось с того, что императрица Елизавета Петровна в момент восшествия на престол принимает обет никого не казнить и не подписывает смертных приговоров. Тюрьмы переполняются преступниками. В 1753 году Сенат находит решение проблемы. Осужденных к смертной казни бьют кнутом, вырезают ноздри и ссылают на каторжные работы.

Практика Елизаветы Петровны была ее личным делом, не имевшим правового закрепления. Впервые официальная отмена смертной казни провозглашается Временным правительством в марте 1917 года. Этот акт – примета новой республиканской России. Однако уже в июле правительство вынуждено восстановить смертную казнь за военные преступления, убийства, изнасилования, разбой и грабеж.

Восстановление смертной казни встретило пропагандистскую волну со стороны оппонентов правительства, прежде всего большевиков. Придя к власти, большевики отменяют смертную казнь (26 октября 1917 года решением II Всероссийского съезда Советов). Однако счастье длилось не долго. Двадцать первого февраля следует разрешение *расстрела без суда.*

В феврале 1920, с завершением Гражданской войны, смертная казнь отменена декретом ВЦИКа, но в мае того же года – восстановлена.

Наконец, в мае 1947 года смертная казнь в СССР отменяется в третий раз (с заменой высшей меры «четвертаком»). На этот раз эра милосердия продержалась

более двух лет. Смертную казнь вернули советскому народу в 1950 году.

Завершая хронологию надо сказать, что с 1996 года в РФ действует мораторий на исполнение смертной казни. Этот мораторий связан с международными обязательствами России. Идея отмены смертной казни непопулярна в обществе, о чем свидетельствую социологические опросы. В середине двухтысячных годов на российском телевидении прошел сюжет о пожизненном заключении. Он касался террористов. Пафос материала заключался в том, что условия содержания в российских тюрьмах таковы, что пожизненное заключение будет пострашнее смертной казни. Телевидение успокаивало массового зрителя. Не бойтесь: мир без смертной казни не рухнет.

Можно увидеть, что попытки отмены смертной казни, диктуемые соображениями идеалистического или пропагандистского порядка, натыкаются на практику, которая заставляет возвращать «высшую меру социальной защиты». Ни общество, ни государственный аппарат не демонстрируют способности жить вне перспективы казни. Вырезания ноздрей и ссылка на каторжные работы оказывается недостаточной.

Колебательный процесс

Начиная с XVIII века, то есть с разворачиванием в стране процессов модернизации, русская история демонстрирует своеобразный колебательный процесс: эпохи государственной жестокости сменяются относительным «послаблением», за которыми следует возврат к жестокой и часто массовой репрессии.

Реалии эпохи Петра I впечатляет. К XVIII веку в России исторически сложилась правовая практика, предусматривающая два вида смертной казни: смертная казнь могла быть как простая (повешение, отсечение головы), так и «квалифицированная» (сожжение, колесование, четвертование, залитие горла металлом, закапывание

живьем в землю). Великий реформатор обогатил номенклатуру квалифицированной казни. Разбойников стали подвешивать на крюке за ребро.

Сразу после смерти императора преобразовательный импульс существенно ослабевает, а с ним снижается уровень государственного насилия. Далее разворачивается страшно медленный, внутренне противоречивый процесс. Во времена Екатерины II (пугачевщина) и Николая I (декабристы, польское восстание 1830 года) уровень государственной репрессии выше; во времена Елизаветы Петровны, Павла, Александра I – ниже. Но в целом происходит снижения уровня государственной репрессии. Ко второй половине XIX века Россия доживает до Великих реформ, получает суд присяжных. Судебная система и практика правоприменения становится соотносимой с общеевропейскими.

Революционная ситуация последних лет царствования Александра II знаменовала собой рост уровня репрессии снизу. Реакция эпохи Александра III, отмеченная повышением уровня государственной репрессии, стабилизировала ситуацию в стране. Всплеск уровня репрессии знаменует время русско-японской войны и первой русской революции (1903 – 1908 гг.). Однако в целом уровень репрессии последовательно снижался.

Большевистский переворот задает совершенно иной уровень репрессии. Гражданская война происходит на фоне красного и белого террора, погромов, практики заложников, самосудов, сожженных усадеб, зверств разного рода атаманов и полевых командиров.

Переход к эпохе НЭПа знаменует относительную либерализацию победившего режима. Руководствовавшееся революционной целесообразностью ЧК сменяется ГПУ, работа которого предполагала некоторые правовые рамки.

Далее, со средины 30-х годов разворачивается эпоха террора, пик которого приходится на 1937–1938 годы Власть отбрасывает любые правовые препятствия, создает огромную и чудовищную систему лагерей. Небывалый конвейер репрессии работает на полную мощность. Террор ослабевает к началу Отечественной Войны.

Война сама по себе несет море страданий, силы всего общества направлены на борьбу с врагом. Энергия репрессивной машины снижена. Новая волна репрессий разворачивается после войны. Со смертью Сталина ситуация замораживается, а с 1956 года разворачивается медленный процесс снижения уровня репрессии. Закат советского общества происходит на фоне иссякания энергии государственного насилия.

Описанный нами колебательный процесс заслуживает осмысления. На первый взгляд здесь просматривается два фактора: процесс модернизации и природа российского целого. Модернизация не гомогенна. На определенных стадиях модернизационных преобразований возникают переломные этапы. Эти переломные этапы задают кризисы российского общества. Растет дезорганизация, повышается уровень стихийного насилия. Универсальный способ стабилизации – жесткий политический режим. Насилие от имени государства стабилизирует ситуацию. По выходе из модернизационного кризиса повышенный уровень репрессии оказывается контрпродуктивным, существенно изменившееся и изнасилованное эпохой общество переживает усталость и жаждет покоя. Уровень репрессии снижается.

Второй фактор коренится в природе российского целого. Попросту говоря, Россия не может длительное время устойчиво существовать без жесткой репрессии. Стабильность российского общества требует хотя бы одного «поротого поколения». В свое время Натан Эйдельман ввел в русский язык прекрасный образ «непоротое поколение». Ход мысли историка состоял в следующем: для того, чтобы в России появились декабристы, надо было создать условия, в которых, если не все общество, то хотя бы определенный социальный слой существует вне уродующего человеческую личность на-

силия. Дворянство было освобождено от физических наказаний Жалованной грамотой в 1785 году. Декабристы были вторым непоротым поколением. Они не наследовали от своих отцов животный страх перед физическим насилием, а вместе с ним – иррационального ужаса перед иерархией. Иными словами, по своим психологическим характеристикам поколение декабристов обрело исторический шанс стать субъектами исторического процесса и реализовало этот шанс.

Наша мысль лежит в русле идеи Эйдельмана. Речь идет о самоорганизации традиционного целого, в соответствии с которой циклы большой репрессии подчиняются определенной логике. Логика эта состоит в том, что в обществе постоянно присутствует поколение, пережившее большое насилие. Репрессированное поколение несет в себе Страх Божий, сохраняет эталон российского космоса, удерживает общество, в том числе и непоротую молодежь, в некоторой рамке. Если же благодать непоротого бытия продолжится слишком долго, вырастут люди, не вписываемые в российский космос. Теоретически эта коллизия имеет два решения: либо радикально изменяется модель социокультурного целого, либо разворачивается новая волна репрессий. До сих пор история выбирала второе решение.

Выше речь шла о насилии от имени государства. Однако низовое насилие подчиняется близким закономерностям. Реформы Александра II резко снизили уровень государственной репрессии. Общество империи ответило на это польским восстанием 1864 года, и тем, что в советской историографии называлось «революционной ситуацией» последних лет царствования царя-освободителя. История польского национально-освободительного движения лежит за рамками собственно российского исторического процесса, что же касается революционной ситуации конца 1870-х гг., то эти процессы укладываются в исследуемую логику. Давно уже не поротое дворянство и растущий сектор разночинцев

отреагировал на снижение репрессии вполне традиционно, компенсировав снижение уровня государственного насилия насилием снизу. В данной исследовательской перспективе рационализация происходившего субъектами действия значения не имеет. Не важно, во имя каких светлых целей звали народ к топору и кидали бомбы под колеса экипажей. Существенно то, что радикалы и террористы не представляли себе эволюционного пути реализации своих идеалов. Деятельность «Народной воли» была *глубинно традиционной.* Снижение уровня государственного насилия включало эсхатологическую истерию, причем достижение светлого будущего мыслилось только на путях насилия.

Дистанция между *нормативной моделью* и *практикой.*

Характерна устойчивость чистых форм репрессии. В русской армии физические наказания существовали до Первой русской революции. Понятно, что отмена наказаний не отменила практики мордобоя, который благополучно перешел в советскую армию. В 90-е годы прошлого века нам довелось читать о порках провинившихся в станицах по решению казачьего круга. Лет сорок назад один старший лейтенант объяснял автору мотивы воспитания физическим действием: «Он напился и машину из части угнал. По порядку я должен писать рапорт, и этот идиот под суд пойдет. Я ему лучше морду набью». Позже в уральской глубинке я слышал те же аргументы из уст председателя колхоза.

Двигаясь по пути вестернизации наша культура последовательно изымает репрессивные формы воздействия из нормативной модели мира, но не в состоянии обходиться без них на практике. Мы говорим о широкой конвенции, которую поддерживают как субъекты, так и объекты репрессии. Подвыпивший рядовой, который махнул на грузовике в ближайшую к части деревню за бутылкой, утром сам поблагодарит взводного, давшего

ему в морду, поскольку перспектива «дисбата» неизмеримо страшнее. Качество человеческого материала, а, стало быть, базовые характеристики актуальной культуры, требуют побоев как механизма поддержания порядка. В некотором смысле побои – интимный процесс, фиксирующий отношения в паре отец–ребенок. Патриархальный начальник стоит между подчиненным и государством, наказывает провинившихся сам, не выдавая их бездушному государству. Отец–командир любит; он и накажет, по-свойски. Не по закону – он страшный и бездушный – но по совести. Здесь как нигде справедлива русская пословица: «Бьет – значит любит».

Стабилизация уровня репрессии

Размывание репрессии в одних зонах исходно репрессивного традиционного общества *ведет к мощной активизации репрессии в других*. В нашей стране этот процесс разворачивается в течение последних сорока-пятидесяти лет. Пространство роста компенсаторной репрессии: армия, «зона», практика правоприменения, отношения милиции и населения, стихийное низовое насилие. На наш взгляд, за этой активизацией стоит самоорганизация традиционного целого. А. Ахиезер подобные процессы характеризовал как активизацию архаики. Механизмы традиционного целого балансируют общество, зависшее в состоянии перехода.

Возьмем в качестве примера ситуацию в армии. Военный аналитик Александр Храмчихин определяет дедовщину как «тотальный перманентный моральный и физический террор старослужащими новобранцев»[1]. Как указывает автор, дедовщина появляется в советской армии в 70-е годы. До этого дедовщины не было. Проблема дедовщины связана с институтом младших командиров – сержантов и старшин, которые, в отличие от офицеров, круглосуточно находятся в военной части и руко-

[1] *Храмчихин А.* Российская армия: что есть, что надо и что будет // Кремлядь или Наследники Путина: альманах российской публицистики. М., 2006.

водят рядовыми. Такова общемировая практика; так же была устроена и советская армия классической эпохи. Порядок в частях держался на сержанте сверхсрочнике. Маршал Жуков говаривал: «Армией управляю я и сержанты». В начале 60-х годов институт младших командиров был разрушен. Сержанты и старшины лишились полномочий и авторитета, который позволял им руководить рядовыми. Одновременно в погоне за количеством в ВС стали призывать людей имеющих судимость. По мнению Храмчихина, эти меры дали кумулятивный эффект. В 70-е годы в армию пришла дедовщина, которая явилась нелегальным заменителем института младших командиров. В условиях фактического отсутствия старшин и сержантов, «деды» стали опорой порядка, «а поскольку никакого законного статуса она не имела, система приняла откровенно криминальный вид»[1].

Зададимся вопросом: что подвинуло власть на разрушение устойчивого порядка в армии? Зафиксируем принципиально важный момент – перед нами не просто очередная реорганизация. Разрушение эффективно действующего института младших командиров и передача функций социального регулирования в казарме в руки нелегального института дедовщины, явилась актом *самоограничения* власти, которая передала часть своих полномочий неподвластной себе стихии. Стихии архаической, догосударственной, восходящей к этосу племенной демократии и раннего вождества. При этом надо помнить – российская власть не любит себя ограничивать и делегировать кому-либо свои полномочия. Типологически близкая стратегия реализовывалась отдельными чиновниками царского правительства в эпоху Первой русской революции, которые заигрывали с черносотенцами, канализируя энергию традиционалистской массы в погромы. Погромы же мыслились как эффективное средство сбить накал революционной борьбы. Так оно собственно и было. Другое дело, что в стратегической

[1] *Храмчихин А.* Указ. соч. С. 29.

перспективе такая политика самоубийственна, поскольку разрушает государство, подрывая основания законности и порядка и размывая основания легитимности власти.

Разрушение института младших командиров падает на эпоху Хрущева. Но свести все к волюнтаризму последнего – значит безбожно упросить ситуацию и усложнить задачу понимания логики отечественной истории. Перед нами феномен, не поддающийся элементарному объяснению. Эпоха Хрущева давно принадлежит прошлому. Проблема дедовщины была осознана как советской элитой, так и обществом уже в восьмидесятые годы. Начиная с эпохи Перестройки, она постоянно обсуждается в печати. Все серьезные эксперты едины во мнении о необходимости восстановления института младших командиров. Однако тупиковое положение вещей сохраняется.

Для того, чтобы приблизиться к пониманию происходящего, обратимся к социально-психологическому контексту описываемых событий. Конец пятидесятых – начало шестидесятых было временем перемен, в результате которых произошло существенное и даже критическое снижение уровня репрессии. Политика десталинизации, снятие волн террора, отступление тотальной нищеты подавляющей массы населения, постепенное облегчение бытовых условий в городах (а после 1960 года горожане – половина населения СССР), изменения трудового законодательства, дающего работнику возможность менять место работы, эрозия крепостного права в деревне, усложнение и обогащение культурного пространства, параллельно с усложнением социальной структуры общества и как следствие этого – увеличение степени свободы отдельного человека – все это снижало общий уровень репрессии. Снижение уровня репрессии создавало проблемы с социализацией минимально модернизированной массы населения. Повышение уровня репрессии в армии – институте исходно стрессогенном

и репрессивном – позволяло решать проблему в рамках традиционных для отечественной культуры стратегий.

То, что мы называем дедовщиной, имеет ритуальное измерение. Перед нами не просто надругательство одного человека – старослужащего над другим человеком – салагой, во имя рационально малопостижимой потребности мучить, ибо в культуре не бывает ничего бессмысленного или бесцельного. Объяснения дедовщины, связанные с вышибанием денег или подарков – псевдорационализации[1]. Дедовщина воспроизводит забытые практики инициатических ритуалов, связанных с обретением статуса мужчины, посвящением в воина. Вообще говоря, архаические практики, давно, казалось бы, забытые, всплывают в стрессогенных ситуациях тюремной, армейской жизни, в закрытых учебных заведениях. Мы говорим о широчайшем пласте архаической культуры, связанной с представлениями о возрождении космоса (ритуалы убийств, человеческих жертвоприношений), а также ритуальных испытаниях при посвящении, как индивидуальных, так и коллективных. Это вещи хорошо известные любому антропологу, религиоведу, историку культуры. Исследуя архаические военные ритуалы, Мирча Элиаде писал о «смерти созидающей». Он утверждал, что человек становится самим собой, лишь после того, как «перенесет “пытки” и “смерть” за которыми следует пробуждение к новой жизни, качественно иной – потому, что это “возрождение”»[2]. Описанные тенденции можно либо пресекать, жестко контролируя ситуацию и вводя взаимоотношения людей, живущих обособленно от остального общества, в правовое русло, либо отпускать стихию возрождающейся архаики на волю. В российской армии реализуется вторая стратегия.

Десталинизация существенно отодвинула советского человека от существования на грани жизни и смерти.

[1] Отчасти, поборы со стороны старослужащих – паллиация, свидетельствующая о распаде архаического ритуального космоса.

[2] *Eliade M.* Initiation, rites, sosietes secretes. Paris, 1999. P. 270.

Эти культурные смыслы и соответствующее им мироощущение вписывали массового человека в реальность, смыслонаделяли человеческое бытие, задавали рамку человеческой экзистенции. Размывание данного паттерна требовало компенсации. Армия, как институт социализации самой широкой и наиболее традиционализованной массы, была идеальным пространством для формирования необходимого мироощущения. Человека, прошедшего армию, можно было отпускать в изменившийся мир.

О том же пишет культуролог А. Пелипенко, достаточно жестко формулируя обозначенную нами проблему: «Укрощение варвара – было и до сих пор остается главной полуосознанной задачей государства <…>. Например, именно это является главной целью принудительной рекрутчины, за которую государство держится вопреки всем доводам и здравому смыслу»[1]. Пелипенко на зря пишет о полуосознанном характере действий власти. Не так важно, каким образом агенты власти рационализируют те или иные действия, важно, что ими руководят законы самоорганизации российского целого.

А. Ахиезер отмечает рост стихийного низового насилия (хулиганство, спонтанная агрессия) по мере разворачивания пореформенных преобразований российской деревни. Причем, стихийное насилие существенно усиливается с началом XX века[2]. Размывание традиционной культуры и снижение уровня государственного насилия дестабилизируют традиционные слои города и деревни, которые отвечают на это ростом низового насилия.

Следующая итерация размывания традиционной культуры и снижения уровня государственного насилия связна с распадом СССР. Советский Союз, с одной стороны, существовал за счет планомерного разложения традиционного общества, с другой – всеми доступными средствами консервировал моменты традиционного и архаического. Завершение советского эксперимента и крах патерналистского государства разрушали своеобразный заказник, в котором доживали остатки традиционного общества. Смена идеологической и экономической модели резко повысила уровень индивидуальной свободы и снизила уровень присутствия государства во всех сферах. Соответственно, снизился уровень государственного насилия. Возникло политическое пространство, ростки гражданского общества. Сверх всего этого, существенное «проседание» государства в 90-е годы сопровождалось снижением уровня властного насилия.

[1] *Пелипенко А.А.* Печальная диалектика российской цивилизации // Россия как цивилизация: Устойчивое и изменчивое. М., 2007. С. 70.

[2] См. работы А.С. Ахиезера, в т.ч.: *Ахиезер А.С.* Россия: Критика исторического опыта. Новосибирск, 1997.

Российская целостность ответила на это резким ростом насилия низового. До атаманов и полевых командиров дело не дошло, но взрывной рост организованной преступности, сопровождавший процессы формирования рыночной экономики и утверждения частной собственности, охватил всю страну. Оргпреступность носила повсеместный характер. В любом, самом малом городке появлялись «братки», которые крышевали бизнес, улаживали хозяйственные споры взрывами, поджогами, укрощали строптивых выстрелами в упор. Бандит стал символом эпохи. Рядом со всем этим расцветало элементарное, повседневное насилие. Традиционно низкая цена человеческой жизни упала до ничтожных значений. С конца 90-х назревший в обществе запрос на твердый порядок реализуется в формах «суверенной демократии» и организованная преступность уходит с общественной арены. Что же касается низового насилия на молекулярном уровне, то эти процессы разворачиваются по сей день.

Низовое насилие существует рядом с нами, однако ни масштаб процессов, ни мера их значимости для судеб социокультурного целого не находят адекватного отражения в серьезной литературе. Эти реалии как бы про-

валиваются сквозь сознание модернизированного слоя общества. По всей видимости, сказываются ценностные барьеры. Русский интеллигент склонен обвинять во всем власть, что же касается народной жизни, то обращение к этой теме требует интеллектуального мужества.

Чтобы стало понятно, о чем речь, приведем заметки современного провинциального врача, работающего в райцентре одной из прилегающих к Москве областей. Сделав в высшей степени примечательное наблюдение «у больных, да и у многих врачей сильнее всего выражены два чувства — страх смерти и нелюбовь к жизни», автор описывает рядовой эпизод: «недавно со второго этажа выпал двухлетний ребенок по имени Федя. Пьяная мать и ее boyfriend, то есть *сожитель*, втащили Федю в дом и заперлись. Соседи, к счастью, все видели и вызвали милицию; та сломала дверь, и ребенок оказался в больнице». И далее пишет: «Почти во всех семьях в недавнем прошлом случаи насильственной смерти: утопление, взрывы петард, убийства, исчезновения в Москве. Все это создает тот фон, на котором разворачивается жизнь и нашей семьи в частности. Нередко приходится иметь дело с женщинами, похоронившими обоих своих взрослых детей»[1]. Об этой реальности не принято говорить вслух в приличном обществе. Тем не менее, низовое насилие пронизывает собой жизнь миллионов людей. Оно задано культурой и только культурой. Не важно, носит ли репрессия упорядоченный или стихийный характер, важно, что человек рождается, живет и умирает в атмосфере насилия. Такова логика самосохранения и имманентные механизмы традиционно репрессивного общества.

Кризис репрессивности: логика исторического снятия

Однако мы говорим об обществе, переживающем модернизацию. Оно неоднородно как в социальном, так

[1] *Осипов М.* В родном краю // Знамя. 2007. № 5. С. 112 – 118.

и в культурном отношении. Несет в себе пласт традиционного, пласт модернизированного и эти компоненты культуры находятся в сложной диалектике[1]. Иными словами, внутри российского социокультурного целого пребывает две разноприродных сущности: одна, ориентированная на традиционные ценности и статику, другая – на ценности модерна и динамику. Причем, логика результирующего процесса задается внешним по отношению к России контекстом. Модернизация – следствие неумолимого исторического императива.

Советский этап отечественной модернизации разворачивался в рамках диктатуры развития. Обозначим некоторые характеристики общества этого типа: власть – источник инноваций, государство носит патриархальный характер, роль его в организации жизни огромна, традиционная община и традиционная культура пребывает в стадии деструкции. Посттрадиционных горизонтальных связей не существует, общество атомизовано. Нет идеи и практики контракта. По своей природе власть эта идеократическая. Политический режим формируется в диапазоне от жестко авторитарного, до тоталитарного.

Главная интрига модернизации в рамках диктатуры развития состоит в том, что параметры модернизированного общества строго перпендикулярны характеристикам означенной диктатуры. Иными словами, перед нами саморазрушающийся феномен. Существует проблема традиционного комплекса власти-собственности, переживающего модернизацию. Суть этой проблемы состоит в том, что в такой конфигурации модернизация носит *незавершенный характер*. До тех пор, пока живо традиционно-редистрибутивное целое, модернизация, то есть – переход от имманентно статичного, к имманентно динамичному качеству социокультурного организма – не происходит. Можно создать массу предпосы-

[1] Подробнее см.: *Яковенко И.Г.* Риски социальной трансформации российского общества: культурологический аспект. М., 2006.

лок модернизационного скачка – мощную индустрию, приличную инфраструктуру, хорошую систему образования и т.д. Не будет только самого скачка, поскольку субъект динамики и система экономических, политических, социальных связей, необходимых и органичных этому субъекту, отрицает традиционно целое и несовместим с властью-собственностью[1].

Три века отечественной модернизации наглядно иллюстрируют заявленную проблему. Мы стали свидетелями резкой, уложившейся в неполных два десятилетия деиндустриализации России, утраты ею массы промышленных технологий, научных школ и других атрибутов современного государства. Инерция мышления и ценностные барьеры мешают осознать, что такая эволюция свидетельствует о *возвращении целого к равновесному состоянию*. Ценой перерасхода ресурсов и гигантского напряжения сил, традиционное общество могло создать на административных, внеэкономических, редистрибутивных основаниях сущности, органичные для высокоразвитого рыночного общества. Однако эти блоки противоречили природе целого, требовали постоянных усилий государства для создания и поддержания в рабочем состоянии того, что должно самовоспроизводиться и расти в рамках частных и групповых интересов и экономической (то есть, рыночной) логики. Крах идеократического государства привел к неизбежному сбросу инородных, неорганичных сущностей.

История показала, что российскому обществу надо осознавать себя великим и могучим, а власти, которая будет поддерживать эти самооценки, обеспечены устойчиво высокие рейтинги. Однако реально оно вполне удовлетворится статусом сырьевой державы при условии, что на деньги, вырученные от продажи сырья можно разворачивать общество потребления. За последние пятнадцать лет десятки миллионов людей в той или иной мере включились в общество потребления и приняли

[1] Наивные люди советского чекана всерьез принимали предпосылки к модернизации за собственно модернизацию.

его ценности. Молодые, энергичные, адекватные современной реальности ориентированы на потребление. По нашим оценкам названная группа насчитывает примерно треть общества. Треть озабочена тем, чтобы дожить в более или менее устойчивом и привычном мире. Треть колеблется от неприятия наступившей реальности к компромиссу с нею. Все эти соображения имеют отношение к нашей магистральной теме, ибо запрос на общество потребления отрицает репрессию как системообразующий фактор.

Исследуя механизмы самоорганизации традиционного целого, мы не можем пренебрегать новыми тенденциями и альтернативными социокультурными механиками, складывающимися с середины прошлого века. Репрессия умирает тогда, когда формируется достаточно широкий слой экзистенциально чуждый нормам, ценностям и смыслам, порождающим и требующим репрессии. Когда альтернативное пространство смыслов из субкультуры маргинального слоя превращается в доминирующее мироощущение, смещаются параметры воспроизводства общества и культуры.

Эсхатологическое горение, переживание сакральной Власти как космической силы, авторепрессия, онтологическое сиротство, верность сакральному Должному, гностическое убеждение в том, что жизнь есть страдание, а жить хорошо, во-первых, греховно и, во-вторых, не получится – все это лежит в основаниях традиционно репрессивного мира. Но подобный идейно-психологический комплекс не вечен. Он не родился из хаоса в акте творения и не пребудет до Конца времен. Любая социокультурная конфигурация существует постольку, поскольку обеспечивает некоторый минимум эффективности, и существует до тех пор, пока сохраняются условия ее воспроизводства. Условия воспроизводства обозначенного нами комплекса разрушаются с середины XX века.

Похоронив Сталина, традиционный человек простился с последним правителем, соответствующим обра-

зу настоящей сакральной Власти. Далее на него обрушилась чреда правителей скандально не соответствующих этому образу. Они – эти правители – профанировали и размывали светлый образ Власти с большой буквы, вселяющей в сердца подданного Страх Божий. Власти свирепой и справедливой, немногословной, неисповедимой в своих планах, грозы боярству и защитницы «простого народа». Страна медленно, но неотвратимо погружалась в бардак, всеобщую пьянку и растащиловку. Даже самый дорогой для традиционной массы Брежнев, обеспечивший счастливые десятилетия застоя, оставался профанный добрячком, болтуном, не способным породить в обществе спасительный страх и навести порядок. Масса анекдотов и поношение очередного правителя в узком кругу свидетельствовали о драматическом разладе между одной из важнейших культурных норм и реальностью.

Энергия эсхатологического горения иссякла в 60-е годы. *Эсхатология* покоится *на аскетической сублимации*: Все для фронта! Все ради светлого будущего! Требует полной нищеты, безнадежно тяжелого быта, отсутствия малейших надежд на улучшение жизни здесь и теперь, всеобщего равенства в серой безысходности. Завершение классического этапа советского эксперимента потребовало компромиссов. Отдельные квартиры, новые комфортные формы быта, сладкая мещанская повседневность, новые красивые и вожделенные вещи. Особое значение имело зримое для каждого расслоение общества. Мы говорим не о традиционном ранжировании по феодальным статусам, заданным мерой прикосновенности к Власти, а расслоении, усилиями частного человека, живущего рядом с тобою. Вместо того, чтобы соборно строить светлое будущее, общество разделилось на тех, кто успешно созидал удобное настоящее и тех, кто не мог, не умел, не хотел «устраиваться в жизни». В такой атмосфере эсхатологическое томление иссякает.

Авторепрессия, онтологическое сиротство, верность сакральному Должному сплавлены между собой и заложены в основания российского целого. Они растворены в общественном сознании, вплетены в формы повседневности, запрятаны в ткань литературы и искусства. Однако эти идейные комплексы успешно воспроизводятся лишь в соответствующей среде. Если же контекст противостоит, то базовые инстинкты культуры хиреют и маргинализуются. Теснивший честного советского человека, Потребитель активно формировал свою субкультуру, в которой «вся эта мура» была начисто элиминирована. Он не общался на содержательном уровне с носителями традиции, не читал ту литературу, не смотрел тех фильмов. Формировал культурное пространство не только ценностно, но семантически и экзистенциально чуждое традиции настолько, что диалог между названными вселенными был невозможен.

Самым устойчивым оказалось Должное. Распад этого конструкта приходится на девяностые-двухтысячные годы. Социалистический проект переживался традиционалистской массою как воплощение Должного. Победа иных ценностных ориентиров не проблематизировала, как это было прежде, но предвещала гибель сакрального Должного.

Природа потребительской установки противостоит гностическому отторжению мира. Потребительство созидает альтернативную онтологию. Поговорка «Не жили хорошо, нечего и привыкать» утрачивала общественный кредит. Честная бедность отступала, престижное потребление наступало. Сытая и удачливая жизнь самодовольных соседей несла в себе соблазн, которому поддавались дети и внуки носителей традиции.

Все это вместе создавало новый идейно-психологический строй, другую систему ориентиров и массовых настроений, в которую не вписывалась традиционная репрессия. Само общество постепенно утрачивало потребность в грозном царе и превентивной репрессии.

Предпочитало хаос и растащиловку, внутри которых можно было неплохо устроиться. Носители традиционного сознания постепенно, но неуклонно превращались в меньшинство. Это были люди старшего поколения, малообразованные, плохо понимавшие реалии современного мира, устойчиво балансировавшие на грани бедности. За ними закреплялась клеймо смешных неудачников.

Перестройка, крах СССР и постсоветская эпоха довершили размывание традиционного комплекса. Идейные противники социалистического эксперимента зафиксировали в общественном сознании истину: верность великим Идеям означает пустые прилавки. События начала 90-х показали, что общество готово обменять великую Идею на магазины, полные вожделенных и прекрасных товаров. *Потребитель одержал стратегическую победу*. Традиционный идейный комплекс стал стремительно стягиваться в сегмент тех, кто не вписался в новый яростный мир. Это очень разные люди. Здесь встречаются православные традиционалисты, впавшие в нищету интеллигенты, потерявшиеся в новой реальности мелкие начальники, честные советские люди старших поколений, молодые радикалы самых разных оттенков. Общим для данного сегмента постсоветского общества будет традиционная жизненная ориентация, не желание и не способность жить в конкурентной среде, потребность в патерналистском государстве и т.д. С годами обозначенная группа общества не растет. Межпоколенческая преемственность традиционалистского комплекса носит характер суженного воспроизводства. Вместе с иссяканием этой преемственности угасает *согласие общества на репрессию.*

Формы выражения такого несогласия могут существенно различаться от региона к региону. В Ингушетии реакция на властный произвол совсем не та, что на Дальнем Востоке или в Москве. Российское общество стадиально и цивилизационно гетерогенно. В модернизированном слое такое согласие существенно ниже, в

традиционно ориентированном – выше. Однако общий тренд очевиден. Звучавшие в 90-е годы нацболовские речевки: «Пытать и вешать, вешать и пытать», «Сталин, Берия, Гулаг» являются одним из самых наглядных свидетельств этого. Противопоставляя себя массовым настроениям и играя на молодежном радикализме, идеологи движения пытались заговорить будущее.

В России развивается абсолютно невозможное, немыслимое для традиционного сознания *правозащитное движение*. Идея правозащиты отрицает святая святых – внеправовой характер власти и свирепую репрессию как атрибут настоящего правителя, утверждает верховную власть закона, что прямо отрицает весь российский космос.

В стране формируются сети общественных организаций. Они весьма разнообразны и даже разношерстны. Однако их всех объединяет общественная субъектность, ориентация на право, способность консолидироваться во имя преследования групповых интересов, понимание природы государственного механизма, овладение навыками легальных инструментов решения собственных проблем. Человек традиционно-репрессивного общества знает один способ коммуникации с высокой властью – верноподданная челобитная. В предельном случае «лично товарищу Сталину», то есть, поданная от частного лица на высшее имя[1]. Общественные структуры формируют совершенно иную культурную ситуацию.

Разумеется, процессы исторического развития диалектичны. Практика насилия и санкция на насилие сохраняются в минимально модернизированном слое общества, который достаточно широк. Ориентированная на традиционное всевластие бюрократия опирается на

[1] Челобитные «лично товарищу Сталину» – знак тотемистического переживания государства. Всякий человек из последней глубинки мистически связан с тотемом. На Западе не характерно обращение к Первому лицу. Для всякого действия есть процедура, прописанная в законе, а закон для всех един.

эти традиции, санкционирует низовое насилие, ищет в традиционном слое ресурсы легитимации традиционного внеправового режима, натравливает охлос на требующий правового государства модернизированный слой общества.

Надо сказать, что ресурсы такого натравливания небезграничны. Срабатывает великая сила успешного прецедента. К правозащитникам обращаются люди из самой, что ни на есть, глубинки: малообразованные, забитые, казалось бы, совершенно чуждые любому гражданскому действию. Новые модели поведения прорастают в ткань общества. В этой ситуации диффамация общественных организаций и натравливание обывателя на структуры гражданского общества, «шакалящие у подъездов иностранных посольств» срабатывает все хуже. Массовый человек видит своекорыстный интерес правящей бюрократии.

Поскольку легальные способы борьбы с тенденциями формирования общественно-политической субъектности утрачивают эффективность, агенты власти вынужденно прибегают к технологиям, лежащим на грани и за гранью закона. В этом отношении показательна скандальная, противоречащая конституции практика трансформирования законодательства, урезающая права граждан, административное давление на оппозиционные силы и движения, анонимные нападения на активистов самых разнообразных политических и общественных сил, чреда политических убийств, сопровождающая нашу жизнь в последние десятилетия. Силы, стремящиеся сохранить традиционный для России порядок вещей, обращаются к классической внеправовой репрессии. Нельзя однозначно оценить результат этих усилий. Очевидно одно – дозированное неправовое насилие не в состоянии успокоить общество. Не менее очевидно и другое – власть дозирует силовую составляющую и неправовое подавление оппозиции, и это свидетельствует о присущем ей политическом реализме.

Надо сказать и о том, что во властно-бюрократическом слое нет единства. Существенная часть политического класса готова к превращению в респектабельную элиту так называемого «цивилизованного мира». А это означает принятие стандартов, исключающих традиционно неправовое насилие.

Наконец, еще один цикл Большой репрессии в России невозможен по фундаментальным обстоятельствам. Сняты базовые условия и факторы, необходимые для запуска процессов самоуничтожения. Господин Проханов может повторять мантру – «Сталин грядет», а теоретики консервативной революции рассуждать о новой диктатуре развития. Похоже на то, что поезд ушел.

Некоторые соображения об исторической альтернативе репрессии

Если репрессивные культуры исследуются нами развернуто, то историческая альтернатива репрессии раскрывается даже не пунктиром, а назывно. Во избежание неполного понимания и ложных трактовок оговоримся: историческая альтернатива репрессивной стратегии «не сахар». Со стороны, из пространства высокой репрессии достоинства и преимущества культуры поощрения видятся особенно остро. Но это – взгляд со стороны.

Зрелые формы культуры поощрения сложились в XIX–XX веках. Более двух веков социальные мыслители, писатели, публицисты Запада исследуют феномен общества поощрения. В этом анализе часто звучит самая беспощадная критика. Критики общества потребления фиксируют множество острых проблем. Общества, построенные на поощрение, репрессирует массового человека психологически. Экономисты, философы и журналисты говорят об изменении человеческой природы, о сведении человека к экономическому измерению, о доминирующем, практически тотальном конформизме, о манипуляции массовым сознанием, о том, что работа и финансовый рост заполняют собой все пространство

жизненных интересов. Критики говорят о духовном отчуждении, попрании гуманистических идеалов, формировании стандартизированного массового человека. Список претензий, предъявляемых обществам поощрения, можно продолжать и продолжать.

Наверняка в этих построениях присутствует логика оппонирования, неизбежный момент полемической заостренности. С другой стороны здесь, безусловно, присутствует момент истины. Наблюдая мир поощрения со стороны, мы не считаем себя в праве вмешиваться в эту дискуссию. Но истинность многих суждений очевидна не только из соображений заданных общей картиной мира, но и на уровне безусловного удостоверивания.

Классики психоанализа правы: всякая культура репрессивна. Массовый запрос на психологов и психоаналитиков, службы экстренной психологической помощи, практика суицида, объем групп общества, склонных к выпадению из социального пространства (хиппи, панки и др.), практика наркомании – все это свидетельствует о серьезных проблемах, переживаемых обществами, в которых доминирует культура поощрения.

Отметив сказанное, надо иметь в виду:

Во-первых, культура манипулирует человеком. Это ее родовое качество. От эпохи к эпохе, и от общества к обществу разнятся стиль и конкретные формы такой манипуляции.

Во-вторых, история всегда насилует человеческую природу, ибо история есть процесс качественного изменения общества и человека. Она трансформирует эту природу, подавляя одни характеристики и развивая другие. Так было и в эпоху палеолита, и в Шумере, и в современном мире. Нам может не нравиться то направление, в котором идет трансформация, но где критерий оценки вектора изменений? Что мы знаем о потребностях завтрашнего дня? Более того, в какой мере мы являемся субъектами исторического процесса? Поздний людоед наверняка остро переживал крах вечного и неизменного мира его отцов и дедов.

В-третьих – человеку, живущему в обществе поощрения, оставлен выбор: он может включиться в нескончаемую гонку, а может отдаться созерцательной жизни живущего на пособие безработного, стать хиппи, уйти в экзотическую секту, стать отшельником, уехать в Индию. Ни у шумерского крестьянина, ни у советского человека такого выбора, в рамках легального пространства действий, не было. Он мог сбежать из госхоза, спиться, стать «чудиком», уйти в маргинально-преступный мир. Как мы видим, набор альтернатив разнится.

И еще, всякий раз, когда сталкиваешься с суждениями о стандартизации массового человека, о попранном богатстве человеческой личности, об отказе от идеалов Возрождения, возникает вопрос – где, когда, в каком обществе эти идеалы были реализованы? Могут ли они быть чем-то иным, кроме *идеалов*, то есть невоплотимых конструктов человеческого сознания? В какой мере эти идеалы разделялись *всем обществом* в эпоху Перикла, или в эпоху Возрождения? Иногда, в той или иной мере, приблизиться к идеалам удается горстке духовной элиты. Наше убеждение состоит в том, что традиционный крестьянин, живший бок о бок с итальянскими гуманистами, представляет интерес только как объект антропологического исследования. В житейском отношении он был пострашнее современного обывателя. Не стоит предаваться иллюзиям. Вырастающая из качественной дистанции пропасть взаимного отчуждения разделяет тех, кого наши потомки назовут духовной элитой современной эпохи, и массового человека потребительского общества также как и тысячу лет назад.

По нашему разумению рай на земле есть химера. Если и существует выбор, то это выбор между разными стратегиями манипулирования человеком, для которых характерны разные формы насилия. Человек общества поощрения подвергается давлению, в некотором отношении, не менее жесткому, но по-другому, через другие социальные, культурные, психологические механизмы.

Он репрессирован, но эта репрессия имеет иные характеристики.

Государство в этом пространстве позиционировано совершенно по-иному. Репрессия конфигурирована в других формах. Высокий уровень самодисциплины, присущий среднему западному обывателю, выступает как авторепрессия, подкрепляемая рассеянной санкцией со стороны общества.

Сакральной власти «там» вообще нет, а государство осуществляет репрессию в рамках закона и под неусыпным надзором со стороны общества. Зато существенно выше роль авторепрессии. При этом смысловая и психологическая структура авторепрессии совершенно иная. Традиционный россиянин переживает собственную греховность и ожидание: когда же карающая длань Иерархии воздаст ему по заслугам. Западный человек, на фоне спокойного переживания собственного достоинства, скован рамками жесткой самодисциплины. Он – сам себе надсмотрщик, и сам себе полицейский. Такая конфигурация личности существенно снижает число эксцессов. Однако самопрограммирование и самоограничение дается ценою расходования психологических и экзистенциальных ресурсов. Отсюда непреходящая усталость, срывы, очереди к психоаналитикам и т.д.

Наконец, за человеком Запада зорко следит общество[1]. Оценивает значимые аспекты его поведения, не дает шагу ступить «не так» без репутационных издержек. Западное общество начисто лишено специфически российской лагерной солидарности. При случае сразу обращаются к агентам государства, предлагая им взыскать за проступок и обеспечить поведение, в соответствии с законом. Эта сторона евроатлантической реальности вызывает яростный протест у иммигрантов из России.

Зрелое общество поощрения формирует человека, соответствующего характеристикам этого целого. Оно

[1] В ролевой позиции члена этого общества человек не менее зорко следит за всеми, кто окружает его самого.

созидает «тривиального обывателя, хорошего семьянина, честного налогоплательщика»[1]. В мире достижительных ценностей живут искренние воркоголики, подвижники работы во имя работы, проникнутые убеждением, что бизнес есть альфа и омега всей жизни. Те же, кто по тем или иным причинам не соответствуют этим характеристикам, не принимают жесткие правила игры – маргиналы, не заслуживающие серьезного общественного внимания.

[1] *Сосланд А.* Всякая культура репрессивна // Знание – Сила. 2010. № 6. С. 41.

ГЛАВА XI
Базовые основания российского общества

Репрессия не является самостоятельным и автономным явлением. Она не только пронизывает все срезы социокультурного целого, опривычена и закреплена в традиции, но, в свою очередь, задана базовыми характеристиками целого. Иными словами, снижение уровня репрессивности невозможно без изменения существенных характеристик культуры. Некоторые из этих характеристик были рассмотрены выше. Подводя итоги нашей работы, выделим те моменты, которые представляются ключевыми.

Зона как метамодель государства. Большое общество поневоле

Российское государство не есть результат общественного договора. Не в том смысле, что наши люди являют себя сознательным анархистами и готовы жить без государства. Нет, они остро нуждаются в сакральной власти. Речь идет о типологии государственности.

Государства распадаются на два типа. Первое – *государство навязанное,* возникшее в результате силовой акции организованной силы, превратившейся затем в политическую элиту. Навязанное государство может формироваться и по-другому. К примеру, возникнуть, разрастаясь из нома, совокупными усилиями военно-политического и жреческого корпуса. Важна природа государства, которая состоит в том, что власть, политический порядок, правила игры навязаны большинству. Причем, это большинство в стадиальном отношении пребывает в пограничной зоне, отдаляющей государство от догосударственного бытия. А потому оно – чистый объект политического действия элиты.

Для государства второго типа более всего подходит концепт *общественного договора*. Возникает оно

по-разному, но существо такого государства состоит в том, что значительный слой общества, выступающий в дальнейшем как политически субъектный, в результате некоторого взаимного компромисса конституирует это государство, добровольно принимает для себя некоторые правила игры, и участвует в развитии данного организма.

В государствах первого типа и *социальные функции, и нормы поведения носят принудительный характер.* Власть сакральна, принуждение и репрессия всепроникающи. Подданный занимается тем, чем ему велят, и следует тем нормам поведения, которые ему предписаны властью под угрозой репрессии. Однако, это – *не его нормы*. В культуре подданных веками и даже тысячелетиями сохраняются другие нормы. В частной жизни такой человек живет в соответствии с нормами актуальной культуры, которые разительно отличаются от государственной нормативности. В этом мире живет две системы ценностей. То, что плохо, или преступно с точки зрения власти, нормально, допустимо, естественно, а иногда даже единственно возможно с точки зрения общественной морали[1].

В государствах второго типа социальные функции человек задает себе сам. Это его государство, он понимает, что это такое и сам избирает свое место в системе общественного разделения труда. Здесь санкционированные государством нормы поведения формируются в результате широкого обсуждения и политического компромисса. Поэтому закон и мораль чаще всего совпадают. Законодательство запрещает западному обывателю втихую выбрасывать мешки с мусором на обочину шоссе, уклоняться от налогообложения, брать и давать взятки. Но общественная мораль требует от него ровно того же.

Для массового россиянина, который списывал и подсказывал в школе, называл в кругу своих директора

[1] Тут мы еще раз сталкиваемся с одной из граней раскола культурного сознания.

«дураком» (не потому, что тот дурак, а потому что директор воплощает навязываемый властный порядок и воспринимается как старший конвоир), в зрелые годы тащил все, что попадет под руку с работы, в критических ситуациях «подмазывал» нужного человека; для такого человека непостижима европейская практика, в соответствии с которой водитель звонит на пост дорожной полиции и сообщает номер автомобиля, из которого выбросили на дорогу пустую пачку от сигарет. Он не понимает, как можно доносить на соседа, который подрядил для ремонта своего дома нелегальных эмигрантов и т.д.

Он даже не может сформулировать своего тяжкого недоумения. Максима о том, что есть «мы» – подъяремные, и есть «они» – начальство, что эти миры противопоставлены друг другу и ведут вечную позиционную войну, а эта война требует от «нас» солидарности для него также непреложна, как убеждение в том, что солнце всходит и заходит, а человек смертен.

Итак, в навязанном государстве социальный порядок и правила игры по преимуществу принудительны. В государстве общественного договора социальный порядок и правила игры вытекают из общественной морали и, одновременно, санкционируются государством. Здесь человек побуждаем и принуждаем к социально ценному поведению совокупными усилиями общественного мнения и государства.

Применительно к отечественной истории мы можем называть два политических феномена, представляющих описанные нами модели – Ростово-суздальскую Русь и Великий Новгород.

В России государство навязано и выполнение социальных функций по преимуществу принудительно[1]. Есть власть – массовый, традиционно ориентированный человек работает и выполняет правила (хорошо он работает, или плохо, и как выполняет эти правила – другой вопрос). Без власти он вообще не склонен ни работать, ни выполнять какие бы то ни было правила. В XX веке Россия дважды переживала крах большого общества. Мы располагаем достаточным эмпирическим материалом для того, чтобы осознать природу описываемого явления.

[1] В некоторых аспектах и в некоторых ситуациях они, разумеется, совпадают. Войны и стихийные бедствия объединяют российскую Власть и народ, за это их так любят идеологи традиции. Но общий вектор властной и народной нормативности расходятся.

Кризис власти, распад конкретного политического режима переживается традиционным россиянином как конец космоса. Он, во-первых, перестанет работать, минимизирует потребности, двинется к натуральному хозяйству, запьет, начнет растаскивать предметную среду и продавать на рынке все, что можно продать, пойдет грабить дома состоятельных и т.д. Во-вторых – для него исчезает любая нормативность. Если Власти (то есть, земного Бога) нет, то все позволено. Так ведет себя догосударственный человек, насильно вписанный в большое общество, в ситуации распада этого общества.

Перед нами древневосточная модель государства. Сакральная власть-моносубъект не только владеет всем и принимает значимые решения. Она – тотем, хранитель целостности социокультурного модуля государства и сосуд энергии государственной жизни. Нет власти, нет и жизни по моделям большого общества, есть чистый хаос. Люди не несут государства в сознании и не воспроизводят его в своем поведении. Они не постигают, как можно и почему быть человеком государства и цивилизации, если над тобой нет карающей длани сакральной власти. Не так давно мы могли смотреть по телевизору на то, как гордый и свободолюбивый иракский народ, по случаю краха режима Саддама Хусейна, растаскивал из музеев Багдада сокровища Шумера. Этот эпизод лучше всего иллюстрирует описанный феномен. Если власть рушится, такие люди быстро создают новую авторитарную, а, лучше, тоталитарную власть и успокаиваются под ее сенью.

Совокупный вопль ревнителей русской традиции – даешь репрессию, диктатуру развития, даешь нового

Сталина – отсюда. Ревнители традиции: люди описанного типа. Они убеждены, что «наш человек» без Сталина воспроизводить государство не может.

Также устроено сознание малого ребенка. Ребенок делает то, что надо, до тех пор, пока на него смотрят родители. Российское государство сущностно воспроизводит социальную и культурную ситуацию тюремной зоны. Общество противопоставлено конвою, живет в ситуации двойной нормативности и консолидировано противостоянием миру людей власти.

Феномен чистого принуждения, или жизнь по-русски

Сегодня во многих магазинах и общественных центрах администрация предусмотрительно извещает посетителей о том, что все помещения в здании находятся под наблюдением. Посетителя оберегают от искушения полагать, что в некоторой точке этого пространства он оказался неподнадзорен. Такие предупреждения свидетельствуют об отсутствии иллюзий относительно моральных качеств и поведенческих стереотипах клиентов.

Зададимся далеко не академическим вопросом – что заставляет цивилизованного человека не мочиться в лифтах и подъездах домов, не оборудованных камерами наблюдения. Мы полагаем, что страх быть застигнутым на месте преступления не стоит на первом месте. Решает сумма нравственных и эстетических установок, способность сопереживать человеку, который столкнется с лужами урины. По всей видимости, решающим оказывается образ базовой идентичности. Описанное нами действие носит ритуальный характер. Субъект этого действия демонстрирует свое отношение к городу и цивилизации знаково-символически профанируя эти пространства. Мочиться в лифте – акт протеста против существующего порядка вещей. Он свидетельствует о том, что окружающий актора мир – мир недолжный, нарушающий космический порядок бытия. В основаниях

этого акта усматриваются богоборческие и гностические смыслы.

Лужи урины в лифтах и подъездах манифестируют метафизический протест против мещанского уюта, восстают против стремления обустроить окружающее человека пространство, сделать его эстетически завершенным, удобным, соразмерным человеку зрелой цивилизации. Архаику душно. Он задыхается в этом мире, упорядоченном по другим, отрицающим его природу законам, утрачивающим образ Хитрова рынка или спившегося предместья. Разрушить этот мир не удается, но выразить свое отношение необходимо. А потому остается надломать, изгадить, нацарапать бранное слово.

Описываемый нами ритуал фиксирует стадиальную принадлежность субъекта действия. Тот, кто мочится в лифте – варвар. Тот, кто презрительно дистанцируется от такой практики – человек цивилизации. В этой связи вспоминается один из эпизодов идеологической борьбы в Украине, во время Оранжевой революции. Тогда в Киеве на стенах домов появились надписи «Не ссы в подъезде, ты не из Донецка». Ход жестко пропагандистский, но удачный. Образ Донецка символизировал ориентированную на Россию часть украинского общества. Авторы слогана говорили своему читателю – мы не варвары, мы европейцы.

Существование двух систем нормативности в одном обществе, отсылающая к детскому негативизму, невротическая потребность втихую, по-хамски нарушать нормы цивилизованного общежития – свидетельства глубокого раскола в сознании и культуре. Мир, в котором пребывает ориентированный на традиционные ценности массовый россиянин, переживается им как мир профанный, бросающий вызов небесам. Чаще всего, эти идеи не вербализуются, но переживаются, давят на психику, задают ход мыслей и строй миропереживания. «Советский человек в ужасе увидел, что буржуазен не определенный способ производства, а само бытие, сама истина

бытия, что буржуазность – категория не политэкономическая, а онтологическая. Его история предстала бунтом не против капитализма, а против основ мироздания»[1].

В навязанном государстве власть-моносубъект требует выполнения норм и правил в результате принуждения. От подданного ожидают усвоения заданных государством норм, но выполнение актуальных требований приоритетнее. Надо не умствуя делать то, что тебе приказали сию минуту. Связано это с тем, что, действуя из внутренних побуждений, подданный встает на путь превращения в субъекта, а этого не должно быть. Далее, наличие убеждений провоцирует процессы согласования этих убеждений в широком социальном пространстве, помимо сакральной власти. А это уже самоорганизация культуры; отсюда до демократии рукой подать. Потому власть требует чистого подчинения и работает в парадигме принуждения.

Возникнув однажды, навязанное государство формирует адекватного себе подданного, выпалывает ростки личностности, консервирует архаику, формирует конфигурацию культурного пространства таким образом, чтобы новые знания, идеи и технологии, проникающие в общество, не размывали устойчивый порядок вещей. С точки зрения власти, социум поневоле и феноменология тюремной зоны несут в себе некоторые неудобства. Но все они искупаются статусом субъекта по преимуществу (в бессубъектной стране). Народ, жаждущий Опонского царства и восстающий против цивилизации, случается, утомляет. Зато не лезет в дела элиты, чем выгодно отличается от западного обывателя.

Власть как космизующая инстанция

Как мы уже сказали, сакральная власть – инстанция, побуждающая архаика воспроизводить большое общество и государство. Такой человек не несет модуль государства в самом себе, воспроизводя его в своем поведении непрестанно. Он магически приобщается к целому большого общества и государства через тотем власти, которая выступает демиургом, распорядителем и побудительной силой, направляющей подданного в его действиях. Нет власти, и это целое буквально рассыпается на кучу атомизированных индивидов, *неспособных самостоятельно воспроизвести государственное целое.* Крестьянин переходит к натуральному хозяйству, уменьшает запашку, обрекая город на голод. Булочник перестает печь булки на продажу, и проедает запасы зерна. Рабочий запьет. Учащийся перестает ходить в школу, верующий – к исповеди[1], студент – на лекции и т.д.

[1] *Парамонов Б.* Человек не добр, а мелкобуржуазен // http//www.lebed.com/2000/frt2210.htm

Стратегия воспроизводства большого общества в сознании этих людей отсутствует. И это – достаточно парадоксально. Казалось бы, эти люди еще вчера работали, то есть участвовали в общественном разделении труда. В их действиях воспроизводились общественные отношения, рос и усложнялся социокультурный организм. Но рушится целое, проседает центральная власть, и миллионы людей демонстрируют палеолитические стратегии индивидуального выживания. Если завод закрывается или годами не платит зарплаты, начинается проедание окружающей среды. Другой вариант – неолитическое, внерыночное натуральное хозяйство (картошка и капуста на шести сотках).

Идея найти свое место в новой реальности, создавать товар или услугу, которую востребует рынок – а это было бы самостоятельным включением в общественное разделение труда и участием в воспроизводстве большого общества – чужда сознанию традиционного россиянина.

Исторические истоки такого положения вещей понятны. В традиционном обществе социальная функция

[1] Это суждение описывает историческую реальность. По данным А.Б. Зубова, во время Первой мировой войны в лагерях российских военнопленных в Германии был зафиксирован красноречивый факт: после Февральской революции количество солдат и офицеров, которые шли к исповеди снизилось в *пятьдесят раз.*

и жизненный сценарий наследуются. Иными словами, заданы по факту рождения. Консервативная модернизация диктует новое положение вещей. Власть выступает как сакральная инстанция, задающая социальную функцию и жизненный сценарий. Для традиционного человека существовало два сценария. Первый: идти на работу в родной колхоз или к проходной соседнего завода. Второй: ехать туда, куда пошлет Родина и делать то, что она прикажет. Крах советской власти и плановой экономики выявил, что массовый советский человек традиционного чекана не способен самостоятельно выбирать род занятий и жизненный путь. Он лишен необходимых для этого психологических, культурных, экзистенциальных ресурсов.

Оговоримся, разумеется, речь идет о части российского общества. По оценкам специалистов 10 млн. человек в 90-е годы стали «челноками». С членами семей это не немее 30 миллионов человек. Российское общество очевидным образом расслоилось по стадиальным и качественным характеристикам. Однако сектор исторического балласта, разраставшийся в атмосфере советского государственного патернализма, в объемных характеристиках не уступает сектору активных граждан. Носители описываемого нами типа сознания должны быть маргинализованы. Они имеют право на доживание и только. Стратегически важно не создавать условия для воспроизводства самого этого сектора и присущего ему сознания. Традиция госпатернализма должна быть пресечена. Если пассивный архаик будет жить лучше или хотя бы соизмеримо с активным субъектом – включится мощнейшая историческая инерция, и Россия воспроизведет советский цикл хождения по кругу консервативной модернизации.

Герои нашего исследования не создавали государство и большое общество, но были включены в него внешней для себя силой и не способны к воспроизводству этих сущностей. Модели социальной и хозяйственной субъектности, присущие их сознанию, принадлежат другим эпохам. В пространстве исторического бытия они могут быть чистыми объектами. Государство – психологически и онтологически чуждая реальность. Надо было поставить этих людей на грань вымирания для того, чтобы часть из них прошла путь самостоятельного включения в общественное разделение труда.

Сама по себе такая конфигурация общества не создает репрессии. Однако государство, в котором присутствует значительный сектор чисто объектного человеческого материала, неизбежно и неумолимо тендирует к высокому уровню репрессивности, ибо других способов бороться с хаотизацией социокультурного космоса, располагая этим историческим субъектом, не существует.

Главная русская тайна или почему не «хрястнуть душегубца»? Проблема фундаментальных оснований репрессивности

Как мы говорили вначале, есть три понятия: насилие, власть и репрессия. Они взаимосвязаны и одно выражается через другое. Русская, то есть сакральная Власть – субъект легитимного в глазах общества неограниченного насилия, которое есть репрессия.

Репрессия может принимать самые разные формы, быть избирательной и массовой, совместимой с жизнью репрессируемых и несовместимой. При всех обстоятельствах в глазах традиционного общества Власть остается субъектом неограниченного ничем насилия. Тут возникает проблема ограничений насилия. Речь идет о сугубо теоретической проблеме, о познании природы явления. Суть проблемы состоит в том, что объект насилия является не только носителем определенного типа культуры, но еще и живым существом. В качестве биологической особи он наделен инстинктом самосохранения. Этот инстинкт относится к базовым и подавляется только в исключительных случаях (спасение детей, битва за род и

т.д.). Идея неограниченного ничем насилия вступает в конфликт с биологической природой человека.

Вспомним А. Солженицына: «а что, если бы каждый оперативник идя ночью арестовывать, не был бы уверен, вернется ли он живым, и прощался со своей семьей? Если бы во времена массовых посадок, например в Ленинграде, когда сажали четверть города, люди бы не сидели по своим норкам, млея от ужаса при каждом хлопке парадной двери и шагах на лестнице, – а поняли бы, что терять уже дальше нечего и в своих передних бодро делали бы засады по нескольку человек с топорами, молотками, кочергами, с чем придется? Ведь заранее известно, что эти ночные картузы не с добрыми намерениями идут – так не ошибешься, хрястнув по душегубцу. Или тот воронок с одиноким шофером, оставшийся на улице – угнать его, либо скаты проколоть. Органы быстро бы не досчитались сотрудников и подвижного состава и, несмотря на всю жажду Сталина – остановилась бы проклятая машина!»[1].

Проблема в том, что репрессия неотвратима, и перспективы потенциального объекта репрессии однозначны. При всем этом, в эпохи обострения тирании наш человек – абсолютный объект, дожидающийся своей очереди. Он может только «млеть от ужаса». Если же ему угрожает какая-либо иная сила, не осененная российской властью, он способен дать отпор.

Опричники грабили и уничтожали далеко не только бояр. Вместе с боярами под нож опричного разорения попадали «люди боярские». Это могли быть и боярские холопы, и боярские служилые люди, и крестьяне, сидящие на земле опального боярина. Как же вели себя жертвы террора? Мы находим описания разгромов, средневековых пыток и мучительных казней, которым предавали несчастных, но никаких свидетельств сопротивления десятков тысяч уничтожаемых людей летописи не оставили. (Так летописная традиция утверждает, что

[1] *Солженицын А.И.* Архипелаг ГУЛАГ. В 3-х т. М., 1990. Том I.

разгром Новгорода длился пять недель. По свидетельствам современников были убиты 60 – 70 тыс. человек.) Разгромив Новгород, Грозный пошел на Псков. Скованные чувством ужаса псковичи встречали царя и опричную армию колокольным звоном и столами с хлебом-солью вдоль улиц, по которым должен был проследовать царский кортеж. Горожанам повезло. Царь ограничился разгромом местного духовенства. Показательно, что вскоре после описанных событий поляки осадили Псков и встретили геройское сопротивление.

Пусть поляки – иноверцы и иноплеменники. Однако вскоре после смерти Грозного, в эпоху Смуты, столкнувшись с «воровской», то есть, преступной стихией, воплощенной в казачьей вольнице, разрушающей большое общество и подрывающей основы государства, подданные московского царя продемонстрировали способность к самоорганизации. Они нашли деньги, подобрали кадры, собрали войско, создали правительство и, в конечном счете, воссоздали привычное для них устойчивое государство. Итак, московские люди встают грудью на защиту своей земли, своего имущества, собственной жизни во всех случаях, кроме одного – когда эту землю, имущество и жизнь в лице своих агентов у них отнимает высшая власть.

Кстати, в том же Петрограде, о котором пишет Солженицын, всего за 15 лет до волны сталинского террора существовала такая форма общественной самодеятельности, как «подомовая охрана». Гражданская война породили всплеск бандитизма. Жители по очереди дежурили в подъездах и при необходимости били бандитов, которые грабили по ночам. Итак, в исключительных обстоятельствах, на фоне распада государства, нормальный россиянин убивает бандита твердой рукой со спокойной совестью, но перед бандитом в погонах тот же самый россиянин бессилен.

Есть такое соображение – террор избирателен, или, по крайней мере, может представляться избирательным

в глазах потенциальной жертвы. Если сидишь и не высовываешься, глядишь и пронесет. Эта призрачная надежда лишает жертву воли к сопротивлению. Однако те же казаки грабили не всех подряд и, в отличие от российской власти, которая уже пришла за тобою, с ними можно было договориться. Но нижегородские «мужики торговые» решили иначе. Значит, в глазах этих людей палачи и насильники из опричников не равнялись воровским казакам.

Грозный и его подручные были людьми творческими. Казначея Фуникова поочередно обливали то кипятком, то ледяной водой. Кожа с него сошла, как с угря. Князя Бориса Телепнева посадили на кол. Он мучился на нем в течение пятнадцати часов, а перед его глазами стрельцы насиловали мать наказуемого, пока она не умерла тут же[1]. Иными словами, тем, кто «млел от ужаса», терять было нечего. В самом худшем случае они могли погибнуть в бою с «ночными картузами». А в лучшем – перед ними открывались перспектива совершенно новой жизни.

Единственный из возможных ответов на парадокс кролика, шагающего в пасть удава, состоит в том, что «хряснуть душегубца» мешает культурный блокиратор. Блокиратор, который может подавить базовый биологический инстинкт самосохранения, относится к мощнейшим механизмам традиционных и архаических культур. В описанном нами феномене нет чего-то уникального. Антропологи и историки культуры знают о табуации всего, что связано с персоной властителя в культурах некоторых архаических народов. Культуры, практикующие человеческие жертвоприношения, также содержат в себе компоненту поведения жертвы. Доосевой, архаический человек может попасть в модальность абсолютной, то есть, ритуальной жертвы и реализует в этом положении соответствующий сценарий поведения[2].

[1] *Валишевский К.* Иван Грозный. М., 1989. С. 279.

[2] Подробнее см: *Яковенко И.Г.* Феномен конвейера: Культурные механизмы массового террора // Он же. Познание России: цивилизационный анализ. М., 2008. С. 429 – 496.

Что же касается носителя русской традиции, то для него такое поведение привычно и единственно возможно. Однако при всей привычности и самоочевидности данное поведение не относится к антропологическим универсалиям. Более того, альтернативные модели взаимоотношения власти и подвластных реализуются не только за горами, за долами. На территории нашей страны есть регион, где действуют иные культурные нормы и формируется совершенно иная практика. На Северном Кавказе убийство силовика, совершившего неправовое убийство, в рамках института кровной мести – нормальное дело. Об этом свидетельствуют события последних десятилетий. Кровную месть не просто вершат, но объявляют о том, что за убийство такого-то будет совершена кровная месть. Как единичное событие подобное можно представить себе и в России, но как культурно санкционированную практику – невозможно.

Бунт против начальства в России возможен только в сугубо аффективном состоянии. Механизм такой: конкретные действия властей, нарушающие неписанный, но жизненно важный кодекс взаимоотношений власти-подвластных, или общественный договор, подрывают основы традиционного бытия и ставят человека в невыносимые условия. Это ведет к росту психологического напряжения, которое охватывает каждого человека и разливается в традиционной массе. Когда потенциал такого напряжения превышает потенциал табуации сакральной Власти, наш человек впадает в истерику или забытье, и в этом состоянии поднимает руку на власть. Характерно то, что повод для срыва может быть самым пустяшным.

Поскольку иерархия в России имеет высший статус сакральности, человек, перешедший черту, отделяющую абсолютное повиновение от бунта, совершает качественный скачок в область, где не существует никаких запретов. Представителя власти, как правило, убивают. А затем, как по сигналу, начинается массовое избие-

ние агентов власти и разрушение предметной среды. К примеру, таким образом развивались события во время бунта в военных поселениях Новгородской губернии в 1831 г. Всеобщее возбуждение и участие масс свидетельствуют о доминирующем аффективном состоянии. Как мы понимаем, истерика – состояние временное. Бунт, естественно, завершается падением на колени и выдачей зачинщиков.

Другой способ обмануть собственное сознание и придать антиправительственному выступлению видимость следования сакральной высшей власти – самозванчество. Этот феномен принадлежит традиционной крестьянской культуре. Первые самозванцы появляются в эпоху Смуты. Последние эксцессы самозванчества зафиксированы в середине XIX века[1]. Далее модернизация размывает сознание, в рамках которого было возможно появление «подлинных» царевичей, скрывавшихся до поры, до времени.

Никаких других форм силового противостояния агентам власти русская традиция не знала. В крайнем волнении русская толпа могла подступать к царю и требовать казни боярина Морозова («соляной бунт», июнь 1648 г.). Могла даже оторвать три пуговицы с царского облачения, но не более того. Для того, чтобы перейти незримый порог, отделяющий онтологического раба от бунтовщика, надо было выпасть из этой традиции. Дворцовые перевороты XVIII века и, наконец, убийство императора Павла совершались узкой группой вестернизированного слоя общества, в котором, во-первых, была размыта абсолютная табуация властителя, и, во-вторых, сложилась сословная идеология дворянской аристократии как «народа», понимаемого в качестве субъекта исторического процесса и полноправного элемента государства.

Для того, чтобы российские террористы смогли поднять руку на агентов власти, членов царской семьи и

[1] *Сухова О.А.* Десять мифов крестьянского сознания. М., 2008.

самого царя, они должны были пережить манихейскую инверсию картины мира. В инвертированной картине Власть переживается как Сатана, угнетающий «народ», трактуемый как высшая ценность. Соответственно, убийство царя понимается как акт, который снимет магические заклятия и разрушит неправедный мир, скандально попирающий Должное. Власть оставалась сакральной сущностью высшего порядка. Изменилась ценностная модальность этой сущности. Из живого бога на земле она превратилась в Его Величество Сатану.

Возможно ли качественно иное отношение к Власти, если не иметь в виду Польшу, Англию или другие страны европейской традиции? Ответ на этот вопрос дают история Киевской Руси и Великого Новгорода. В этом отношении эталонной является история князя Ingvarra, в русской традиции Игоря Рюриковича Старого (878 – 945). В интересующем нас отношении примечательна история смерти князя. Осенью 945 года князь со своей дружиной отправился за данью к древлянам. Легко собрав дань, по пути домой Игорь решил, что можно было взять больше. «Поразмыслив, сказал своей дружине: Идите домой, а я возвращусь и похожу еще». После чего с малой дружиной вернулся в древлянскую землю. Древляне справедливо рассудили «Если повадится волк к овцам, то вынесет все стадо, пока не убьют его; так и этот, если не убьем его, то всех нас погубит». Они перебили всех дружинников и разобрались с князем. По словам Иоанна Цимисхия, «он был взят ими в плен, привязан к стволам деревьев и разорван надвое».

История Игоря Рюриковича дает наиболее наглядный образец исторической альтернативы российскому соотношению власти и подвластных. Но, вообще говоря, вся история Киевской Руси демонстрирует существование общественного договора, в рамках которого верховная власть не всесильна, а подданные не безгласны. Население Киева неоднократно сгоняло со стола киевских князей. То же происходило и в других городах. Хресто-

матийный пример этой политической практики – история князя Изяслава Ярославича, изгнанного восставшими киевлянами после поражения в битве с половцами на реке Альте (1068). Князь отказался дать киевлянам коней и оружие из своего арсенала, чтобы биться с половцами. В городе произошло восстание; Изяслав бежал в Польшу. Это – обычная практика.

История Новгорода Великого рисует ту же картину. Разница состоит в том, что в Киевской Руси отношения общества и князя покоились на традиции, и силы эти находились в динамическом равновесии. А в республиках российского Севера описываемые нами отношения институционализованы, оговорены во всех аспектах, введены в рамки соглашений и договоренностей. В Новгороде Великом князь не мог шагу ступить без избранной городом администрации, правил вместе с сенатом, не имел права покупать недвижимость в городе (а значит, не получал законного права остаться в городе после снятия с должности). Когда же горожане по решению веча «показывали дорогу из города», князь со своей дружиной (которая была меньше городского ополчения) уходил.

Сложно постижимая современным человеком любовь советских масс к «товарищу Сталину» имеет два истока.

Первый – актуализация доосевого пласта сознания. Речь идет о реставрации модели космоса и ситуации, стадиально соответствующей Древнему Египту и Ассирии. Проваливание человека, поверхностно принадлежащего Новому времени, в такую седую архаику разрушает табуацию отринутых моделей космоса (человеческие жертвоприношения, Правитель – Живой Бог) и вызывает сильнейшее эмоциональное напряжение. Это – чисто религиозное переживание огромной силы, которое неведомо человеку секулярной эпохи.

Второй источник – психологическая компонента механизма самоуничтожения традиционно-архаического

общества, зашедшего в тупик и не способного к трансформации. Самоуничтожение миллионов возможно только тогда, когда наступление нового для этих людей переживается как победа чистого Хаоса, и перспектива эта ужаснее, чем гибель. Когда миллионы, взявшись за руки, с горящими глазами идут к обрыву и прыгают с него, пребывая в убеждении, что Там их ждет невыразимое блаженство. Любовь к Сталину была оформлением описанного комплекса смыслов и переживаний. Нам представляется, что заявленную проблему надо рассматривать в контексте данных соображений. Стучащие в дверь опричники присланы сакральной властью и этим все сказано.

Рассматриваемый нами парадокс неведом людям Киевской Руси. В равной степени он неведом новгородцам и псковичам до покорения республик Москвою. Рядом с московским порядком вещей существовало миропонимание, согласно которому неправовое убийство подданных, разграбление их имущества «слугами государевыми» – необходимое и абсолютно достаточное условие для того, чтобы вешать этих слуг на придорожных осинах, идти всем миром в столицу и поджигать обложенный со всех сторон дворец, в котором спрятался обезумивший тиран.

Изгнание из Киева Святополка горожанами или практика «показывать князю путь из Новгорода» должна быть сопоставлена с известной сценой народного волеизъявления, предшествовавшей установлению тирании Ивана Грозного. Вот как описывает ее академик Платонов: «Действия против бояр царь открыл невиданным поступком. В самом конце 1564 г. он выехал из Москвы, не сказав куда, и остановился в Александровской слободе. Оттуда он прислал в Москву грамоту, извещая, что оставил свое царство из-за боярской измены. Москвичи, отправив к царю посольство с духовенством во главе, просили его не покидать царства»[1]. Царь мило-

[1] *Платонов С.Ф.* Учебник русской истории. СПб, 2001. С. 132.

стиво согласился, но с условием: не мешать ему «класть свою опалу» на изменников, а иных и казнить, а ему самом учредить себе «опричнину».

Осознаем – между описанными практиками пропасть. Одно это делает совершенно несостоятельными разговоры о «тысячелетней истории России». Киевская Русь или Древнерусское государство качественно отличается от Московии. В Киевской Руси и Новгороде Великом сложился State, то есть – власть европейского типа. В Московии же – патримониальное государство[1].

Жизнь делает нас скептиками. Мы хорошо знаем, как организуются «народные волеизъявления». Мобилизовать церковных иерархов, пригнать массовку – элементарное дело. Важно другое: даже если это был чистый спектакль, в Киеве XI века (обществе православном, но *демократическом*) такой спектакль был технически осуществим, но бессмыслен. Киевляне сначала от души посмеялись бы, а потом пошли разносить палаты бояр и иереев, которые от их имени посмели лишать народ правосубъектности и наделять правителя тиранически-ми полномочиями.

Повторим важное положение – репрессия реализуется только тогда, когда существует согласие на репрессию. Если репрессируемый активно не согласен и не принимает репрессии, социальный порядок рассыпается, а общественный договор, конституирующий государство, в этой точке времени и пространства рушится.

Другое дело, что согласие может быть навязано. Но без такого согласия устойчивый порядок не существует. Далее, нельзя навязать что бы то ни было всему народу властью, ресурсы которой исчерпываются этим же народом. Всему народу может навязывать оккупационная администрация, ставленники сильных завоевателей, располагающие внешними ресурсами[2]. Внутри страны можно

[1] См. параграф «Репрессия и право» II главы данного издания.

[2] Пример такой диспозиции дают русские князья, громившие остатки киевской политической традиции, опираясь на Неврюев и Бурундаев.

давить одних (численно меньших и слабых), опираясь на согласие других (численно преобладающих). Пока идет «примучивание» народа, расходуются значительные ресурсы. Но это – принципиально временная ситуация. Российская империя могла позволить себе полвека завоевывать и усмирять Кавказ. После покорения, когда согласие населения на легитимную репрессию получено, уровень военного присутствия снижается. Есть такая закономерность: если все абоненты телефонной сети одновременно поднимут трубки – система связи переживает коллапс. Ровно также устроено государство. Ни одно государство не располагает ресурсом для принуждения *всего* народа. В тот момент, когда подданные отказывают государству в праве на репрессию, оно рушится.

Это касается как всего общества, так и отдельных зон этого общества. Миллионы людей можно держать в лагерях до тех пор, пока они готовы сидеть в зоне и дожидаться своей гибели. Каковы психологические механизмы этого, как власть манипулирует призрачной надеждой на освобождение и чувством безысходности – специальный вопрос. В тот момент, когда согласие на террор и последовательное уничтожение «контингента» в лагерной мясорубке у заключенных исчерпывается, *система лагерей рушится.* Это не умозрение. Об этом свидетельствует история нашей страны. Растущий вал восстаний в лагерях с 1947 по 1955 годы (1947 – Усть Вим, Джезказган; 1954 – Ревда, Карабаш, Тайшет, Решоты, Джезказган, Кенгир, Шерубай Нура, Балхаш, Сахалин), когда поднимались «зоны» с тысячами заключенных, покончил и со сталинской системой лагерей, и со сталинским внутриполитическим курсом. Сталинское окружение – люди с руками по локоть в крови – провозглашали политический курс XX съезда не от хорошей жизни.

Солженицын упоминает напуганных генералов НКВД, приезжавших расследовать причины крупного восстания в конкретном лагере. Эти люди хорошо знали

словосочетание «революционная ситуация» и отдавали себе отчет в том, что если события примут неожиданный поворот, их буквально разорвут на части. В 1955 перед советским руководством открылась дилемма – физически уничтожить население сталинских лагерей, или объявить самую широкую амнистию. Первое решение было бы буквально самоубийственным. Человек, подписавший такой приказ, не имел шансов дожить до начала следующего месяца. Жизнь открывала перед ним альтернативу: его расстреляют сразу после подписания данного приказа, или после его выполнения как преступника и врага народа, на которого можно будет свались все на свете. Оставалось распускать лагеря. Но тут возникал вопрос об ответственности. Смерть вождя создавала идеальные условия свалить всю ответственность на него. Вот вам и исходные данные для идеологии XX съезда.

Наш ответ на поставленный вопрос состоит в том, что между XII и XVI веками на пространствах Суздальской Руси/Московии произошел *цивилизационный синтез,* который задал другие параметры массового сознания. С того момента, когда синтез завершился и заданный им способ миропереживания стал абсолютно доминирующим, для русского человека поднять руку на власть все равно, что православному с топором пойти на икону.

Итак, в Северо-восточной Руси, в междуречье Оки и Волги, возникла новая цивилизация. При всем многообразии и богатстве феноменов, всякая цивилизация покоится на некоторых основаниях. Для того, чтобы выделить важнейшие сущностные черты, исследователи локальных цивилизаций вводят понятие культурного ядра. Проблематика ядра относится к сложнейшим и мало разработанным. Мы коснемся тех аспектов проблемы, которые имеют прямое отношение к нашей теме.

Прежде всего, надо упомянуть раскол культурного сознания. Мир дуалистичен и разорван надвое. Раскол сознания имеет множество частных проявлений. Субъект культуры партисипируется к расколу. Дуалистическая махиейская доктрина вечной борьбы двух космических стихий мифологически оформляет такое сознание, а репрессия выступает в качестве органического фона этой борьбы.

Единственное и универсальное упорядочивающее начало во вселенной – Власть. Вот как формулирует эту мысль А. Пелипенко: «Власть в Русской Системе – это не характеристика политического субъекта и не обозначение соответствующего типа социальных отношений. И даже не сумма первого и второго. Это – категория мистико-космологическая, глубоко сакральная, поскольку, по сути своей, есть первопричина всякой культурной упорядоченности»[1].

Сам человек, его ближнее окружение, любые человеческие (то есть, профанные) сообщества полностью лишены упорядочивающего начала. Человек переживается как источник Хаоса, которому противостоит трансцендентная по своим истокам сакральная Власть, являющаяся источником порядка.

Речь об априорных константах онтологического характера. Источник порядка трансцендентен человеку. Любая претензия со стороны человека на устроения Космоса носит богоборческий характер. За оградой Власти возможен только чистый хаос, хлябь внешняя. Известна страшная историю бунта Южного общества декабристов. Солдаты частей, участвовавших в восстании, грабили шинки и убивали местных жителей. Объяснение этого феномена лежит в плоскости истории традиционного сознания. В голове солдат существовало две модели космоса и, соответственно, две модели поведения. Есть либо государство (в их терминологии Власть), в котором присутствуют слуги государевы, солдаты, либо сообщество, противостоящее Власти, а именно – разбойники. Раз их повели на царя, то они перешли из государевых людей в разряд разбойников. В этом случае их поведение должно соответствовать второй парадигме.

[1] *Пелипенко А.А.* Русская система на весах истории // Философские науки. 2010. № 5. С. 56 – 67.

Важно осознать – никакой третьей, социально ценной парадигмы в описываемой модели Вселенной не обреталось. Космос является эманацией Власти. *Подданные порядка, то есть космоса, не созидают*. Подданный, утративший благодатную связь с Властью, порождает Хаос. Это, как человек, подпавший под власть Князя Тьмы. Киевлянину или новгородцу такой ход мысли был неведом. Именно они в собственных глазах *выступали источником порядка.*

В любой культуре существует табуация на некоторые действия и мыслительные практики по поводу этих действий. Так в нашей культуре табуированы: поедание экскрементов, инцест, людоедство. В общем случае нормальный человек не склонен размышлять об этих действиях, представлять их себе, детализировать. В культуре, сложившейся после цивилизационного синтеза действовало *табу на представление альтернативного космического порядка, за гранью сакральной Власти.* Мало того, что носитель такой культуры не видит источника порядка в окружающем мире. Прежде всего, он себя самого воспринимает как источник Хаоса. Он и под сенью богоравной Власти грешит и преступает мыслимые законы. А не будь Власти, его страсти и инстинкты окончательно вырвутся на волю. В нем самом гнездится страшный хаос.

Ужас Хаоса восходит к эпохе антропогенеза. Он иррационален и непреодолим. Нет ничего страшнее Хаоса. Во все времена только узкие, маргинальные группы людей (типа Алистера Кроули) готовы поклоняться Хаосу. Да и те трактуют Хаос как парадоксальную форму порядка. В этой перспективе встать на путь противостояния Власти означает оказаться во власти Хаоса в себе и вызвать Хаос во внешнем мире. В такой перспективе остается ждать, млеть от ужаса, блеять о невиновности перед лицом Особого совещания и ватными ногами всходить на эшафот.

Заметим, что описанный нами синтез не охватил базовые территории Киевской Руси. В Волынско-Галичской

земле, Киеве, Новогороде эволюция идет по другому пути. Киев, Южная Русь, Русско-Литовские земли входят в нормальный европейский феодализм[1]. Новгород – средневековая торговая республика. А на восточной окраине Киевской Руси в другом общеисторическом контексте сложился новый культурный паттерн. На этой территории земного шара и на этом отрезке всемирно-исторического процесса он оказался исторически эффективным. Со временем ему даже удалось (хотя и не надолго) охватить все исторические пространства исходной Руси.

Итак, Иерархия является единственной, первой и последней космизующей силой, генеральным упорядочивающим началом. Она упорядочивает мир, как в мистическом измерении, так и на плане видимого социального мира. Иерархия субъектна и деятельна. Это ее базовые атрибуты. Отдельный человек за гранью Иерархии – источник хаоса.

Подданные делятся на рабов добродетельных и недобродетельных (лукавых, строптивых), но все они они объектны (по крайней мере, в социально-пролитическом измерении). Тут существует любопытная связь. Хаотизирующий по неразумию мир подданный, лишенный субъектного начала – нормальное явление. За ним присмотрят, если надо – накажут. Не вписанный в иерархию подданный (а, стало быть, источник хаоса), наделенный субъектным началом – непосредственный слуга Сына погибели. Способность к самоорганизации табуирована, ибо она формирует качественную альтернативу этому космосу. Самоорганизация вне Иерархии есть бунт. Веками русская система последовательно уничтожала носителей обозначенного начала.

В традиционном мире существовали зоны, в которых исторически закрепилась практика самоорганизации: семья, артель, сельский сход. Любая другая самоорганизация – это бунт. Если в человеке обнаруживаются лидерские черты, он может стремиться стать элементом

[1] Конечно же, провинциальный, но феодализм.

Иерархии, либо входит в иерархию преступного мира, либо в лидеры гонимых сект и движений. Другой ролевой ниши для субъекта в традиционно московском мире не просматривается.

Таким образом, широкая масса чисто объектна. Люди Иерархии субъектны, но субъектны специфически. Их субъектность возможна только внутри целого. По большому счету они, прежде всего, исполнители. Человек, включенный в целое, не есть *независимый субъект.* То есть – субъект в собственном смысле. «Люди государевы» сильны в системе и непобедимы как часть этой системы. В отдельности каждый из них ничто. Перед нами частичная субъектность, заданная прикосновенностью к Власти. Дворянин, то есть служитель власти, другой своей ипостасью выступает как помещик. В этих ролевых нишах он может и должен быть субъектом. Тебе и эскадроном управлять, и крестьянами. Однако ролевая ниша частичного субъекта жестко ограничена. Можно и должно управлять эскадроном, но нельзя быть гражданином, субъектом свободного политического действия.

Люди свободных профессий – купцы, промышленники, ремесленники, аптекари, врачи и др. – по идее, независимо субъектны, хотя бы в пространстве своей профессиональной деятельности. Однако российская реальность такова, что все эти категории срастаются с властью. Разница масштабов не имеет значения. Купец первой гильдии несет подношения градоначальнику, а заурядный лавочник – околоточному. То есть, выступая более или менее независимыми субъектами хозяйственной деятельности, эти люди «встают под крышу» агентов власти и заведомо отказываются от субъектности в общественно-политическом пространстве. По мере разложения Русской системы, субъектность бизнеса просыпалась. Под занавес царской России крупные предприниматели из старообрядцев давали деньги революционерам, участвовали в политической жизни. Позитивных результатов это не принесло.

В ходе цивилизационного синтеза был сформирован культурный космос, в котором вся социально-политическая, идеологическая, духовная, хозяйственная субъектность сосредотачивается в пространстве сакральной Власти. Все подвластные объектны *по своей природе.* Последнее очень важно. Это не ситуационная объектность, а онтология подвластного. Сам по себе он – источник хаоса.

Любая субъектность возможна только внутри целого Иерархии или с ее благословения. Далее, человек Власти не есть самостоятельный, внутренне автономный и полноценный субъект. Его субъектность сформирована и возможна только как *фрагмент* властной *системы*. Одна из самых важных забот, одолевающих крупные фигуры, входящие в ближайшее окружение всякого тирана, состоит в том, чтобы постоянно, всем своим существом давать понять властителю, что ты по своей природе способен быть только хорошим исполнителем. Может быть инициативным, умеющим принимать решения в критические минуты, но исполнителем. Полноценная, независимая субъектность для тебя не только немыслима, но и невозможна. Если же Хозяин заподозрит в тебе полноценного субъекта, то ни собачья преданность, ни холуйство, ни горение на работе не помогут. Субъектов уничтожают. Тиран тоже хочет спать спокойно. В Русской системе может быть один субъект.

Если субъектность немыслима для людей иерархии, то она абсолютно невозможна для миллионов подъяремных. В такой диспозиции поднять руку на Власть также сложно, как задумать и осуществить убийство родителей семилетнему ребенку. Напугать, побить их в своих мечтах, вымесить все обиды – пожалуйста. Но убить – никогда. И дело не в том, что это грех и за него накажут. Кто его накормит и обогреет, кто сбережет этого ребенка от ужасов мира?

Объектный статус подданного закреплен в отношениях собственности. Для того, чтобы люди стали

абсолютными объектами, их надо лишить частной собственности. Именно поэтому традиционно-восточные общества строятся на принципе власти-собственности. Устойчивая, освященная традицией частная собственность, воспринимаемая как *непреложная константа бытия,* созидает личность и творит демократию. Поэтому, описываемый нами цивилизационный синтез включил в себя уничтожение как крестьянской, так и боярской или княжеской собственности. Дольше всех держались бояре. Их добил Иван Грозный. С тех пор все, чем владел и распоряжался боярин, он имел по милости царя и до тех пор, пока эта милость сохранялась. После того, как такая практика принята обществом, строительство русской системы было завершено. Для того, чтобы «хряснуть душегубца» надо быть Хозяином. Хозяев, которые несмотря ни на что народились со второй половины XIX века в ходе эволюции системы, политически разгромили к 1922 году, а новую поросль добили во время коллективизации. Арестовываемый сплошь и рядом сам был энтузиастом власти-собственности и горел эсхатологической идеей воплощенного Опонского царства.

Следующий аспект: соотношение части и целого. За несчастным пришли не враги, не чужие, а его родная Власть. В этом и состоял безысходный ужас ситуации. Человек, сложившийся в ходе цивилизационного синтеза, по самой своей природе был *частью целого*. Не важно, какого целого – семейного, родового, конфессионального, идеологического – важно, что целого. Внутри целого могут быть конфликты (как в любой семье) могут быть претензии, но рука или пятка не может восстать против организма.

Личность неотделима от потенциала автономности. Она отделяет себя от родных или близких, сколь бы не были тесны связи, эмоции, привязанности. Личность наделена пространством прайвеси. Для зрелой личности возможен конфликт (идеологический, нравственный, религиозный), в котором она отречется от самых близких людей во имя сохранения души, во имя верности нравственным установкам. Для традиционного индивида самая мысль о таком повороте событий невозможна. Род (наша семья, родня) есть последняя космическая инстанция. Надо помириться, договориться, пойти на компромисс. Власть в русском мире заняла место языческого родового целого. Тысячелетия не было во Вселенной более страшной кары, нежели извержение из Рода. Отсюда и древнее ругательство – «изверг». *Сохранить Целое и быть его частью* есть главная максима жизни архаического и традиционного человека неизмеримо более важная, нежели спасение собственной жизни. Хряснуть душегубца – *поднять руку на Целое.* На это традиционный россиянин не способен.

Итак, цивилизационный синтез сформировал человека, лишенного общественно-политической субъектности. Ее никогда не было, он не знает что это такое и, наконец, лишен навыков, умений и человеческих качеств, присущих субъекту.

Он вырос в мире, лишенном частной собственности. Дело не только в том, что именно у него ее нет. Дело в том, что сама идея частной собственности и порождаемые ею культурный космос отсутствуют. Собственность – домен Власти.

Это человек лишен самостоятельной онтологии. Как самостоятельная сущность он не существует. У него отсутствуют психологические и мировоззренческое основания личностной автономии, он осознает себя частью сакрального переживаемого Целого. Такой человек не может поднять руку на ангела, который пришел забрать его от имени этого Целого.

Историческая альтернатива описанному нами типу – человек, выпавший или переживающий процессы выпадения из родовых целостностей. Автономный и самодостаточный в своих глазах и в глазах других людей. Собственник, создающий политические ассоциации,

формирующий государство и постоянно участвующий в его функционировании. Человек, преисполненный особым самоуважением хозяина к самому себе и к своей жизни.

Такой тип людей создал (одновременно являясь его порождением) античный полис. Он создавал средневековые города-государства, отстаивая свои вольности; опираясь на короля, боролся с герцогами и баронами, порождал Реформацию и Возрождение, приветствовал Просвещение и делал буржуазные революции. Этот историко-культурный тип сложился на торговых путях «из варяг в греки» и конституировал собою Киевскую Русь. Исторические судьбы сложились таким образом, что кризис Руси и последовавшее за ним смещение центра государства на восток создало новую ситуацию, в которой предмет нашего исследования проиграл историческую конкуренцию, был оттеснен, а затем уничтожен.

Прошло восемь веков. Сложившаяся на Востоке цивилизационная модель двести лет находится в затяжном кризисе. Соображения, вытекающие из нашего понимания логики всемирно-исторического процесса, позволяют утверждать, что модель Боголюбского-Грозного полностью исчерпала возможности своего развития. Дело идет к историческому снятию. Исследования обозначенной нами темы можно рассматривать как один из признаков разворачивания этого процесса.

Оглавление

Введение 3

***Глава I.* Репрессивность и альтернатива репрессии как генеральные стратегии культуры** 8

История вопроса 8

Исходные положения 13

Качественный анализ; как отличить репрессивную культуру от ее альтернативы 17

Полярные модели социальности как исторические стратегии 19

***Глава II.* Онтология репрессии** 22

Репрессивность как исторически первичная стратегия социализации и социального регулирования 22

Генезис культуры, центрированной на репрессивности 29

Репрессия и неравенство 38

Место репрессии в системном целом (функциональная природа репрессии) 40

Репрессия и социальное регулирование 42

Репрессия и право 44

***Глава III.* Основополагающие детерминативы репрессии** 46

Акцент на репрессию в мировоззренческом контексте. Манихейские и мироотречные основания репрессивности 46

Репрессия и базовые экономические практики. Традиционно-редистрибутивный комплекс власти-собственности 53

Стадиально-качественная гетерогенность общества. Структура «пастыри/пасомые» 65

Государство и догосударственный человек. Сюжеты соотнесения 72

***Глава IV.* Репрессия в целостности культуры** 89

Механизмы закрепления и воспроизводства репрессии 89

Место репрессии в традиционном сознании 103

Репрессия и Стокгольмский синдром 109

Истоки (или биологические основания) амбивалентного отношения к субъекту репрессии 111

***Глава V.* Культура репрессивного общества** 114

Насилие как один из языков культуры 114

Репрессия и бытие. Проблема осмысления 117

Культура хамства 119

Стилистика общения: Статусные игры, хамски-холуйский стиль 123

Репрессия и диалог 130

Культура конфликта и стилистика массового общения 133

Культ жертвы 136

Пафос антидостижительности. Модельность лузера 139

Нищета как ценность. Аскеза 141

Идеологические механизмы десубъективации. Формирование и поддержание авторепрессии 146

Репрессия интересов как значимый механизм десубъективации 150

Проблема элиты 155

***Глава VI.* Феномен Большой репрессии** 161

Большая или генеральная репрессия как системообразующее событие 161

Механизмы, запускающие Большую репрессию. 167

Большая репрессия в контексте стадиальных и качественных характеристик российской цивилизации 171

К вопросу о добродетельном рабе 176

Большая репрессии как историческая травма и элемент национальной идентичности 178

***Глава VII.* Социально-политическое измерение проблемы** 181

Репрессия и традиционная власть 181

Политическое измерение неправовой репрессии 189

Насилие, власть, легитимность. Политико-правовое измерение проблемы 191

***Глава VIII.* Онтологическое сиротство и авторепрессия** 196

Модельный персонаж репрессивной культуры 196

Атмосфера личностного формирования 200

Онтологическое сиротство и репрессия дезонтологизации, через утрату благорасположения/покровительства тотема 202

Репрессия как значимая часть идентичности 206

Мазохистские практики. Компенсаторные механизмы 208

Объект растождествления 212

Объект и субъект репрессии: личностное измерение 216

Глава IX. **Феноменология репрессии** 223
Сфера повседневности 229
Регламентация жизни как форма репрессии 230
Репрессивное измерение бытовой повседневности 236
Репрессия плотских радостей 241
Репрессия неопределенности 247
Отложенная или потенциальная репрессия 250
Внесудебная расправа 251
Судебная расправа 254
Голод как репрессия 258
Радости и человеческие ценности репрессированного человека 260

Глава X. **Кризис и изживание репрессии** 262
Исторические рамки репрессивной культуры 262
Некоторые аспекты процесса модернизации 269
Репрессия и императив модернизации 271
Механизмы самоподдержания репрессивного целого на этапе исторического снятия 273
Кризис репрессивности: логика исторического снятия 288
Некоторые соображения об исторической альтернативе репрессии 297

Глава XI. **Базовые основания российского общества** 302
Зона как метамодель государства. Большое общество поневоле 302
Феномен чистого принуждения, или жизнь по-русски 306
Власть как космизующая инстанция 308
Главная русская тайна или, почему не «хряснуть душегубца»? Проблема фундаментальных оснований репрессивности 311